

**ЭХО 13 ECHO**

**1984 • PARIS**

# ЕСНО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ  
ВЫХОДИТ С 1978 ГОДА

13.1984  
PARIS

Вот мы же в лесу сидим  
И слушаем, как слышат мы шум  
Вот мы сядем на скамеечку  
И будем слушать шум  
Вот мы сидим в лесу сидим  
И слушаем, как слышат мы шум

Л.С.

Мы видим красоту вещей,  
И слышим души и голоса,  
И чувствуем величие природы,  
И слышим окрестности.  
Мы же как птицы...  
И мы как птицы!

Л.С.

**Журнал редактируют:  
Владимир Марамзин  
Алексей Хвостенко**

Оформление:  
А. Хвостенко

**Copyright (c) 1984 by review «ECHO»**

Произведения, распространяемые самиздатом,  
печатаются без ведома их авторов.

**Directeur responsable:  
N. Secinski**

Вся переписка по адресу:  
**V. Maramzine  
14, rue Lalo — 75116 Paris — France  
Tél.: (1) 501. 94. 61**

# ПОБЕДНАЯ ПЕСНЬ ПО СЛУЧАЮ ЭВАКУАЦИИ БЕЙРУТА

Вот-вот Проливы будут наши  
И в греки не пройдет варяг,  
А мы им парусом помашем  
И бросим в ноги якоря.

Как ветер на собственные круги  
Как пес к извергнутой жратве  
Кружат Истории досуги  
Трепещет летопись в листве:

Вернется Крым его татарам  
Вернется турок в Туркестан  
Вернется караим хазарам  
В Сарае врать про Казахстан

Афинянин - в Константинополь  
И к Арарату армянин  
Как легкий пух цветочку в тополь  
Потомком предку бабуин

И даже царь российский-русский  
Еще перевернет вверх дном  
Все чем алел урок французский  
На красноречии родном -

Тогда на белые крестины  
Вернется нация рыдать,  
Но палестинцам Палестины  
Увы как прежде не видать

И не вернут их ни примеры  
Когда земля их не берет  
Ни в сталь залитые химеры  
С чугунным хоботом вперед

Не их шутихам простоватым  
Палить в наш призрак "где и чьи"  
И ты, о скиф, ряди с сарматом  
Славян на море и ручьи.

Ура, зуавы! Мы в Сидоне!  
Пал Тир! Да здравствует Бейрут! -  
Мелькарт верхом на Посейдоне  
В восторге скачут и ревут.

И, буде, чем проливы уже  
Тем суше пресные моря,  
Се грек взирает с плоской суши  
Где мелко плещется варяг.

*Анри Волохонский*

На снимке справа: Юрий Мамлеев. Париж, 1984.



Юрий Мамлеев  
**РАССКАЗЫ**

## **ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ**

Петя Сапожников, рабочий парень лет двадцати трех, в плечах и с прохладной, лохматой головой, возвратился в Москву, демобилизовавшись из армии. Остановился он в комнате у своего одинокого дяди, который, проворовавшись, улетел в Крым отдыхать. Еще по дороге в Москву, трясясь в товарном неустойчивом вагоне, Петя пытался размышлять о будущем. Оно казалось ему неопределенным, хотя и очень боевым. Но первые свои три дня в Москве он просто просвистел, лежа на диване в дядиной комнате, обставленной серьезным барахлом. Лежал он задрав ноги вверх, к небесам, виднеющимся в окне.

Иногда выходил на улицу. Но пустое пространство пугало его. Особенно сковывала его полная свобода передвижения. И безнаказанность этого.

Поэтому он не мог проехать больше двух остановок на транспорте; всегда вскакивал и, пугаясь, выбегал в дверь. "Еще уедешь Бог знает куда", - говорил он себе в том сне, который течет в нас, когда мы и бодрствуем. Правда, он очень много ел в столовой, пугливо оборачиваясь на жующих людей, как будто они были символы.

На четвертый день ему все это надоело. "Пойду поищу бабу", - решил он.

Мысленно приодевшись, Петя ввечеру пошел в парк. Дело было летом. Везде пели птички, кружились облачка. Вдруг из кустов прямо на него вылезла девка, еще моложе его, толстая и с добродушным выражением на лице, как будто она все время ела.

- Как тебя звать?! - рявкнул на нее Петя.

- Нюрой, - еще громче ответила девка, раскрыв рот.

Петя пошарил на заднице билеты в кино, которые он еще с утра припас.

- Пойдем в кинотеатр, Нюра, - проговорил он, оглядывая ее со всех сторон.

Самое главное, он не знал точно, что ему с ней делать. Почему-то ему представилось, что он будет тащить ее до кинотеатра прямо на своей спине, как мешок с картошкой.

"Тяжелая!", - с ухмылкой подумал он, оценивая ее вес.

У Нюры была простая мирная душа: она мало отличала солнышко от людей и вообще - сон от действительности.

Она совсем вышла из кустов и, спросив только: "А картина веселая?" - поплелась с Петей под ручку по ярко освещенному шоссе.

"Ну и ну", - только и говорила она через каждые пять минут. Петю это не раздражало. Сначала он просто молчал, но затем посреди дороги, когда Нюра бросила говорить "ну и ну", он взялся рассказывать ей про армию, про ракеты, от огня которых могут высохнуть все болотца на земле.

- А куда же это мы с тобой прем? - спросила его Нюра через полчаса.

Петя на ветру вынул билеты и, посмотрев на время, сказал, что до сеанса еще два с половиной часа. Они хотели повернуть обратно, но Нюра не любила ходить вкось. "Напрямик,напрямик", - чуть не кричала она.

Пошли напрямик. Петю почему-то обрызгало сверху, с головы до ног. Нюра от страха прижалась к нему. Она показалась ему мягкой булкой, и от этого он стал неестественно рыгать, как после еды.

В покое прошагали они еще четверть часа. Мигание огоньков окружало их. Пете хоть и было приятно, но немного тревожно, оттого что в мыслях у него не было никакого отражения, что с ней делать.

- Пошли, что ль, ко мне, - неопределенно сказал он. - Надо ж время скоротать.

- А что у тебя? - спросила Нюра.

- Музыка у меня есть, - ответил Петя. - Баха. Заграничная. Длинная.

- Ишь ты, - рассмеялась Нюрка. - Значит, не говно. Пойдем.

Дом был как обычный: грязно-серый, с размножившимися людишками и темными огоньками. Нюра чуть не провалилась на лестнице. Жильцы-соседи встретили их как ни в чем не бывало. В просторной комнатенке, отсидевшись на стуле, Петя завел Баха. Вдруг он взглянул на Нюру и ахнул. Удобно расположившись на диване, она невольно приняла нелепо-сладоэротическую позу, так что огромные, выпятившиеся груди даже скрывали лицо.

- Так вот в чем дело! - осветился весь, как зимнее солнышко, Петя.

Он разом подошел к ней сбоку и оглоушил ее ударом кастрюли по голове. Потом, как вспарывают тупым ножом баранье брюхо, он изнасиловал ее. Все это заняло минут семь-десять, не больше. Поэтому вскоре Петя сидел на табуретке у головы Нюры и, глядя на нее спокойными мутными глазами, ел суп. Нюра долго еще притво-



рялась спящей. Петя тихо хлопотал около нее, даже накрыл одеялом. Открыв на Божий свет глаза, Нюра разрыдалась. Она до этого была еще в девках, и ей действительно было больно. Да и крови пролилось, как из корытца. Но главное - ей стало обидно; это была мутная неопределенная обида, как обида человека, у которого, предположим, на левой половине лба вдруг появилась ягодица.

Петя ничего этого не знал, поэтому он, кушая суп, доверчивыми умоляющими глазами смотрел на Нюру.

- Оденемся, соберем, что ль, барахло, Нюр, и прошвырнемся по улице, - сказал он ей исподлобья.

Нюра молча стала одеваться. Она вся надулась, как индюк или мыслящий пузырь, и, правда, еле передвигалась. При взгляде на нее Петю охватило волнение и предчувствие чего-то неожиданного.

Накинув пиджачок, Сапожников вместе с ней вышел во двор. По углам выкобенивались или молчали уставшие от водки мужики. Петя вдруг глянул на Нюру. Она передвигалась медленно, как истукан, глаза ее налились кровью, и все лицо надулось, как у рассерженной совы.

Петя так перетрухнул, что неожиданно для себя побег. Прямо, скорей - в открытые ворота, на улицу. "Куда ты?" - услышал он только громкий Нюрин крик...

Оставшись совсем одна, Нюра беспокойно огляделась по сторонам. Заплакала. И, громко причитая, так и пошла по Петиним следам через двор к открытым воротам.

- Ты чего ревешь, девка?! - хохотнули на нее парни, стоявшие у крыльца.

- Да вот Петруня, в синей рубашке, из того дома, изнасиловал, - протянула Нюра, подойдя поближе к парням. Кровь мелкой струйкой еще стекала по ее ногам. - И вот в кино хотели пойти, а он убег.

- Да тебе не в кино надо идти, а в милицию, - гоготнули на нее парни. - Иди в милицию, вот, рядом...

"А то и вправду пойду, - подумала Нюра, отойдя от ребят. - А куда ж теперь деваться?.. Петруня убег, в обчужитие иттить - девки засмеют. Пойду в милицию. Обмоюсь, - решила она, - кровь-то еще текёт..."

...Тем временем Петя сидел на сеансе около пустого кресла, предназначавшегося для Нюры, и ел крем-брюле. А когда в чуть угнетенном состоянии он пришел домой, его уже поджидали, чтоб арестовать. Арестовывали толстые сиволапые милиционеры; у одного из них все время текло из носа.

...Вскоре состоялся и суд. Народу собралось тьма-тьмушая. Перед началом суда, на улице, толстые и говорливые соседки обступили Нюру. У одной из них было такое лицо, что при взгляде на него оставалось впечатление, что у нее вообще нет лица. Но она усердствовала больше всех. Другая, с лицом, похожим на брюхо, кричала:

- Чево ж ты, девка, наделала! Тебе ж совсем ничево, вон ты какая здоровая, платье на тебе рвется, а ему таперя десять лет сидеть!.. Десять лет каждый дён маяться!.. Подумай...

Нюра разревелась.

- Да я думала, его только оштрафуют, - говорила она сквозь рев. - И все... Да я б никогда не пошла в милицию, если б он не убежал... Зло меня тогда взяло... Сидели б в кино смиренхонько... А то он - убежал...

- Убег! - орали в толпе. - Ишь, Нюха! Небось, не так тебя били, и то ничего.

- Били! - ревела Нюрка. - Папаня в деревне поленом по голове бил, и то отлежалась...

- Дура! - говорили ей. - Парень только из армии вернулся, шальной, мучался, и теперь опять же ему терпеть десять лет... Ты скажи на суде, что не в претензии на ево...

Наконец начался суд. Судья была нервная, сухонькая старушонка с прыщом на носу и орденом на груди и бешеными, измученными глазами. Рядом с ней сидели два оборванных заседателя; они почти все время спали.

Петю, вконец перепуганного, затурканного, ввели два равнодушных, как полено, милиционера. Глядя на виднеющееся в окне безмятежное небо и верхушки деревьев, точно кивающих самим себе, Петя почувствовал острое и настойчивое желание оттолкнуть этих двух тупых служивых и пойти прогуляться далеко-далеко, смотря по настроению. От страха, что его отсюда никуда не выпустят, он даже чуть не нагадил в штаны.

Суд проходил как обычно, с расспросами, объяснениями, указаниями. Петя отвечал невпопад, придурочно. Окровавленные штаны в доказательство лежали на столе.

Чувствовалось, что Нюра всячески выгораживает его и дает путаные, нелепые показания, противоречащие тому, что она по простодушию своему рассказала в милиции и на следствии.

- Бил он вас кастрюлей по голове или нет?! - уже раздраженно кричала на нее судья-старушонка. - Совсем, что ли, он у вас ум отбил, потерпевшая?..

- Само падало, само, - мычала в ответ Нюра.

Но, несмотря на это заступничество, Петя больше всех боялся не судью, а Нюру. Правда, она так возбуждала его, что у него и на скамье подсудимых вдруг вскочил на нее член. Но это еще больше напугало его и даже сконфузило. Глядя в тупые, какие-то антизагадочные глаза Нюры, в ее толстое, напоминающее мертвенно-холеный зад, лицо, Петя никак не мог понять, в чем дело и почему она стала для него таким препятствием в жизни. "Ишь ты", - все время говорил он сам себе, словно икая. Она напоминала ему, как бы с обратной стороны, его военачальника, сержанта Пухова, когда этот сержант в первый день Петинного приезда в армию, ничего не сказал ему, а только молча стоял перед Петей минут шесть, глядя на него тяжелым, упорным и бессмысленным взглядом.

"Дивен мир Божий", - вспомнились Пете здесь, в казенном заведении, слова его деда.

Между тем, в середине дела Нюра вдруг встала со своей скамьи и, собравшись с духом, громко, на весь зал прокричала:

- Не обвиняю я его... Пуцай освободят!..

- Пуцай освободят, - невольно передразнила ее судья. - Это почему же "пуцай освободят"?! - низким голосом пропела она.

- Зажило уже у меня... Не текётъ, - улыбнулась во весь рот Нюрка.

- Не текётъ?! - рассвирепела судья. - А тогда текло... Чего ты от него хочешь?!

- Сирота он, - отвечала Нюрка. - В деревню его возьму. Мужиком...

- Слушайте, - вдруг прикрикнула на нее судья, - нас интересует только истина. Вы и так даете сейчас странные, ложные показания, совсем не то, что вы давали на следствии. Смотрите, мы можем привлечь вас к ответственности. Суд вам не провести. Вам, наверное, хорошо заплатил дядя Сапожникова, возвратившийся из Крыма.

- Да я его и не видела, - промычала про себя Нюрка.

Петя все время со страхом смотрел на нее.

Наконец все процедуры закончились, и суд удалился на совещание. В зале было тихо, сумрачно; только шептались по углам.

Через положенный срок судьи вошли. Все поднялись с мест. Петя приветствовал суд со вставшим членом.

- Именем... - читала судья. - За изнасилование, сопровождавшееся побоями и зверским увечьем... Сапожникова Петра Ивановича... двадцати трех лет... приговорить к высшей мере наказания - расстрелу...

- Батюшки! - ахнули громко и истерично в толпе. - Вот оно как обернулось!

Петруню - в расход. Капут ему. Смерть.

## ЖЕНИХ

Пелагея Андреевна Кондратова, суетливая женщина лет сорока пяти, в пуховом платке и обычных очках, потеряла дочку, первоклассницу. Дитё было еще совсем неразумное, хоть и вкрадчивое. Раздавил ее на дороге, прямо против окон Пелагеи Андреевны, как раз, когда она пила чай вприкуску и смотрела на Божий свет, начинающий шофер Ваня Гадов. Ваня был очень труслив, никогда не пил и даже боялся ходить в клозет. Лето было жаркое, и он ехал на непомерно большом, точно разваливающийся дом, грузовике в одной майке и трусиках. Ваня думал о том, как он купит себе новые штаны.

Услышав что-то неладное, вроде писка мыши сквозь грохот мотора, он резко притормозил и, с папиросой в зубах, выглянул из кабины.

Дитё уже представляло собой ком жижи, как будто на дороге испражнилась большая, но невидимо-необычная лошадь.

Мячик отлетел в сторону, и какой-то пузан, подхватив его подмышки, утекал со своей добычей в подворотню.

Гадов ошалел от страха: он тут же представил себе, как выбегут родители и будут его бить. Сердце прыгало так ретиво, что ему казалось, что оно выскочит через горло.

Отовсюду ему чудились крики. Сорвавшись с места, в одних трусиках он побежал: скорее, скорее, только чтобы не видеть глаза людей.

Юркнул в подъезд и спрятался в пустующем подвале между старыми комодами.

Везде была тишина; но он всем сознанием своим прислушивался к ней: а не разорвутся ли где-нибудь далеко-далеко вопли.

Между тем на улице были и смех и слезы. Стадо любопытных, еле сдерживая внутренние смешки и пьянящий испуг, обступило мокрый комок и стояло переминаясь с ноги на ногу.

Где-то в углу дюжие милиционеры связывали отца. Ведь он был как ненормальный и мог бы убить кого-нибудь. Мать, лежавшую пластом, отхаживали на лестнице. Рыжая кошка лизала ей пятку.

Санитары из сумасшедшей белой машины совком сгребли остатки девчушки в медицинский мешок и увезли.

Очень скоро на улице стало как обычно, опять понеслись вперед автомобили, проезжая по темному, никому не заметному пятну на асфальте.

Только в доме Кондратовых творился переполох. Бабушка Анастасья совсем потерялась и стала считать полотенца. Откровенно говоря, ей на все было плевать: она так вжилась в собственную будущую смерть, что многое казалось ей естественным. Витя, семнадцатилетний брат покойной - если только можно считать комок покойницей, - так любил играть в футбол, что не понимал различия между смертью и забитым голом. Его еле-еле оторвали от игры в соседнем дворе и привели в дом чуть не за руку, подталкивая. Только Пелагея и ее муж - здоровый, пузатый мужик Петя - были не в себе. Кто-то из соседей советовал Пелагее, чтоб опомниться и не так переживать, принять слабительное и сходить несколько раз в клозет. "Прочисти желудок, Пелагея, прочисти!" - орала на нее здоровая рыжая баба со щеткой.

На следующий день в доме была мертвая тишина. Бабка Анастасья уехала в Белые Столбы за грибами. Витя сидел у стола хмурый и ковырял в носу.

Родители бродили по комнатам, как тени. Пелагея так ослабла, что не могла есть. Вечером приперся здоровый, розовощекий милиционер.

- Здорово, мать! - заорал он с порога.

Пелагея ничего не ответила, но только мутно посмотрела на него.

Служивый расположился за хозяйским столом, как у себя дома.

- Первое, поймали убийцу, мать, - сказал он, стукнув по стулу. - Сиротой оказался. Если заинтересуешься, приходи к нам... Второе, штраф плати. Твой-то, когда буянил, за нос укусил одного учителя. Нехорошо!

Пошумев, милиционер ушел.

Потянулись скучные дни. Кошмар вошел даже в суп, который они ели. Пелагея точно совсем онемела, и слезы заменили ей слова. Целыми днями она плакала и исчезала из одного пространства в другое.

Петя был сурово-молчалив; Анастасья же сквозь платок с испугом заметила, что он спрятал в комод топор.

Молчание его было столь многозначительным, что Пелагее, хорошо знавшей Петю, казалось, что погибшая Надюша переселилась в него и он ее там в себе хоронит. Его тело казалось ей Надюшиным

гробом и оттого - таким молчаливым и таинственным. Она боялась спать с ним в одной постели.

Наконец наступил суд. Ваня Гадов уже находился в тюрьме. Окончательно его добило то, что теперь приходилось спать на жестком. Поэтому он громко, истерически рыдал на суде.

А по ночам - он спал в углу, у параши - ему виделись бесчисленные жалобные свои личики, то появляющиеся, то исчезающие в стене.

Кондратовы, как в тумане, видели во время суда его трясущееся лицо. Но все их внимание было приковано к нему. Прикинув, Ваню посадили на два года. Жалобного, в слюнях, его отправили в лагерь.

А Кондратовы притихли, зажили своей Надюшей. Витя с бабкой Анастасьей, правда, шумели по-прежнему, но теперь в их шум замешался бессознательный мистицизм. Витя даже голы забивал, как все равно молился Господу. А Анастасья, собирая грибы, осторожно обходила белые.

Может быть, суровое молчание Пелагеи и Пети подавляло их. Бабка Анастасья, бывало, за чаем, дуя в блюдечко, нет-нет, а вздрогнет.

- Петь, Петь, - спрашивала она, - зачем топор-то в комод среди белья положил?.. Ты чего?.. А?

Петя бессмысленно смотрел на нее и говорил:

- Для дела, мать... для дела. - И опять задумывался.

Пелагея часто срывалась с места и убегала в клозет. Оттуда доносилось ее жалобное, похожее на сектантское, пение.

Но вообще звуков было мало. В основном - молчание.

И вдруг среди ночи - Пелагея, теперь принимавшая огромный волосатый живот Пети за Надюшин гроб, спала на отдельной постели, но рядом с мужем, - вдруг среди ночи Пелагея, почуявшая, что муж тоже не спит и думает о том же, о чем она, но по-своему, тихо выговаривала в пустоту:

- Петь, а Петь... а никак Ваня родной... Все-таки Надин убивец... Давай его возьмем к себе на воспитание... Ведь он сирота...

Петя долго, долго молчал. И вдруг в тишине раздался его свист: громкий, длинный, как из трубы.

Больше Пелагея ни о чем его не спрашивала: свист она оценила как согласие.

Недели через две смущенная, покрасневшая Пелагея, хлебнувшая для храбрости сто грамм водки, с ворохом бумаг сидела перед последней инстанцией: ожиревшим, самодовольным гражданином-товарищем. Чин долго не понимал, в чем дело.

- На поруки хотим взять Ваню, на поруки, - рассвирепела наконец Пелагея Андреевна. - В семью убиенной...

- Если только в порядке общественности, - тупо сообразил чин.

- Как хошь, так и назови, - ответила Пелагея.

Чин, потирая жирную шею, соображал, как лучше нашуметь по этому поводу в какой-нибудь газетке. Осоловевшими от власти глазами он смотрел на свою руку, подписывающую: "не возражаю".

...А между тем Ване в лагере приходилось не сладко. Больше всего он жалел свой подвижный зад. Одурев от страха и жалости к себе, так что везде на него лезли видения, он начал с того, что стал предавать кого попало, вообразив, что от этого ему будет лучше. Он почти ничего не знал об окружающих его уголовниках и больше фантазировал, чем предавал. Начальство прямо остолбенело от его рвения. Остолбенели даже уголовники.

"Первый раз вижу такого ненормального Иуду", - говорил старый, порыжевший в лагерях каторжник. Уголовники от неожиданности даже не нашлись сразу убить его. А потом, когда Ваня даже сквозь дурость сообразил, что наделал, то прятался он в уголках, под ногами у начальства, в лазаретах. От страха перед возмездием он все время болел.

Единственным его наслаждением, за которое он судорожно, нервными зубками, уцепился, было подолгу, присасываясь, испражняться в привилегированной уборной, куда ему - единственная плата за предательство - был открыт доступ и где могли испражняться только свободные люди. Около уборной стоял часовой с автоматом.

...После того как Ване, наконец, сообщили о странной возможности выйти на волю, к Кондратовым, он, ночью, укрывшись с головой под одеялом, поглаживая родной зад, истерически думал: "Не пойду... Убить хотят... Заманить!"

Но после того, как он в полоумно-потустороннем страхе наделал столько нелепостей, предавая других, то, наконец, с большим опозданием холодный рассудок заговорил в нем. Правда, под аккомпанемент трусливого попискивания в сердце.

"Все равно меня тут прирежут, - думал он, размазывая для нежности слюни по животу. - Все равно прирежут... А там черт его знает, как обернется... Сбежать, однако, от Кондратовых не убежишь: ведь берут на поруки только в их семью, будь она проклята... А там черт его знает... Надо хоть мать повидать, поговорить".

Дня через два Ваню отвезли в подходящее место для свидания с Пелагеей Андреевной. Пелагея, когда подходила к месту свидания, думала только о своей Надюше. Наконец, она очутилась в комнате. Ваня вошел туда дрожаще-затурканный, с бегающими глазками и не знал, то ли ему закричать петухом, то ли подпрыгивать козлом. Перепуганный, он сел на скамейку рядом с Пелагеей. Мать убиенной смотрела на него ласково и внимательно. Молчание длилось очень долго.

- Ведь ты любил ее, Ванюша, - вдруг добреньким голоском пропела Пелагея.

Ваня остолбенел и хотел было выжать: "Да ведь я ее и не видел никогда, если только не считать кучки". А ведь кучку, как известно, трудно полюбить.

Но вместо этого Ваня вдруг робко взглянул в глаза Пелагеи и увидел там явно выраженное, тупое доброжелательство. Тогда он тихо выговорил: "любил".

- Я так и думала, сынок, - спокойно и гордо ответила Пелагея. - Поедем в нашу семью.

У Вани слегка отнялась челюсть, и противоречивые мысли гадливо шевельнулись в нем. Он то с испугом, то с надеждой смотрел на нос Пелагеи Андреевны.

"Такая не схитрит", - говорил в нем инстинкт. Он очень выигрывал своим молчанием: ведь с языка его могло сорваться Бог знает что.

- Я подумаю, мам, - дрожащим голосом произнес он последнее жуткое слово и тут же блудливо-испытующе глянул на Пелагею. Та покраснела от радости.

- Я подумаю, - произнес Ваня и уходя, протянув длинную руку, схватил с колен Пелагеи узелок с провизией.

Его отвели в какую-то узкую одиночную камеру. Здесь на полу он пожирал пелагеины гостинцы: набивал рот до отказа яйцами вместе с конфетами и сыром... Сердце его радостно колотилось... Инстинктивно, еще не веря разумом, он чувал, что здесь кроется не месть, а что-то другое, непонятное для него, но в общем благополучное... А при виде того, что он опять заключен в мрачную и безысходную клетку, ему захотелось вскочить и завопить: "Я согласен! Я согласен!"

Еще больше сроднясь с самим собой, он в ужасе представлял, что его ждет страшный лагерь, где в каждой темноте нацелен приготовленный для него нож.

"Не хочу, не хочу! - дрожал он. - У Кондратовых-то прежде, чем погибну, хоть отъежусь малость и поплю на мягком... А там кто его знает."

В этот же день Ваня дал свое согласие. А Пелагея между тем после свидания с сыном побрела в храм. И молилась так, как может молиться только раз в жизни простой, блаженный русский человек, если его пригвоздит самое страшное горе. Роняла про себя необычные, никогда ей и не снившиеся слова.

- Господи! - говорила она, съезжившись на корточках у желтой иконы. - Господи! Не может быть так жисть устроена, чтоб один человек был причина гибели другого... Не может... Ваня не убивец, хоть и убивал... Он только прикоснулся к Надюше и связался с ней раз и навсегда... Тайна, о Господи, их связала... Теперь для меня что Ваня, что Надюша... Таперича Ваня не убивец, а жених, во истину жених будущий Наденьки!

И она коснулась своим легким, полуживым лбом горячего от пота и слез пола.

Наступил день встречи с Ванюшей. Кондратовы всей семьей вылезли на какой-то не от мира сего, пыльный вокзал.

Ваня вышел из поезда с тяжелым чемоданом, осторожно озираясь по сторонам, вобрав голову в плечи.

Пелагея бросилась к нему вперед со сдержанной, чуть застенчивой радостью. За ней с бессмысленным взглядом, столбенело трусил Петя. Анастасье же, живущей своей будущей смертью, было все одно: приезд убийцы она восприняла как приезд квартиранта или просто как повод для обычной суеты.

Один Витя, чуть отставший, был сконфужен и даже покраснел.

Наконец семейство окружило Гадова.

Ваня, ошалевший от страха и надежд, сразу же громко, на весь вокзал заговорил о погоде. В это время подошли корреспонденты,

и после торжественной части Кондратовы с Ванюшей, закупив водку и закуску, в такси отбыли домой.

Дома за столом было шумно и непонятно. Ваня так перетрусил, что набросился не столько на жратву, сколько на водку. Особенно его пугали бессмысленно-доброжелательные глаза Пети.

Надувшись водки, как воды из-под крана, Ваня таким образом ушел от мира сего.

Непрерывно пил он и следующие дни, опоминаясь только для того, чтобы доползти до бутылки с самогоном и сразу влить в себя самую дикую порцию. И опять, тут же рядом, тяжело и неумолимо засыпал.

Наконец после одного долгого беспробудного сна он очнулся.

Утренние лучи солнца играли у него на лице, и голос Пелагеи Андреевны около него прозвучал: "Сынок, милый, что ж ты пьешь-то, как зверь." Ваня от страха почесался и привстал. Добрые, но уже с сумасшедшинкой, глаза Пелагеи смотрели на него.

Откуда ни возьмись вынырнула большая, в пуху голова Пети.

- Чай, чай надо пить, Ваня, - проговорила голова.

С ужасом Ваня заметил, что над его постелью висит огромный портрет Надюши. Это была действительно милая девочка с доверчивыми ясными глазами ребенка. В ее руках был мяч, тот самый, который под шумок украл толстопузый малыш. Озираясь, Ваня в одних трусах пошел к столу. Его нелепая трусливая фигура безразлично освещалась солнцем. Прислуживала Анастасья.

Узнав, что Пелагея спала с ним в одной кровати, Ваня чуть не упал.

- Пупок-то у тебя, Ваня, совсем как у Надюши, - сморщенно проговорила Пелагея, прихлебывая чай.

И мутно, чуть остановившимися, влюбленными глазами посмотрела в лицо Вани.

Ваня обмер. Глянул по сторонам. "А может, все в мою пользу", - появилась наглая мысль.

Наконец все, кроме Анастасьи, разошлись на работу.

Ваня пугливо бродил по дому, и ему казалось, что он все время натывается на Надюшины вещи. (Пелагея по странности ходатайствовала даже, чтобы перенести Надину могилку им во двор; и место облюбовала: в огороде).

Потянулись легкие незабвенные дни.

- Ешь, сынок, ешь, - говорила Пелагея, пристально вглядываясь в его жующий рот.

По мере того, как Ваня чувствовал, что его не хотят убивать, у него разыгрывался аппетит.

Но срывы все-таки были. Правда, Пелагея больше не ложилась в его постель. И пугал-то его больше Петя. Он был совсем смиренный, как тень Пелагеи, но травмировал Ваню своим нелепо-бессмысленным доброжелательством.

Аккуратно из каких-то далеких углов приводил Ванюше худых, непонятных блядей. И только иногда Ване становилось совсем плохо: когда Петя, как морж, долго вглядывался в Надюшин портрет и потом тяжело переводил глаза на Ваню. При этом Петя неожиданно, враз, всем телом вздрагивал. Но потом опять опоминался.



А Анастасия мимоходом заметила, что топор из комода он выбросил далеко, за помойку.

Сама-то Анастасия относилась к Ванюше просто, по-хозяйственному: иногда даже мыла ему ноги, запросто, как моют тарелки.

И этой же тряпкой говорливо обтирала Надюшин портрет.

Даже Витя, который сначала относился к Ванюше недоуменно-здорово, чуть изменился и даже приглашал его играть в футбол.

- Хороший ты край, Ваня, - ласково говорил он ему.

Пелагея уже больше не молилась в храме, как тогда; реальность исчезновения Надюши и присутствия Вани была выше молитв. В ее мозгу появлялся образ Надюши, и тут же она переключалась на Ваню, на жениха; он был рядом, он существовал; иногда даже она путала их имена; когда Ваня уходил в уборную, она, по-темному улыбаясь, говорила иной раз в ошалевшее окружение: "А Надюша поссать пошла... Дай ей Бог здоровья!"

И Ваня обычно нервно передергивался, когда Пелагея впотьмах ровным петушиным голосом окликала его: "Надюша, Надюша!"

- Больно здоров Иван-то для Надюши, - усомнилась один раз Анастасия.

Очень любила Пелагея некоторые привычки Ванины. Особливо как он ел: аппетитливо, выжимая все соки из пищи и урча. Ей казалось, что тем самым он дает жизнь не только себе, но и погибшей Наденьке.

- А вот за дочку, Ванечка, - подносила она ему жирные, в луке, маслящиеся котлеты. - И первый кусок за нее... И второй.

Ваня жадно проглатывал все.

Иногда, расчесывая густые Ванины волосы, искала там Надюшины слезы.

- Много их у тебя, Ваня, - приговаривала она.

Справляли как-то день рождения Ванин. Единственное, что предложил Петя - так он чаще молчал, - это объединить день рождения Вани и Надюшин в один.

Пелагея за столом совсем распустилась.

- Ну признайся, Ваня, сукин ты кот, - сказала она, сомлевыми глазами осматривая сына, - ты ведь любил Надюшу... Ну признайся...

Этот день стал переломным. Ваня наглел с каждым часом.

- Ну, конечно, любил! - громко кричал он на весь дом. - Да еще как! - И рвал на себе рубашку.

После этого дня Ваня надел на шею медальон с фотографией Наденьки. Теперь убийца ничего не боялся. И жизнь его пошла как по маслу... Через полгода это уже был настоящий тиран в семье, маленький божок. Везде он паразитировал на Надюшиной гибели, смердел и нередко целовал ее портрет. "Малютка", - называл он ее теперь.

Работать он уже не желал, а хотел, чтобы Кондратовы его откармливали, да получше. С их помощью он приобрел даже документы о своем якобы слабоумии. И начал жить припеваючи: плечи у него стали сальные, гладкие, как у бабы, ел он до невозможности много и очень часто пьянствовал, сидя с распухшей, жирной мордой в радостно-лихорадочных пивнушках.

И лежа под одеялком, не мог нарадоваться на свою судьбу. А к "малютке" он почувствовал что-то похожее на благодарность и нечто вроде кровяной любви.

На Кондратовых он уже так покрикивал, что Витя сбег из дому. А когда Пелагея раздевала его, пьяного, в постельку, отмывая блевотину, то он ахал и для строгости вспоминал "Надюшу".

Ее имя стало для него вроде талисмана.

Иной раз он вспоминал ее и во время полового акта, когда вдавливался в пухлую женскую плоть.

Теперь, когда Ваню кто-нибудь спрашивал о жизни, о ее смысле, он всегда отвечал, что мы живем в самом лучшем из миров.

**АЛЬБОМ ПЕСЕН ПОЭТА  
АЛЕКСЕЯ ХВОСТЕНКО  
«ПРОЩАНИЕ СО СТЕПЬЮ»**

**13 песен в исполнении автора**

**Сопровождение: Паскаль Лучек — соло и бас-гитара,  
Андрей Шестопалов — ритм-гитара**

Алексей Хвостенко — ленинградский поэт. С 1977 года живет в Париже. С этого времени он выступал с неизменным успехом, исполняя свои песни в Италии, Австрии, Германии, Франции, Израиле и США. В 1977 году парижское издательство ИМКА-ПРЕСС в серии «Песни русских бардов» выпустило кассету его песен на «самиздатском» материале. Тексты этих песен были опубликованы в одноименном 4-томном издании. Предлагаемый нами альбом — первая запись, сделанная самим поэтом на Западе, если не считать записей для радио- и телевизионных передач.

**Вы можете заказать альбом в виде пластинки или кассеты. К альбому прилагается буклет с полным русским текстом всех песен и поэтическим переводом их на английский и французский языки.**

**Цена альбома: 12 долларов.**

**Стоимость упаковки и пересылки:**

**пластинка — 2 доллара; кассета — 1 доллар.**

**RACoon RECORDS & PUBLISHERS LTD  
122 King's Cross Road, London WC1, England**

# ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ МАМЛЕЕВЫМ

*Вопрос.* О чем вы пишете?

*Ответ.* О реальности, причем не только о той реальности, которая лежит на поверхности жизни, но и о скрытых, глубинных пластах реальности и даже о той реальности, которая выходит за пределы нашего мира. Следовательно, в том, что я пишу, можно различить несколько уровней реальности. Сначала просто перечислю их, начав с самого простого: 1. Уровень обычной жизни (то есть то, что случилось в жизни или могло случиться согласно логике жизни и человеческих характеров). 2. Уровень парадоксальных и крайних ситуаций. 3. Уровень глубин и бездн человеческой души. 4. Метафизический, космологический и эзотерический уровень.

Кроме того, есть еще нечто такое, что с трудом поддается объяснению.

Конечно, не все эти уровни присутствуют в каждой вещи одновременно (я писал даже в пределах обычного реализма), но они есть в большинстве из них.

Возьмем, например, рассказ "Жених", который входит в американское издание моей книги. Сюжет рассказа таков: молодой юноша, сирота, водитель грузовика по преступной неосторожности задавил насмерть девочку. Его должны были судить, но родители девочки взяли водителя в свою семью на поруки, фактически усыновили его. Сюжет этот я взял из жизни: из провинциальной газеты, где очень кратко описывался такой случай. Кажется, еще под рубрикой "О людях хороших". Вот вам первый уровень. Правда, в данном случае он настолько необычен, что включает в себя и второй уровень, уровень любимых мной парадоксальных, внешне необъяснимых ситуаций. Жизнь, как видим, так же "фантастична", как и литература. Самое же интересное заключалось в том, чтобы дать интерпретацию такому случаю, открыть в человеке, в его душе, мотивы, причины, тайные пружины того, почему семья убитого могла усыновить убийцу. И как убийца может жить в подобной семье. Это уже третий уровень: уровень бездн человеческой души, который в этом рассказе представлен очень широко, ибо главное в нем, конечно, не сам этот необычный случай, а человеческие характеры, состояние души при такой ситуации, странные реакции на нее людей, их тайный ужас. И тут мы переходим к последнему уровню (метафизическому) и одновременно к ключевой идее рассказа. Действительно, почему мать убитой приняла убийцу? Она сама отвечает:

"Не может быть так жисть устроена, чтоб один человек был причина гибели другого... не может... Ваня не убивец, хоть и убивал... Он только прикоснулся к Надюше и связался с ней раз и навсегда... Тайна, о Господи, их связала... Теперь для меня что Ваня, что Надюша... Таперича Ваня не убивец, а жених, воистину жених будущий Наденьки!"

Нет, она не сошла с ума: но бывают в жизни настолько невыносимые и тяжелые моменты, что для того, чтобы выжить, не сойти с ума, человек должен создать иное, часто крайне парадоксальное виденье мира, чем то, которым он довольствовался в обычной жизни. Иными словами, выйти за пределы себя, прорваться в иное состояние сознания. В данном случае спасением для нее стало целое инстинктивное виденье, выраженное символически и образно, согласно которому зло мира - иллюзия, сон, и где-то в потустороннем, в конечном царстве Добра эти иллюзии разрушатся, и убийца станет "женихом" жертвы, все примирится. И мать хочет перенести это конечное "примирение" в уродливую земную жизнь, приняв убийцу в свою семью. Являются ли такие идеи о примирении "золотым сном" или, наоборот, крайняя ситуация дала толчок к разгадке истины - на это нет ответа в рассказе.

Итак, здесь налицо уже четвертый уровень, метафизический. Есть у меня рассказы, которые целиком основаны на этом уровне. Таков, например, "Голос из ничто", где описаны космологические пласты духовной реальности в перевернутом мире души, стремящейся к самоуничтожению; или, например, рассказ "Небо над адом", где описана любовь души человека (после его смерти) к собственному трупу. Этот рассказ входит в американское издание.

Уже из этих описаний достаточно ясно видно, что моя проза не касается специфически советских моментов, а обращена к общечеловеческим и общедуховным ситуациям. Кроме того, для меня литература является строго автономной областью, вмешательство в которую чуждых ей сфер только вредит ей. Образцом такой позиции в эмиграции может служить, например, В. Набоков.

*Вопрос.* Где вы берете сюжеты?

*Ответ.* Много беру прямо из жизни - из наблюдений. Из того, что случилось, о чем мне рассказывали другие. И кроме того, как это ни странно, - из человеческих душ. Это очень богатый, прямо неиссякаемый источник (и мерзости, и хорошего, конечно). Имея такой источник, никогда не соскучишься, и материал всегда будет под рукой. Надо только уметь им пользоваться. Но все-таки - что это значит, брать сюжеты из человеческих душ?

Прежде всего: литература - это не выдумывание, а открытие. Часто открытие того, что еще не выявлено в жизни, но скрыто в человеческой душе. Если вы можете видеть это скрытое, то на основании этого - с помощью логики и воображения (воображения, которое нужно и в математике, но не "фантазии") - вы строите возможный вариант человеческого характера и поведения. Так, например, был написан рассказ "Не те отношения". Итак, можно построить сюжет, исходя из увиденных, скрытых в бездне человеческих состояний, возможностей, неких зародышей будущего поведения и т. д. Можно предвидеть, как будет вести себя этот "зародыш", ес-

ли дать ему полную жизнь и выпустить в свет. И это будет так же реально, как жизнь. Между искусством и жизнью практически нет разницы. Это два зеркала, отражающие друг друга.

Так называемый "вымысел" в настоящей литературе - это просто доведение до своего логического конца того, что писатель увидел. Поэтому фактически никакого вымысла нет, это слово просто не подходит. Но ясно, что нет и голого описательства, ибо литература должна изображать сущность, а не набор фактов, она есть творчество. В некотором отношении искусство близко науке, хотя пласты реальности и средства их достижения в науке и искусстве совершенно различны. Нет ничего более далекого от фантазии, чем наука и искусство - они требуют воображения, то есть умения представить реальное, а не фантазии. Кроме того, вы спрашиваете только о сюжетах, откуда я их беру: из жизни или создаю сам. А это касается только внешнего, первого уровня рассказов, и надеюсь, я объяснил это. Но для меня важно проникновение в глубины человеческой души (что до известных пределов является одновременно и космологией, так как человеческая душа отражает духовный космос). Поэтому для меня решающим является умение непосредственно видеть реальность внутреннего мира во всех его безднах, а умение отбрасывать факты - нечто дополнительное.

Однако сразу возникает один вопрос. А как же быть с вещами на метафизические темы, тем более - действие там часто происходит в так называемом потустороннем мире. Разве там можно бывать? - вправе спросить читатель.

Постараюсь ответить как можно яснее. Во-первых, не я первый и не я последний пишу об этом. Более того, в истории литературы достаточно примеров таких изображений. Вспомним, например, Данте, Мильтона, шекспировских ведьм и пушкинских бесов. Это, однако, все-таки не объяснение, а ссылка. А объяснение таково: наш мир не является закрытой системой. Есть методы проникновения в другие миры. Об этом написано много книг - от индусов до Якоба Бёме. Таким образом, есть книги, в которых накопился опыт мудрецов. Однако эти книги надо уметь понимать. Иными словами, нужны специфические знания и умение превращать эти знания в элемент собственного бытия. Другой источник: личный опыт, из которого наиболее ценно для писателя, пытающегося выйти за пределы нашего мира, особого рода интеллектуально-мистическая интуиция. Кроме того, так называемые сверхъестественные явления происходят в жизни, их можно наблюдать (сюжет для рассказа "Голубой", в той части, которая касается ведьм, взят мной из жизни). И еще один источник, правда, довольно примитивного характера (я им не пользуюсь): современные многочисленные научные исследования сверхъестественных феноменов. Литература о них обильна, особенно на английском.

Нет никакой возможности касаться здесь всей сложности этой проблемы, тем более в соотношении со всем мною написанным. Останемся конкретно только на одном рассказе "Изнанка Гогена". Это рассказ о вампирах, напечатанный в "Третьей волне" № 1. Многие почему-то задавали мне вопрос: верю ли я в существование вампиров? Отвечаю: да, я считаю, что они существуют. Почему? Во-первых, такое мнение не так уж странно, как кажется на первый

взгляд. Его придерживалось и придерживается огромное количество людей. Тех, кто интересуется, например, нашими современниками, верящими в вампиров, отсылаю к обширной литературе об этом на английском языке (пользуйтесь только помощью референтов для точного нахождения такой литературы). Однако, чтобы вести разговор дальше, придется все-таки сказать пару слов о самом феномене, точнее, о его интерпретации. Вампир - это душа человека, после смерти в силу целого ряда обстоятельств не ушедшая от земли и даже из собственного мертвого тела; она прикована стремлением жить на физическом плане; при определенных обстоятельствах эта душа вместе с так называемой астральной оболочкой (то есть копией физического тела на астральном, то есть полуматериальном, плане) может выходить из своего трупa, бродить по земле и питаться жизненной энергией других людей. При некоторых условиях вампир может быть видим физическим глазом; возвращаясь в труп, астральная оболочка вместе с душой, набравшись жизненных соков, как бы слегка оживляет труп, из-за этого - известные явления румянца на щеках и т. п., что обнаруживается, когда вскрывают гроб упыря. Таким образом, по земле путешествует душа с астральной оболочкой, более материализованной, чем обычно, однако; труп же остается на месте, хотя некоторые считают, что и труп, поднятый неизвестной силой, обладает способностью вставать из гроба.

Вот и все: ситуация, как видим, не из веселых. Теперь, "почему" же я верю? Тем более, что лично я не имел чести все это видеть собственными глазами (иное дело - ведьмы). Но, во-первых, нельзя объять необъятное: писатель не может видеть собственными глазами все иерархии темных нечеловеческих существ, бесчисленных и непонятных. Ни Гоголь, ни А. К. Толстой с его "пырями" не могли претендовать на это. Кое-что видели, а кое-чего нет. Как и в земном плане: кое-что видим собственными глазами, а уж кое-что приходится предполагать. Итак, если вы убеждены, что наш мир - не закрытая система, а существует много невидимых нашим физическим глазом миров, что существует реальность по ту сторону наших обычных ограниченных возможностей восприятия, то нет никаких причин не верить в вампиров (которые могут "обнаруживать" себя при определенных обстоятельствах), если есть столько свидетельств их существования от других людей. Если есть ведьмы, то почему не быть вампирам? Если есть Абсолют, высшая духовная невидимая реальность, то должны быть и бесчисленные промежуточные существа и состояния... Дело в том, что для меня вампиры всего лишь небольшая деталь, частность всей Духовной Космологии, как темной, так и светлой, приняв которую в целом, вы неизбежно допускаете существование частностей, если даже эту "частность" вы не "проверили" на собственном опыте. Для меня нет никаких оснований не верить другим источникам. Вы не доверяете им только тогда, когда это противоречит вашему воззрению на мир в целом. Если вы материалист, например, тогда, конечно, поверить трудно...

Далее: зачем я пишу о таких нечеловеческих существах? (Душа умершего человека, ставшего вампиром, трансформируется и уже не принадлежит, по существу, к человеческой иерархии). Собственно, в "Изнанке Гогена" две цели, если так можно выразиться. Одна цель связана с символикой: потусторонняя реальность часто сим-

волизирует те силы, которые действуют и в нашем мире. Вампиры, если они описываются в настоящей литературе, часто символизируют силы патологической привязанности к физическому миру (но не в моем случае). Вообще, в описаниях "потустороннего мира" всегда присутствует глубокий символизм, имеющий отношение и к нашему миру. Другая и главная цель моя в этом рассказе, напротив, весьма необычна: попытаться дать описание субъективного (душевного, так сказать) мира нечеловеческих существ. Этого, кажется, еще не было. Как? Здесь может помочь только интуиция, почти сверхъестественная интуиция, исходящая от некоторых знаний. Любопытно, что это и было замечено итальянским критиком Di Gasriella Moncada.

Ясно, что в других моих "метафизических" рассказах - другие цели. Но мне кажется, что искусство не может ограничить себя только этим миром. Оно может искать иные реальности, но именно реальности, а не фантазии. Понятно, что иная реальность, изображаемая средствами этого мира, требует иных методов проникновения в нее, и принципы таких произведений отличаются от обычных. Часто здесь неизбежны определенная условность и символизм. Но, повторяю, это - проникновение в реальность, а не в фантастический мир.

В связи с этим возникает один чрезвычайно важный вопрос. Как же могут относиться к таким произведениям люди неверующие, скажем - атеисты и агностики? Начну с того, что ко взглядам и атеистов, и агностиков надо относиться, естественно, с полным уважением. Этого требует элементарная терпимость, демократизм и уважение к людям, которые придерживаются убеждений, не совпадающих с вашими. Наконец, писатель, по-моему, не должен быть вообще пропагандистом каких-либо взглядов. Он описывает реальность, но не делает абсолютных выводов. Искусство напоминает жизнь, а в жизни не дается окончательных формул, тем она и грандиозна и загадочна. Но в данном случае дело не только в терпимости: Шекспир описывает ведьм, предполагая их существование (он, естественно, в них верил), с чем может не соглашаться современный профессор литературы, часто агностик.

Это противоречие было подмечено в современной западной критике, и существует целая литература, посвященная этому противоречию. Как может атеист читать (и выносить суд) Данте? Ответ нашли такой: с точки зрения неверующих, все эти писатели-мистики описывали некие высшие психологические состояния человека, а не объективную реальность. Таким образом, был найден выход: и для людей неверующих творчество Данте и Мильтона тоже представляет огромный познавательный интерес, так как последние изображали некоторые реально существующие состояния человеческого сознания или некие высшие пласты самопознания человека.

Мое мнение: конечно, метафизическую литературу можно понимать и таким образом; все дело в том, что для агностика или атеиста такие состояния остаются в пределах субъективного человеческого сознания; для метафизика же эти состояния соответствуют объективной трансцендентной реальности, и для Данте Рай, например, был не только состоянием сознания человека, живущего на земле, но и состоянием его души после смерти, причем таким, ко-

торое соответствует определенному духовному миру, то есть Раю, существующему объективно. Таким образом, и для агностиков, и для верующих такие произведения могут представлять наивысший интерес, но с разных позиций.

*Вопрос.* Расскажите о функционировании писателя Мамлеева в России и на Западе.

*Ответ.* Писателем я ощутил себя очень рано, когда еще учился в Лесном институте. Точнее, кое-что писал я и до этого, кажется, два-три рассказа, но это было простое подражание. В 1953 году я написал первую, хотя и несовершенную, конечно, но свою вещь — иными словами, у меня возникло виденье, виденье людей и мира, свое виденье. С этого, собственно, и начинается писатель, ибо быть писателем — не значит писать вообще или писать хорошо, это значит — возникновение собственного космоса, мира. Я быстро понял, что это мое виденье настолько необычно, что оно исключает написание прозы, которую можно было бы опубликовать, несмотря на то, что никакой, например, политики я никогда не касался. Поэтому у меня не было иного выхода, кроме как стать "неофициальным" или "подпольным" писателем еще в то время. Ведь если бы я изменил своему виденью, подделываясь под общепринятое, я просто погубил бы себя как писателя.

К счастью, в конце 50-х годов произошел какой-то перелом в сознании, и появилось много интересных людей, неконформистов, вскоре возник самиздат, появилась целая неконформистская литература, общество, встречи, чтения, что угодно. Все это хорошо известно, это уже часть истории. Главной формой моего контакта были многочисленные чтения на частных квартирах. У меня появились ученики. Интересны были мои контакты с художниками-неконформистами, среди которых было много моих слушателей. В общем, общение шло на чрезвычайно захватывающем уровне.

Но у меня был также свой "внутренний" круг. Мы интересовались не только литературой, но и восточной метафизикой. Мне выпала удача общаться с совершенно исключительными людьми, которые не стремятся пока к выходу на поверхность жизни. Были разные люди, не только огромных знаний и культуры, но творцы; люди, которые шли невероятными духовными путями, какими не шли до них; люди, докопавшиеся до скрытых глубин, которые, может быть, и не стоило обнажать; эзотеризм веял по всем нашим московским переулкам. Ну, естественно, кроме исключительных личностей, было много милых интеллигентных юношей и девушек, людей "культуры", как говорят; и они были открыты для всего необычного; настоящие живые души, и к тому же бесстрашные духовно... Таков был тот мир, с которым я общался. Должен сказать: как писатель я получил в этом мире то, что хотел, полностью. Действительно, писатель обычно стремится к славе, к признанию, к тому, чтобы быть понятым. В этом неофициальном мире я получил все это сполна, и даже больше: необычайное, невиданное человеческое общение, общение душ, до дна, до конца. Конечно, количество людей было относительно невелико: несколько сотен. Но этого вполне достаточно. Дело ведь в качестве людей, а не в количестве. А качество было таково, что я затрудняюсь даже говорить об этом сейчас... Тот



факт, что меня не печатали, при таком отношении ко мне, какое было в Москве в этом "неофициальном" мире, не имел никакого значения и не угнетал меня. Скорее, наоборот. Только уже значительно позже, в семидесятых годах, я почувствовал, что нужно обязательно сохранить всё, что написано, опубликовать это, иначе все может погибнуть, хотя бы от случайностей. Кроме того, появилась потребность выступить с этим перед миром, хотя меня предупреждали: мир не готов к твоим книгам. Но главным, конечно, было желание сохранить творчество. Самый надежный путь для этого лежал через эмиграцию...

И еще одно интересное наблюдение. Начал я писать в 50-е годы, как говорится, для себя и для очень узкого круга лиц (уже потом он так невероятно разросся). Поэтому тут сработал следующий психологический механизм: раз так, думал я в юности, раз я не могу печататься и меня могут слышать немногие друзья, то я должен компенсировать это возможностью писать с предельной обнаженностью, уничтожив всю внутреннюю цензуру в себе, и если уж писать, например, о мерзостях жизни, то писать до конца и такое, что в нормальных условиях не могло бы присниться и в кошмарных снах... И вот теперь здесь, когда я готовлю свои вещи к печати, я ловлю себя на том, что занимаюсь самоцензурой, кое-что вычеркивая. Кое-что вычеркиваю правильно, ибо вижу: явный перехлест, но иногда сомневаюсь...

Итак, здесь, на Западе, я как бы начал вторую писательскую жизнь (та, с ее славой, и главное, с невероятным общением, была и остается как законченная писательская жизнь), причем, как говорится, с нуля: когда я приехал, на Западе меня не знали, ибо я не решался печатать свои вещи на Западе, живя в Москве, да и подходящих контактов для этого у меня не было. Начал в совершенно иных условиях, в ином мире. Со своими трудностями и надеждами. И вот передо мной лежат первые опубликованные отклики американцев на мою книгу. Мне интересно сравнить их с реакцией на мою прозу в Москве. "Творчество Мамлеева происходит из русской литературной традиции абсурда Николая Гоголя... намекает ли он на смутные тайные силы, которые недостижимы для беспомощного человеческого интеллекта? ... Будет интересно наблюдать, какой прием эти оригинальные, гротескные, ужасающие рассказы получат в англо-американском мире". (Профессор русской литературы Джордж Гибиан). А вот в связи с адом, который так бурно обсуждался в Москве за бутылкой водки, известный американский писатель и профессор английской литературы Джеймс МакКонки пишет: "Художественное видение Мамлеева более сюрреалистично, как будто земля превратилась в ад без осознания людьми, что такая трансформация имела место. Его рассказы - метафорическое изображение наших духовных бедствий".

*Вопрос.* Как понимались ваши герои и ваша литература в России?

*Ответ.* Существовало много интерпретаций, моя проза понималась по-разному. Я расскажу о наиболее интересных и глубоких, с моей точки зрения, трактовках. Сначала о литературе в целом. Часто она понималась не как "модернизм", а как нечто по ту сторону

и модернизма, и реализма, при сохранении некоторых черт и того и другого. Другой момент - попытка в ней охватить "немыслимое", в первую очередь - "потусторонние бездны".

А теперь о героях. Возьмем, например, роман "Шатуны" (в английской книге он напечатан в сильно сокращенном виде). Его главный герой Федор Соннов - убийца, но мотив его убийств - загадка бытия человеческой души; убивая, он пытается проникнуть в тайну потустороннего, в тайну жизни и смерти. Из американских комментариев: "Он (Федор Соннов) убивает, чтобы понять вечное". Душа убитого превращается потом для него в некое божество, в источник света, которому он молится. Таким образом, он этаким убийца-платонист. Главное в нем - воля к потустороннему, воля к проникновению за пределы жизни (и свою смерть он встречает совершенно спокойно), хотя эта воля выражается (странно, демонически) перевернуто.

Я помню дискуссии в Москве по поводу Федора и других героев "Шатунов".

Каковы же были трактовки? Вот одна, наиболее глубокая, на мой взгляд, по которой, кстати, можно судить и о других. Согласно этому взгляду, было бы поверхностным и наивным рассматривать главных героев "Шатунов" только как персонажей зла, одержимых какими-то разрушительными, темными, дьявольскими страстями и целями. Особенно это относится к группе так называемых "метафизических" (Падов, Ремин и др.). Суть их стремлений, согласно этой трактовке, лежит в чудовищной жажде бессмертия, причем в жажде достоверной, истинной и полной реализации этого бессмертия, а не просто в "вере" в него. Это, следовательно, сверхчеловеческая цель. По существу, то, о чем идет речь, известно в индуистской традиции как Бого-реализация (или реализация Абсолюта). Заметим, что европейская традиция никогда не шла так далеко. Трудность и парадоксальность ситуации этих героев заключается не только в том, что они идут собственными силами, не имея, например, полных центров посвящения, непрерывной традиции и т. д. (хотя частично и по этой причине их путь неизбежно должен носить неортодоксальный характер с печатью срывов, надломов, полубезумия). Нет, главное заключается в том, что параллельно и одновременно с высшими силами внутри этих героев действуют как демонические, так и более глубинные силы, которые из осторожности можно назвать, например, силами мировых негаций. Поведение героев можно понять только исходя из предположения о чудовищном взаимодействии внутри них различных вселенских сил. Ситуация, действительно, парадоксальна и к тому же обнажена и обострена до предела.

Такова эта трактовка. Но она касается только героев одного плана. Это вряд ли объясняет, например, Федора Соннова, по существу главного героя романа, мрак в котором особенно силен. Если признать волю к познанию потустороннего положительным, то средства, к которым прибегает Федор, разрушительны и странны в высшей степени. Он как бы состоит из высшего плюса и низшего минуса одновременно. Но вообще никакого сколько-нибудь ясного, с человеческой точки зрения, истолкования этого человека я не слышал.

*Вопрос.* Признаете ли вы идею ответственности писателя?

*Ответ.* Да, признаю, хотя ситуация с этим весьма сложна. Кроме ответственности, писатель должен обладать и свободой, иначе искусство теряет смысл. В конце концов, искусство - особый вид познания, в том числе и темных сторон жизни, а познание в принципе предполагает свободу, без нее оно невозможно. Это очень тяжелый баланс. Вспомните, как мучилась Цветаева, когда писала о союзе художника.

Что касается меня, то надо прежде всего исходить из того, в каких психологических условиях я работал. Я уже говорил о том, что я начал писать для себя и для узкой группы друзей, то есть практически в условиях почти абсолютной свободы; это был глубокий и интересный "эксперимент", потому что даже при отсутствии цензуры одно дело, когда писатель знает, что его вещь будет опубликована и читаема всеми, и совершенно другое - когда писатель уверен, что он может ни с чем не считаться и идти до конца, творя только в "подполье".

Ответственность начинается, когда вы публикуетесь. И писатель должен решать сугубо индивидуально, здесь нет общих рецептов, дело очень тонкое. Он может выбрать разные пути (я говорю о тех, кто принимает идею ответственности).

Тем не менее, если иметь в виду проблему в целом, то, к счастью, дело обстоит, по-моему, благополучно, во всяком случае, если речь идет о произведениях настоящего большого искусства. Возьмем, например, проблему зла. Искусство обладает свойством катарсиса даже тогда, когда повествует о самых безнадежных пучинах зла и тьмы. Кто не понимает этого, тот не понимает самой сути воздействия искусства на человека и отличия искусства от пропаганды. Вообще самые мрачные произведения искусства в конечном итоге по своему воздействию более "позитивны", чем любая пропаганда или слабые, но "светлые" произведения, которые или оставляют равнодушным, или, особенно в случаях "положительной" пропаганды, часто воздействуют в обратную сторону.

Помню одно обсуждение в Москве. Оно касалось опять-таки "Шатунов". Конечно, на внешнем, экзотерическом уровне - там более чем достаточно описаний и зла и тьмы. И вот какая мысль была высказана и получила поддержку: изображение зла, обнажение зла, как бы глубоко оно ни было, - не есть зло, такое обнажение служит познанию, очищению, отвращению, чему угодно, но не самому злу, ибо сущность зла не в обнажении, а в обмане, в скрывании, в том, что зло всегда надевает маску добра. Поэтому изображение зла в искусстве, каким бы шокирующим оно ни было для данного времени, всегда оправдано интересами познания, истины и очищения. Кроме того, искусство не нуждается в том, чтобы зло формально, словесно осуждалось писателем в его книгах, ибо такое осуждение - уже пропаганда, то есть нарушение художественной правды. Искусство работает на истину само по себе, лучше любой пропаганды, которая всегда глупа и неэффективна по высшему счету.

И еще, помнится, тогда говорилось о том, что познание "тьмы" неизбежно, если хочешь прийти к подлинному Свету; о том, что в моих вещах безусловно есть и "позитивная" сторона в прямом смысле, а не только изображение зла и тьмы, но что эта сторона скрыта

та, требует определенной эзотерической расшифровки, но она существует в сильной степени.

Разумеется, это требует расшифровки, ибо скрыто, но в скрытости своя сила. Впрочем, я думаю, что "позитивный" аспект (или "светлый", если угодно) будет присутствовать у меня и в явном виде... Но это уже особый разговор, о будущем.

*Вопрос.* Расскажите о себе не как о писателе, а как о метафизике, о ваших работах в этом плане, в частности о так называемой религии Я.

*Ответ.* Это уже совсем другое дело. Я не только писатель, но моя вторая равноценная "специальность" - метафизика, или философия, если угодно. Из опубликованных моих работ этого плана я считаю наиболее важными "Метафизика как сфера искусства" и "Религия Я" (на голландском языке, журнал "Vres"). Очень коротко скажу о последней. Прежде всего, речь идет не о религии (название здесь неточно), а о метафизическом учении совершенно особого порядка. Оно разработано мной в Москве. Голландский вариант дает о нем только приблизительное и неполное представление. Отмечу, что это - не очередная теория индивидуализма, как можно было бы судить по названию; ничего общего с индивидуализмом и его проблемами моя метафизика не имеет; под "Я" здесь подразумевается реальность, близкая (но не совпадающая полностью) индуистской концепции Атмана; терминология, мною использованная, большей частью европейская, и это может ввести в заблуждение, в то время как само это учение может быть понято лишь в реалиях восточной, особенно индуистской метафизики, хотя оно вместе с тем и отличается от нее некоторыми важнейшими положениями.

*Интервью было дано в связи с публикацией в ноябре 1980 года американским издательством Taplinger книги Ю. Мамлеева "Небо над адом" на английском языке. В 1982 году вышла первая русская книга Мамлеева "Изнанка Гогена", изд. "Третья волна".*

**K**

**PUBLISHER: NINA KARSOV**  
**ADDRESS: 28 LANACRE AVENUE, LONDON NW9 5FN, UK**  
**PHONE: 01-200 6125**

**AUTHOR: Konstantin Leont'ev**

**BOOK TITLE: Pis'ma k Vasiliu Rozanovu**

*Vstuplenie, kommentarii i posleslovie Vasiliia Rozanova*

*Vstupitelnaia stat'ia: Boris A. Filipoff*

**PRICE: hardback £7.50 (\$15), postage £0.60 (\$1.20)**

*paperback £5.40 (\$11), postage £0.60 (\$1.20)*

*10% reduction for libraries and academic staff*

КОНСТАНТИН  
ЛЕОНТЬЕВ  
ПИСЬМА  
К  
ВАСИЛИЮ  
РОЗАНОВУ



Бахыт Кенжеев  
**СТИХОТВОРЕНИЯ**

\* \* \*

в южной Франции где в море  
льются ленточки дорог  
где свое дневное горе  
лечит звездами Ван-Гог

происходит эта драма  
он богат она скупа  
ночь наследство телеграмма  
связи с мафией стрельба

и кричит она рыдая  
голос тоненький дрожит  
у тебя у негодяя  
труп в багажнике лежит

комиссар умен и молод  
любит женщин пьет вино  
утолив культурный голод  
мы выходим из кино

как картина ну законно  
обсуждают фильм друзья  
как он там у телефона  
ну железно ни хуя

это полночь заговорщица  
это Русь мой нежный край  
между креслами уборщица  
собирает урожай

мы-то жизнь свою поносим  
а она довольна всем  
пять бутылок по ноль-восемь  
и двенадцать по ноль-семь

\* \* \*

вот немец едет под венец  
его возлюбленная гретхен  
сидит в малиновой карете  
и щеки рдеют от стыда  
сегодня немец так красив  
что даже солнышко бледнеет  
когда глядит со шпилья кирхи  
в его начищенный сапог

и русский тоже под венец  
он направляется в карете  
на нем парик такой нарядный  
и шитый золотом камзол  
а маша рдеет от стыда  
и матушка императрица  
с улыбкой их благословляет  
у входа в православный храм

зачем явился немец к нам  
в мою любимую Россию  
зачем немецким разговором  
смущает честный наш народ  
уж лучше ехал бы домой  
и ел асфальтовую кашу  
а мы бы доблестней служили  
моей России дорогой

\* \* \*

славно пиво пенится  
когда в кружку льется  
солнце вроде феникса  
слабое осеннее  
надо мной смеется

я люблю веселие  
не терплю насилия  
здравствуйте офелия  
вы почти что лилия

вы такая добрая  
мне ваш голос нравится  
угостите воблою  
толстая красавица

примем еще дозу  
то-то будем рады  
не пройтись ли до зоо-  
логического сада

мы не павианы мы  
не гиппопотамы  
пусть бываем пьяными  
не обидим дамы

вишь как восхитительно  
клетки в лучшем вкусе  
на пруду стремительно  
лебеди и гуси

кинешь камень на воду  
возмутится зеркало  
так и нашу правду  
жизнь перековеркала

**\* \* \***

у двери лунная дорожка  
осталось жизни так немножко  
что затихает в ночь сходя  
твое дыхание дождя  
всему на свете есть граница  
и даже лунному лучу  
я не хочу проговориться  
и доверяться не хочу

клочок пространства над карнизом  
вязальной спицею пронизан  
остаток неба над землей  
посыпан белой золой  
разлука девочка слепая  
плывет на белом корабле  
крутую солью посыпая  
горбушку хлеба на столе

пустые свищут электрички  
сыреет соль сыреют спички  
и у осеннего огня  
не будет места для меня  
тогда у ног заплещет речка  
и станет плакать чтобы ей  
вернул я медное колечко  
подарок девочки моей

глухая черная ограда  
ни губ ни возгласа ни взгляда  
лишь мертвый голос голубой  
еще любит тебя  
а облака даются даром  
и нежный ветер всякий год  
крутым рождественским бульваром  
листву кленовую несет

\*\*\*

неизбежность неизбежна  
в электрической ночи  
утомившись пляской снежной  
засыпают москвичи

кто-то плачет спозаранку  
кто-то жалуясь сквозь сон  
вавилонскую стремянку  
переносит на балкон

хочешь водки самодельной  
хочешь денег на такси  
хочешь песни колыбельной  
только воли не проси

воля смертному помеха  
унизительная кладь  
у нее одна утеха  
исцелять и убивать

лучше петь расправив руки  
и в рассветный сизый час  
превращаться в крылья вьюги  
утешающие нас

Бахыт Кенжеев – московский поэт, участник альманаха "Московское время" (как и Сергей Гандлевский, печатавшийся в "Эхо"). Один из поэтов, чьи стихи неоднократно публиковались "Континентом". Сейчас живет в Канаде. Эта подборка была прислана нам еще из Москвы.



И. Евич  
**МЕМУАР-КОНСПЕКТ**  
**К ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ ЗАМЕТКАМ О ПУТЕШЕСТВИИ**  
**В СОЛНЕЧНУЮ АРКТИКУ**

(Перевод с древне-аккадского без предисловия, примечаний, комментариев и прочего научного аппарата - не потому, что его трудно было составить, а потому, что надоел этот чертов Эзоп!)

1. Один из самых странных туземных обычаев, как неоднократно отмечали путешественники, случайно забредавшие в эти приполярные области, - обычай тем более непонятный, что смысла в нем, на мой взгляд, никакого нет, - это тот прием, который здесь оказывается гостям из-за рубежа при их въезде в страну. Принято, чтобы вновь прибывший иностранец снимал, вернее, припускал штаны, а туземцы - вместе со своими мохнатыми собаками, - встав в длинную очередь, подходили бы один за другим к обнаженной части тела и пробовали бы ее на вкус: не соленая ли? Полагаю, что по крайней мере собакам подобное таможенное действие не к лицу. Кстати, после приема на ягодицах встречаемого, как правило, выступают рубцы, будто после порки, но похожие на штемпель въездной визы. Отмечу еще, что иностранцев по прибытии называют *шпионами* и приклеивают им на лоб соответствующий артикулярный *ярлык*.

2. Национальной одеждой у туземцев считается подкладка подбитого ватой пиджака, которая носится на том же месте, что и пиджак, но без пиджака. На ноги надевают по мятому и изношенному резиновому баллону высотой до колена; эти баллоны я сравнил бы с известными контрацептивными устройствами, если бы не их явно преувеличенный размер и не та очевидная непрочность подошвы, при которой они, несомненно, не могут быть использованы по назначению. На головах носят панамы с плоским клювом. Ни панамы от дождя, ни кандомы от грязи, ни вата от холода не защищают. В местах пересечения дорог пытаются употребить заграничное платье, но часто путают не только верх с низом, но и зад с передом, а подчас и лицо с изнанкой, да и употребляют обычно неправильно. Тем не менее привозной текстиль пользуется здесь высоким спросом и кланчить его престижно: например, за пару импортных кальсон любой туземец, невзирая на степень их потертости, готов вылизать не просто наружность ваших ягодиц, но и гораздо глубже - насколько позволяют длина его языка и ваша нечувствительность к щекотке. Добытые таким образом кальсоны заворачиваются чалмой на голову или вывешиваются на грудь наподобие дамского ридикюля. А один папуас - я сам это наблюдал - переделал их в чемодан, в котором носил продавать на рынок веники.

3. Местное население необычайно воинственно. По праздникам стены домов украшаются пиратскими флагами. Дети специально убивают кошек и красят кошачьей кровью узкие повязки, а затем надевают эти повязки себе на голову, чтобы закрыть якобы потерянный в битве глаз. Наиболее ретивые обзаводятся двумя повязками - через оба глаза. В отдельных районах вдоль трактов стоят мачты, на которых все тренируются в абордажном ползанье. Тех, кто падает вниз, поднимают и наказывают весьма оригинальным способом, а именно - их подвешивают веревками за горло к мачтовым реям, и они больше не падают. В некоторые дни мой путь осеняла столь густая качающаяся тень, что, смотря наверх, я временами представлял, будто это деревья особой породы, щедро увешанные гроздьями почти созревших плодов... В узлах соединения основных дорог особенной популярностью пользуется маршрутирование колоннами. Такая организация передвижения не совсем бесцельна: тридцать манипулов, соединившись в трехлинейный легион, шагают в изящном порядке туда, куда надо по той или иной надобности очередному члену их дивизионного братства, - они это называют *коллективной волей*. Наиболее часто совершаются походы в общественный туалет; в туалете строй не сбивается, а четко делится по центуриям, и все продолжают марш на месте в позиции стоя или в присогнутом положении. Перед уличной колонной всегда выступают три барабанщика-факелоносца, флейтист с тамбурином и гармонист с гордо поднятыми литаврами. А однажды я встретил каре инвалидов на колясках; ободы их колес были оснащены подошвами солдатских сапог и издавали при качении соответствующий топот. Аборигены считают, что скоро начнется война со всем миром и земной шар рассыплется в мелкую щебенку, но войну они все равно выигрывают, и тогда жить будет совсем весело, потому что они терпеть, дескать, не могут войну, но что делать, если они не только *самое мирное племя*, но еще и *сильнее всех на свете!*

4. Несмотря на то, что тут в ходу поговорка: кто не работает, тот не ест, а кто работает, тот даже не пьет, - все же позволю себе не согласиться: все автохтонное население пьет этанол, винный спирт. Пользуются при этом сосудами, которыми в других странах орошают поля. Безруким и умирающим вливают этанол в горло при помощи воронок. Любопытен способ употребления напитка, неоднократно мною наблюдаемый, но следовать которому мне так ни разу по всем правилам и не удалось: перед первым и единственным глотком рекомендуется закрыть глаза, выдохнуть весь воздух, очистив тем самым душу от житейской скверны и остановив ток лимфы в жилах, затем залпом выпить всю жидкость из бидона, снова выдохнуть ту часть воздуха, что проникла внутрь через уши во время питья, и непременно - это самое главное - удариться головой во что-нибудь твердое, дабы протолкнуть остаток напитка без воспламенения; теперь, если у вас остались силы, можете вздохнуть и утереть слезы куском савана. Так же часто здесь пьют синильную кислоту и настой цианистого

калия на киселе. В любой час суток здесь можно видеть специальных ритуальных пьяниц, лежащих прямо на почве. Никто не обращает на них внимания, и в морозы многие из них умирают, и тогда тот, кто встретит такого умершего ритуального пьяницу, спешит оторвать от него какой-нибудь орган - подобные органы, но в свежемороженом, а не в натуральном виде, хорошо предохраняют, согласно поверью, от дурного глаза. Я спрашивал, кто становится ритуальным пьяницей - выбирают ли их по жребью, по комициям или они выполняют определенного рода повинности, - но ответа так и не получил. Вероятно, это одна из национальных тайн, строго хранимых от дотошных иностранцев. Еще мною замечено, что ритуальные пьяницы часто жуют пыль и асфальт, обильно смоченные их собственными выделениями, но цель подобного жевания мною также не выяснена.

5. Определить, живут ли аборигены семьями или просто шайками, не представляется возможным. Если семьями, то остается непонятным, как они обнаруживают свой пол, ибо я ни разу не видел явных половых признаков ни на одном из них. Отсутствие половых признаков происходит из повсеместно здесь распространенного убеждения, что мужчина и женщина равнозаменяемы и тождественны юридически, геометрически, физиологически и т.п. Отсюда можно предположить, что у них, вероятно, процветает партеногенез, или другими словами размножение без оплодотворения, что конечно достойно удивления, но не потому, что такого не бывает - подобное в зоологической природе не новинка, а потому, что у всего остального человеческого мира как раз наоборот - оплодотворение без размножения, да еще с легализированным проискумитетом, от которого нормальному человеку порой и деться некуда. Местный проискумитет целиком ушел в подполье, куда за ним ушла и большая часть населения. Что же касается официальных ресурсов размножения, то они крайне ограничены и почти полностью исчерпаны, а посему туземцы, понукаемые острой жизненной необходимостью, вынуждены выписывать детей из-за границы, главным образом по торговым договорам с американцами - компания *хаммер и его тетья* - откуда, кроме прочего, поставляются кормовое зерно и электроника, и все это в обмен на пеньку, ворвань, деготь и соболей. Туземная благодарность на любезность империалистов в торговом партнерстве выражается тоже весьма оригинально, а именно: они собираются в случае развязывания военных действий первыми стереть с лица земли именно заокеанского колосса, по причине того, возможно, что тот доставляет не вполне качественных детей. Американцам следовало бы прекратить это опасное сотрудничество, но они как истые капиталисты ничего не могут поделать со своей врожденной страстью дешево получать ценное сырье везде, где только представится для того возможность. Больно видеть, как умный цивилизованный народ идет напрямик к своей гибели. Все же следует признать, что несмотря на помощь в этих краях в полной мере самобытно и традиционно процветают явные излишества, варварами коротко называемые *блядством*, причем иностранным туристам, с целью их привлечения, предлагаются отнюдь не излишки оного. Приведенный труднопроизносимый термин я бы

перевел выражением *половой гедонизм*, если бы последний был возможен в условиях полного отсутствия санитарии и гигиены.

6. Хлеба аборигены не возделывают, а как я уже отметил, получают из-за кордона вместе с электроникой и грудными младенцами. Мяса здесь совсем не едят и к нему относятся даже с отвращением, но кажется, это потому, что, с одной стороны, они еще не дошли до эпохи скотоводства, а с другой, уже вышли из состояния каннибализма. Кроме хлеба, в пищевой рацион входит также голая соль в виде огурцов, а иногда картофель, который в незначительном количестве доставляется контрабандой из того же несчастного буржуазного зарубежья. Картофель перед употреблением поливают мочевиной и выдерживают по буеракам до трех лет, пока в нем черви не закаменеют. Но наиболее популярным, да пожалуй и единственным блюдом является так называемая *жратва* - я много о ней слышал, но изведать так и не довелось: должно быть, на *жратву* в мой приезд был традиционный *неурожай*.

7. *Неурожаем* здесь называют климат, который почти невозможно дифференцировать по сезонам; более полное его название - *неблагоприятные погодные условия*. Выражение не поддается адекватному переводу ни на один нормальный человеческий язык. Более того, трудно было привыкнуть, что знакомые нам понятия - весна, лето и т.д. - туземцы наделяют каким-то другим, диковинным для нас смыслом. Так, в те месяцы, что мы разумно считаем весенними, здесь не происходит никаких погодных изменений, однако все аборигены закатывают глаза к небу и дружно сокрушаются, что, *ах* мол, *весна в этом году необычайно поздняя*, или наоборот - *ах, слишком ранняя*, а другой весны, не поздней или не ранней, у них не бывает. Пришлось поинтересоваться, по какому признаку они отмечают срок наступления самого приятного времени года, ибо никаких заметных перемен в природе, связанных с его приходом, обнаружить не удалось, и я узнал, что критерием служит начало массовой эпидемии запоров среди местного населения, и лишней раз подивился хитроумности Божественного промысла, из скупого материала способного лепить связи, поражающие людское воображение... После того, как запоры проходят, объявляется летний сезон, но и это объявление страдает эклектичностью: лето бывает либо *засушливым*, либо *дождливым* - и никаких промежуточных градаций! В первом случае земля трескается до основания мантии, во втором - покрывается десятиметровой влагой. Сам я, правда, дважды видел, извините за выражение, лето, когда земля покрылась и треснула одновременно. Если бы не шел густой снег и не стоял крещенский мороз, я бы сказал, что то было дождливо-засушливое лето, но туземцы несомненно оспорили бы мое заявление как излишне пессимистичное. Что касается осени, то именно про нее и говорят - *неурожайная*; отсюда, наверное, и название климата. Зима же тут и на самом деле скорее лютая, чем просто холодная; она даже стоит на специальном военном учете и уже не раз побеждала самые подготовленные армии завоевателей, как, впрочем, побеждала и армии защитников, но последним уходить было некуда, и они оставались, а завоева-

тели, отморозив носы, обычно уходили домой по теплым квартирам. В мирное время мороз проходит военные учения, тренируясь на мирном гражданском населении, и тем самым находится в состоянии полной боевой готовности. Туземные дети сызмальства воспитываются на уважении к этому эффективному оружию и зовут его ласково дедушкой, думая, что он родной брат *дедушки идола*, о котором речь впереди. Собственных дедушек они величают бабушками, а бабушек у них нет, как, кстати сказать, и родителей; но об этом я уже упомянул.

8. Природу свою местные жители берегут и любят до такой степени, что у них запрещено ее разрушать. Место своего обитания они обнесли колючим штакетником и, чтобы не нарушать в нем экологического равновесия, объявили заповедником. Заповедная флора представлена редким видом окаменелого лишайника, который на каждом шагу встречается в виде корявых бугров, торчащих над окружающей ржавой равниной. Лишайник по осени заботливо подстригается ножницами наподобие правильных геометрических кубов, сфер и эллипсоидов и называется *стригуцим*. Другой флоры здесь нет, но однажды я наткнулся на спрятавшийся в земной щелке крохотный кактус, о чем сообщил здешним биологам; полагаю, сюда он попал скорее всего по ошибке, и когда на следующее утро я снова пошел его проведать, его уже кто-то съел. Фауна региона состоит из таких представителей: комары, клопы, вирусы, глисты, сами туземцы и восемьдесят два вида тараканов, причем все представители занесены в *красную книгу*, а других здесь никто не видел. Говорят, тараканье племя раньше было куда разнообразнее и богаче, но большинство на что-то обиделось, и ныне их можно встретить только в музеях, специально для того построенных. Туземцы занесли в красную книгу по собственной инициативе и исключительно из-за любви ко всему красному. Как экзотических созданий упомяну только клопов, которые живут в сверхестественном симбиозе с подушками, о чем я не догадывался до тех пор, пока одной ночью они не нагрянули ко мне рассерженной ватагой и не унесли свой теплый домик, доставшийся им в результате биологической эволюции; в дальнейшем я всегда спал уже без подушки, но все равно с клопами. Если вы выйдете на свежий воздух, то несомненно поразитесь суровой и первобытной красоте местного пейзажа. Окружающий ландшафт тем более привлекателен, что в него еще не ступала нога человека. Девственный лесной воздух богат аммиаком. А селитры, ядохимикатов и дизельного топлива тут столько, что их можно черпать прямо из рек столовой ложкой, но никто не черпает. Что касается излучений, то аборигены, воспитанные в спартанской строгости, предпочитают жесткое мягкому. Из прочих замечательных явлений природы отмечу тонны мирного оружия нервно-паралитического поражения, которое в порошкообразных брикетах валяется буквально под каждым сугробом. Это оружие является, я заметил, существенной подмогой толпам проголодавшихся туземцев, и каждый из них со всем тщанием охраняет свой сугроб, переходящий, очевидно, по наследству - от отца к сыну и обратно, в зависимости от того, кто в настоящее время голоднее. Любой ребенок может показать вам сибирскую язву, ко-

Любой ребенок может показать вам сибирскую язву, которую он носит в своей коробочке и нежно укачивает перед тем как лечь спать в кроватку...

9. Принято считать, что туземец на производстве - зверь. И это действительно так, ибо ярость, с какой здешний любой работник набрасывается на работу, независимо от ее масштабов и вознаграждения, можно сравнить разве что с яростью проголодавшегося хищника, спешащего поутру прыгнуть на первую подвернувшуюся овечку. Одно меня удивило: каждый туземец норовит любое изделие смастерить топором и без единого гвоздя - будь то деревянная церковь или современный ракетный блюминг, простая табуретка или автомобиль. То ли топоров у них в избытке, то ли гвоздей не хватает. Кстати, национальным отхожим производством, крайне престижным и уважаемым, считается не создание блюмингов и табуреток, а умение подковать блошиную железную инфузорию, называемую здесь *аглижкой*. Еще в прошлом веке один однорукий специалист подковал первую такую блоху, а потом его самого подковали другие специалисты - с тех пор почти все население занимается тем, что без конца подковывает блох и друг друга. Ныне повсюду полно блох и умельцев, которые - заметьте! - подкованы топором и без единого гвоздя! Зачем им так много блох и одноруких специалистов - это уже другой вопрос, к трудолюбию он не относится; однако могу лично свидетельствовать: едва забрезжит полседьмого, все местное население поголовно хватается за топоры и начинает свой освященный десятилетиями промысел, причем, хотя каждому задана вполне определенная порция инфузорий, все умельцы страстно торопятся умножить ежедневное число подкованных блох в три, пять, а нередко и в сто раз. Каждый соревнуется с каждым, дым валит фаллическим столбом и стоит такой надрывный грохот, будто они не блох коуют, а огнедышащих драконов, так что слышно далеко за южным полюсом. Вечером, когда воодушевление стихает, провозглашается чемпион туземного региона, и с наступлением глухой ночи его принимают заводить по всей стране, чтобы дети могли взять с него *пример*. Чемпион при этом застенчиво улыбается и отряхает с ушей десятки блох, которые ползают по нему и громко стучат копытами. Каждый раз, когда я смотрел на эту картину - вы не поверите - у меня от слез першило в горле...

10. Если теперь перейти от блох к промышленности, то отмечу, что в профессиональном отношении все автохтонное население делится на следующие категории: дворники, сторожа и начальники. Дворники, пристально высматривая огрызки, метут мусор с одного участка на другой, сторожа смотрят, чтобы мусор не исчез подобно огрызкам, а начальники налагают штрафы. Поэтому все находится при метле, при сторожецкой колотушке и все друг у друга на виду. Штрафы взимаются в виде того же мусора, а если повезет, то и огрызков - другой валюты здесь нет. Итак, все население от мала до велика считается стопроцентно образованным в профессиональном смысле. Лично я, как иностранец, не умеющий бить в колотушку и правильно держать веник в руках, проходил по статье неохваченного образованием. Но такова уж обратная сторона старого европейского образования!

11. Неподготовленного наблюдателя в этой местности может сбить с толку большое количество странных личностей, расхаживающих в толпе автохтонов, но отличных от толпы и видом, и повадками. У всех них как бы одно лицо, и временами начинает казаться, будто в среде туземцев угнездилась некая банда разбитных однояйцовых близнецов, похожих друг на друга, как оттиски с одной скучной круглой печати, вплоть до мельчайших деталей, таких, как волосики на кадыке, - я сам проверял - причем все как один одинаково одеты в смешнейшую по своей серой броскости униформу - наподобие дятлов в брачный сезон. Первоначально я решил, что это особая каста, но со временем понял, что репродуцированные брачные дятлы вовсе не братья, не люди и даже не дятлы, а специальные пружинные механизмы, которые издали похожи на людей, могут ходить, бегать, свистеть в *свистульки* и произносить несколько простейших слов, хотя и с надсадным шепелявением. Такого дятла легко смастерить самому из старого матраца, одной швабры и двух мешков конского навоза, если вам повезет раздобыть здесь конский навоз. По ночам дятлы собираются в стаи где-нибудь по окраинам болот и спят стоя, и если идет снег, их стаю можно принять за красивую рожицу; но подходить к рожице не советую: на некотором расстоянии рожа вдруг придет в движение и, разом скинув снег, засвистит в тысячи громовизглых свистулук. Именно таким образом я надорвал здесь свой слух. Дятлы бьют туземцев по голове сучковатыми палками и всячески унижают, но те почему-то не обижаются, а наоборот, сетуют, что дятлов маловато и потому нет *порядка*. Порядка я тоже не видел и не могу сказать, на что он похож; возможно, это еще один пружинный механизм. Замечу кстати, что бить самих дятлов считается в здешнем обществе плохим тоном, и их не только почти никто не бьет, но относятся с уважением, спешат подставить под их палку голову, говорят спасибо, а по воскресеньям смазывают машинным маслом дятловы пружины, чтобы те не скрипели при ходьбе, - это называется *воскресник*. Еще дятлов экспонируют по международным выставкам, но спрос на них за границей весьма незначителен, что, впрочем, не мешает любому ребенку на вопрос: *ребенок, кем ты хочешь стать, когда вырастешь большим?* - гордо отвечать: *дятлом, и только дятлом!* Все аборигены носят с собой кирпичи, на которых выдолблено все, что касается конкретного аборигена: куда он идет, откуда, что вчера ел, какова его партийная кличка, номер, серия и т.д. Если кирпича у туземца нет, первый же встречный дятел имеет право бить его до тех пор, пока он не отыщет свой кирпич. Если туземец взял по ошибке чужой кирпич, дятлы его снова бьют. Определить, твой это кирпич или соседа, очень легко: для этого на каждом кирпиче выщерблен отпечаток зада владельца; если отпечаток полностью совпадает с оригиналом, как правило туземца не задерживают и он уходит небитым - считается, что подделать отпечатки крайне трудно. Итак, носильных кирпичей здесь столько же, сколько и самих туземцев, и даже больше, так как кирпичи долговечней, а потому их вполне хватило бы на покрытие одной шестой части суши, но никому мысль

о покрытии в голову не приходит, и причина тому - неэстетичность узоров на их поверхности. Меня как дружественного иностранца пожалели, и мой кирпич носил приставленный ко мне с умыслом прислужник-кирпиченосец, у которого таким образом был двойной груз - и за себя и за меня. С обязанностью своей он справлялся виртуозно и, хотя общий кирпичный вес достигал двадцати килограмм, ни разу не уронил ни одного из них. Люди здесь физически очень сильны. Дятлов в среде одушевленных варваров называют не дятлами, а словом, годным также для обозначения грязи на дороге. Поэтому не следует путаться в таких, например, выражениях: *за вами пришла грязь* - или - *какой однако страшный дятел сегодня на дворе*. Местная лексика вообще изобилует большим количеством омонимов.

12. Туземные искусства пребывают на атомарном и даже на электронном уровне, и поскольку электрон тут счиатется *неисчерпаемым*, то и искусства, несмотря на всю их микроскопическую мизерность, полагаются кладезем необычайно глубоким, на подобие *корыта изобилия*, со дна которого в жаркий день можно извлечь если не кружку затхлой воды, то по крайней мере одну от страха обмершую жабу. Итак, обратимся к искусствам. Во-первых, музыка. Музыки в этой стране нет, но композиторы окружены почетом и завистью. Впрочем, некоторые непритязательные иностранные меломаны склонны, кажется, принимать за пение тот стон, что издают здешние прокаженные дервиши. Этот стон у них песней зовется, но лично я звать решительно отказываюсь. Дервиши подыгрывают себе на электроложках, оборудование для которых (и я об этом уже сообщил выше) поставляют иноземные капиталисты; причем поставщикам безразлично - обедают ли этими ложками, играют ли на них сюиты и симфонии или используют как низколетящие цели, которые трудно обнаружить современными радарам и еще труднее сбить. Перед исполнением дервишам обычно выдергивают зубы - дергают сами композиторы, чтобы они стонали веселей, и они действительно очень весело и беззубо скрежещут о том, какой прекрасный северный полюс дарован им под жильем, какое они изумительное и жизнерадостное племя, и о том, что другой такой страны они не знают и знать не хотят, но последнее просто, по-моему, объясняется плохим преподаванием географии в школе. Есть еще у них и гимн, но так как музыка к нему не сочинена, то и текст не стали придумывать, поэтому исполняется он в полной тишине, хотя и торжественно. Во время исполнения на кладбищах отверзаются могилы и из них поднимаются патриоты-покойники, которые стоят не качаясь до тех пор, пока гимн не кончится. От музыки обратимся к архитектуре. Под архитектурой аборигены понимают возведение заборов везде, где только можно, и уже перегородили свою арктику вдоль и поперек. За заборами, как правило, ничего не спрятано, если не считать мусорных свалок, а сами заборы служат, кажется, для того, чтобы справлять под ними малые нужды, а заодно чертить на них простейшие по графике буквы, доступные по своей простоте и младенцам, а сложных букв здесь никто, включая взрослых, писать не любит. Что касается жилищ,



то живут туземцы в глубоких *землянках* - это такие самодельные пещеры в земле, окруженные снаружи завалинками. Ошеломляет вместимость этих зарытых берлог: я сам видел, как однажды вечером внутрь завалинок прошло два полка туземцев по 1800 легковооруженных воинов в каждом с двуглавыми штандартами, двумя цензорами, тремя консуларами в пулеметных лентах и шестьюстами всадниками при полном облачении и на конях, потом медленно вползли обоз и полтора табора танцующих и поющих цыган, наконец туда втащили полдюжины базук величиной с большую берту, после чего закрыли двери, а на заре - я простоял всю ночь в ожидании - наружу вышел *бледный пионер* на тонких ножках, вежливо со мной поздоровался, привычно вскинув вверх по арийскому уставу цыплячью руку, и, навесив на дверь амбрный замок, удалился в неизвестном направлении. Больше оттуда никто не выходил. Предполагаю, что они дорылись до внутренних вакуолей земли и, соединившись там глубинными переходами, образовали в центре нашей планеты новое скрытое обиталище, где и занимаются *своими совершенно секретными* делами, и когда бы не зловоние, исходящее от наружных дырок, я проверил бы свое предположение, но что делать, если мы, европейцы, так чувствительны к запахам и грязи! В местах, где скрещиваются тропы и просеки, строят те же землянки, но как бы вывернутые наизнанку, то есть не вниз, а вверх, иногда довольно высоко, так что их видно издалека. Аборигены любят похвалиться тем, что у них пизанских башен больше, чем у прочих народов, причем они более настоящие, ибо периодически в самом деле падают. Отсюда, возможно, возник обычай устраивать дуэль по-туземному: после ссоры два дуэлянта по очереди ложатся, каждый в свою ночь, под пизанскую землянку на раскладную кушетку; выигравшим считается тот, кто выживет, - другого непременно когда-нибудь завалит. Процесс падения пизанской землянки принято именовать инфинитивом, производным от прилагательного при падающем объекте. Место, где *пизанулась* землянка, обносится свежеструганным забором и объявляется *памятником культуры*. - Также проявлением архитектуры я бы счел заодно и местную страсть к постройке подземелий другого рода, которые однако наружными завалинками не украшаются, но внутрь которых старательно закидывают как можно больше мраморных блоков. Согласно моей гипотезе, делается это для того, чтобы на всякий случай сохранить национальный мраморный запас. По несколько раз в день туземцы спешат вниз, где любуются на свой мрамор, гладят его, называют ласковыми словами и даже целуют, как живое существо. От поцелуев мрамор коробится и в некоторых местах обваливается на черепа своих обожателей. Однако страсть к сооружению мраморохранилищ развита не повсеместно, а исключительно в крупнейших пунктах пересечения караванных путей. В прочих местностях долбленным мрамором засеиваются поля в надежде, что в будущем рано или поздно посев принесет всходы. Сколько раз мне доводилось наблюдать картину, когда счастливый пейзаж сидит в окружении домочадцев на склоне лысого оврага и умиротворенно стережет свой огород, дабы не прозевать появление

первого мраморного колоска. Валуны и булыжники здесь считаются сорняками и их безжалостно выпалывают.

13. Вопросы образования и охарны здоровья решены в этой земле предельно просто и эффективно - учат здесь при помощи кнопок и веников, а лечат печатями: кнопками учеников прикалывают к стенке, а вениками выбивают из них пыль; больным же, чтобы они не болели, ставят на лоб синюю печать: *абсолютно здоров!* Я посетил образцовое заведение, где тысячи студентов висели вдоль длинных стен и у каждого на лбу было напечатано: здоров, здоров. Все, ходившие самостоятельно, сознавались, что им достались плохие кнопки и теперь их наверное отчислят за неуспеваемость. Такое образование и здравоохранение хороши хотя бы уже тем, что обходятся потребителю бесплатно, а местные жители считают все бесплатное лучшим в мире.

14. Ученым здесь зовется всякий, кто, во-первых, освоил несколько иностранных слов и, во-вторых, кто, будучи по своей природе мягким и отзывчивым, хочет стать еще толще. Если неученая масса пьет от голоду и ест то, что наблюдает спьяну, то научная элита и кушает трезво и выпивает в сытости. Слухи о том, будто ученые туземцы охотятся друг за другом, на мой взгляд, преувеличены. Если они и покушаются на коллег, то не более, чем отглодав у них кончик носа или указательный палец; тем они, лишенные сих выдающихся членов, и отличны от прочей публики. Когда кто-либо хочет подразнить такого мыслителя, то сунет палец в нос и мычит; заметив обидный этот жест, ученый, как правило, бросается в бескомпромиссную теоретическую склоку, грозит четырехпалым кулачком и гнусавет вслед обидчику ругательные слова с истеричным проносом. В большинстве случаев довольный обидчик убегает без ощутимых для своей психики потерь.

15. Куда бы я в этой стране ни поехал, везде меня преследовал один и тот же образ, который, как приставленный ко мне соглядатай, неотрывно наблюдал за мной, моими действиями, перемещениями, разговорами и т.д.; даже когда я спал, казалось, что он не дремлет и не сводит с меня своего недоброжелательного взгляда, по этой причине спал я, вполне понятно, плохо. Возникло подозрение, что или я приобрел фобию преследования, или же на меня действуют гнетущие парапсихические силы местного характера, но однажды я догадался, что боюсь... заурядного плакатного изображения, коим здесь украшены все заборы. На плакатах нарисован *идол*, вернее огромный живот без рук, ног и головы. Внизу живота подвешена козлиная борода, а над бородкой, на лобковой кости помещено крохотное ехидное личико в ладошку величиной с бесформенным носиком и пьяными глазками. Иногда пририсовывают руки-ноги, но картина от этого не становится менее кошмарной. Аборигены утверждают, что это не живот, набитый кишками, а лоб, набитый мозгами, но в таком случае непонятно, зачем лбу два мощных соска по бокам и рыхлый пупок в центре. Такие плакаты можно увидеть не только на заборах, но и на потолках в сортирах, на помойных ящиках, в окопах, то есть везде, где только глаз может обнаружить минимальную ровную плоскость.

Есть и архитектурные модели: дети лепят *дедушку идола* из снега, обливают его водой, вставляют в рот морковку и водят вокруг него, голого, хоровады. К слову сказать, в общественных банях я лицезрел нагих намыленных автохтонов, у которых то же козлиное животоподобное лицо было вытатуировано на разных частях тела; причем многие умудряются наколоть идола таким образом, чтобы при ходьбе у него по очереди подмигивали оба глаза и иногда высывался язык. Идол и теперь живет всех туземцев, чему я сам свидетель, ибо не раз наблюдал, как он с плаката здоровался за руку с мимо проходящими трупами. Трупам нравится такое запанибратство, и они души не чают в своем кумире, что, впрочем, дается им с легкостью, так как никакой души у них нет. И действительно, все население, достигшее призывного возраста, обязано сдать в двухдневный срок зародыш своей души в специальную сберкассу, где им обещан умеренный рост. Такова подоплека старого иноземного заблуждения о якобы *таинственной туземной душе*. Сданный в сберкассу эмбрион с жабрами прессуется по консервным банкам и, разбавленный томатным тухлым соком, дожидается лучших времен. Как я выяснил, идол не является параноической фантазией здешних маляров, а на самом деле был реальным историческим животом, который разбойничал до потопа по камаринским лесам, разбавляясь христианскими младенцами и девственными старушками, что забредали к нему, отправившись по грибы. И теперь еще каждый год в первый день мая все население сходится на лесных большаках, чтобы принести ему в жертву традиционные объекты его былого промысла. Рассказывают, что дряхлые весталки, предназначенные в закляние, входят в экстатическое состояние задолго до открытия торжеств - еще в апреле - и редко кто из них доживает до минуты своего гражданского апофеоза. Потому-то их осталось так мало. От обжорства у идола пучит живот, и он прямо с плакатов издает нехорошие звуки, но все делают вид, что не слышат, в то время как кошки и собаки, оказавшиеся поблизости и не способные к притворству, падают замертво, застигнутые страшной канонадой. Меня лично по-прежнему тошнило от зловония.

16. Обращают на себя внимание изображения и самих туземцев: на тех же плакатах, где красуется лоб, набитый кишками, они пририсованы - обычно на заднем плане - в виде тесно сомкнутой команды целеустремленных даунов с малюсенькими головками и огромными кулачищами. Сей плакатный, вполне реалистический канон свидетельствует, как я думаю, о другого рода странном ритуальном игрище, которое принято проводить тайно в одну из ноябрьских безлунных ночей; причем, в отличие от майской сходки, это сборище заключается в том, что как только в полночь проорут на холмах упыри, все население страны спешит в открытое поле, тесно смыкается и образует тем самым жуткого *монстра*, то есть существо более высокого порядка, нежели простой туземец, хотя ничего, кроме туземцев, в нем нет. Правоту моей гипотезы подтверждают плакатные надписи, на которых так и заявлено открытым текстом: *народ и монстр едины!* Странная манера аборигенов называть себя народом мне уже не казалась смешной. Чем доподлинно занимается монстр, никто не знает, ибо поутру у всех

с похмелья болит голова, саднят бока от синяков, и им не до воспоминаний. Но я слышал, как монстр тяжело ходит по полуночной тайге, круша вековые сосны, и пугает зверюшек ужасными воплями, а тех, кто не успевает убежать, съедает прямо со шкурой.

17. В стародавние времена идол выписал себе наложенным платежом из жарких абиссиний негритенка, который, став взрослым негром, вознамерился как человек культурный и образованный одарить автохтонов изящным литературным языком. Но те, не обладая и навыками разговорной речи, негра расстреляли; с тех пор письмо целиком и полностью отдано на откуп разгульным самкам, что висят пачками, зацепившись хвостами за ветви, в привокзальных сквериках, скребутся друг в дружке и стоят по куску мыла пара. По временам самки любят, *вспыхав латтями ниву*, отдохнуть на капри посреди своей перламутровой коллекции курительных трубок. Их туалетные поллюции здесь почему-то считают литераутрой, что не мешает - и причина тому загадочна - всем скопом боготворить расстрелянного негра. Впрочем, в том, что разрешено, они доходят до высот социального энтузиазма и подвижничества, однако не преступят ни на полшага того, на что наложен запрет. А запрет, как пломба на дверь после обыска, наложен на многое, в том числе и на словесность. Так что подчас дело доходит до парадоксов типа: *да здравствует наш покойный и великий литературный негр, ебена мать!* Охотникам до всего острого принимать кряду более трех строк туземного читива не советую: в вашей перистальтике могут произойти необратимые процессы и она выйдет из строя, а в легких после выдоха не хватит сил на вдох; ежели вы выживете, то постарайтесь по крайней мере не рожать детей - они наверняка родятся полудиотами или даже октябрятами. Большое количество последних является, по-моему, страшным, но наиболее доходчивым предостережением для подобного рода любителей.

18. На свой страх и риск я предпринял попытку самолично выяснить некоторые вопросы местной истории энтогенеза. Получилось следующее. В ту пору, когда вокруг жили нормальные или почти нормальные люди, здесь вдруг возникла неизвестно откуда, скорее всего занесенная в виде ядовитой спермы из безжизненного космического пространства, малочисленная квазирелигиозная секта скопцов-трясодумов, которые с целью хоть чем-нибудь отличиться от землян решили объявить себя *теми, кто больше фиги*. Прочих они на глазок и приблизительно обозвали *теми, кто ровно с фигу*. Но затем в секте произошел разлад на почве справедливого дележа трупных червей для трапезы, и от нее начали обособляться *те, кто меньше фиги*. Конечно же фиг, плодов южных, в этих нордических землях никто никогда не видел, более того - они думали, что фиги - это шарики из козлиного помета, которыми удобно стрелять через трубочку, но названия так или иначе привились. Когда раскол в среде сектантов дошел до полного вооруженного разрыва, те, кто больше фиги, съели тех, кто меньше фиги, вместе с их трупными червями. Остальные, то есть те, кто ровно, убоявшись, признали тех, кто больше, победителями и вошли к ним в сообщество на правах гужевого тран-

спорта. Транспорт объявили свободным, выдали ему по горбушке - и жить стало смешно до коллик. Антропологическая реконструкция позволила мне выяснить, на кого же были похожи застрельщики-зачинатели фигизации автохтонного населения. Тяжелые полевые условия, обнесенные колючей проволокой и вышками с цепными псами, мало способствовали изысканиям, но в черновом варианте удалось воссоздать такой макет искомой особи: низкий рост, едва наметившаяся голова с развитыми надбровными скулами; на голове больше ничего нет - тип вне всякого сомнения более архаичный чем лемур, а не то что питекантроп. И вообще от связи с приматами пришлось отказаться, поскольку ни у одного примата не может быть 18 тысяч мелких и колких зубов, двенадцатикамерного двухтурбинного желудка вместимостью до сорока ведер и рук, оканчивающихся волосатыми, толстыми, подвижными пальцами-отростками, все из которых обладают одним ярко выраженным хватательно-двигательным рефлексом, способным посрамить бульдожьей хватку. В систематике место для реконструированного типа нашлось быстро: *больше-фиг обыкновенный, род члензаместоногие, семейство взадуголовые, отряд фашисты*. Ни один зоопарк не может похвалиться подобным экземпляром, а тут они тысячами бродят внутри самого большого в мире вольера и чувствуют себя превосходно!

19. Предателем здесь считается каждый, кто хоть единожды взглянет в сторону от северного полюса. Сам я предателей не встречал, но наслышан, как сурова поражающая их кара: если несмотря на преудпреждение, сделанное административными органами, иуда вызывающе упорствует в своем любовании южным горизонтом, его тут же на месте закапывают неумершим внутрь ползучего ледника и, чтобы не вылез обратно, вбивают сверху осиновый кол. Во время прогулки вы можете набрести на целые заросли осиновых колов, под сенью которых между бесславных могил неизвестных предателей резвятся организованные дети, писая на колы ярко алой мочой. Такую организацию дошкольного отдыха называют садом; период его полураспада - четыре года. С колами связано и другое проявление патриотических чувств, а именно: под простым колышком, вбитым в землю, к которому большую часть сознательной жизни туземец привязан толстой суровой ниткой длиной от двух до пяти метров, здесь понимается не что иное, как отчизна. Любовь к такой отчизне абориген приносит через всю свою биографию, старательно вытаптывая при этом лужайку, отведенную ему под пастбище. А чтобы любовь нести было легче, к колышку празднично подвешены в виде воздушных шариков *скрижалы*, на одной из которых, например, я прочел: *Скрижаль 209: зловредное и злокозненное сосание собственной крови и поедание собственного кала, а также любое другое сосание и поедание наказывается расстрелом на количество от двух до пяти выстрелов или же расстрелом на то же количество с конфискацией колтышка или без таковой*. Вполне понятно, что в таких условиях никто ничего не сосет и не поедает. Расстреливают здесь при помощи маленьких рогаток ошмотками жевательной промокашки - и прямо в лоб! - но всю неделю перед казнью

душат, травят и топят... Конституция туземцев в отличие от богатого букета разноцветных воздушных скрижалей представляет собой самый короткий в мире свод законов, состоящий из одной статьи, которая настолько лаконична и понятна каждому, что ее не надувают и никуда не подвешивают, так легко она запоминается. Конституция гласит: *иметь законное право быть расстрелянным - почетная обязанность каждого*. Раньше, говорят, было больше прав, например право быть растоптанным. Однако ропщущих на свое бесправие я не видел. Удивительно довольное население!

(Чистейшая россия! И не боюсь я вашего кgb!)

...И мы бы с вами были такими, когда б отцы наши захотели равняться с фигурами... и придут монстроидолы в погонах и поглотят... тятя, тятя, наши в сетях... В стране, между прочим, больше четверти миллиарда сплошных испанских королей, и все - фердинанды восьмые...

(Иногда мне кажется, что только меня выведут из заключения, только я выберусь из этого круга тюрем, пересылок, казарм, кабинетов, этапов, помойных школ и лагерей, очередей, психушек, издевательств - в первый же час свободы примусь писать и кричать об этой сволочной жизни, об этих сволочах-нелюдях и обо всем, что их породило, что держит над людьми... Но скорее всего ничего не получится... устал, Боже мой, как я смертельно устал...)

*...Кормят, кстати, здесь кнутом и бьют тоже не пряником...*

Москва  
май-июнь 1980

Рукопись пришла из Самиздата. Об авторе ничего неизвестно.

Александр Кондратов  
**КОРОТКИЕ КОРОТКИЕ  
РАССКАЗЫ**

## **СЕКРЕТНЫЙ ГОРОД**

Я попал в этот город случайно. Моим первым впечатлением был удар. Удар кулаком, сваливший меня с ног. Верзила, сбивший меня, кричал:

- Пошевеливайся, сволочь! Жду! Ну?

Я нехотя встал... И вновь получил ослепительный удар. Хорошо, что я удержался на ногах и пустился бежать. Верзила погнался за мною, на ходу выкрикивая:

- погоди же, трус!

Я резко затормозил и дал ему подножку. Верзила рухнул на мостовую, плашмя - и тут же я сломал ему пару ребер ударом ноги.

Он завыл от боли, бессильный... Я крикнул:

- Привет! - и посвистывая пошел прочь.

"Нужно найти гостиницу!", - подумал я. Но вскоре забыл об этом, как забыл и о том, зачем и когда я попал сюда, в этот странный город.

Крики верзилы еще доносились издали, когда мне страстно захотелось избить кого-нибудь... Мальчишка напал на меня сзади, и я бы ни за что не сумел поймать его, если б не моряк.

Мы по очереди держали юнца и били, били до тех пор, пока он не перестал повизгивать. Только тогда мы бросили его, как хлам, на мостовую. Взглянули друг на друга... и кинулись драться!

Драться моряк умел. Он разукрасил меня, как новогоднюю елку. И все же шею сломал он, а не я: мне опять помогла подножка.

Потом я поспешил туда, где слышались частые, как горох, пистолетные выстрелы. Пистолет был всегда со мною. Еще бы! Уметь стрелять важнее умения писать.

Я подошел к толпе. Головы были задраны кверху.

- В чем дело? - спросил я. Но мне не ответили.

По карнизу дома шел человек. Дом был большой, пятиэтажный. Человек шел по карнизу четвертого этажа. Навстречу ему шел человек, обутый в ярко-желтые ботинки.

- Сбей его! - взревела толпа.

Соперники сближались. Человек в желтых ботинках толкнул противника в плечо. Тот закачался, потеряв равновесие, вскрикнул и полетел вниз, на мостовую.

- Черт побери! - воскликнул кто-то сзади. - Это уже четвертый! Позвольте, я сшибу этого нахала!

Но человек в желтых ботинках сшиб и его, и еще двоих: они камушком канули вниз и разбились.

- Убийства не опасны, - сказал сосед в серой шляпе. Я застрелил его. Впрочем, позднее.

Мне надоела дурацкая игра на карнизе. И когда человек в желтых ботинках сшиб еще одного соперника, я выстрелил. В ногу, для потехи. Он судорожно схватился за стенку. Будто она могла ему помочь! Затаив дыхание, мы следили за его усилиями. Сначала он стоял спокойно, только кровь текла тонким ручейком. Потом попытался добраться до окна, вскрикнул и полетел на мостовую. Удар был глух и гулок в наступившей тишине.

И тогда, негодуя, кто-то крикнул:

- Какая сволочь это сделала? Кто стрелял?

Это была, очевидно, любимая игра. Я поспешил выбраться из толпы.

- Вот он! - закричал мой сосед в серой шляпе, за что и получил пулю между глаз.

- Держи его!

Я побежал - благо, что улица впереди была пустынной.

- Держи!

Время от времени я оборачивался и стрелял в самых прятках.

- Лови!

Но меня не так-то легко поймать... Я бежал по совершенно пустой улице. Навстречу, из переулка, выбежали трое парней, одетых в хаки, с автоматами наперевес.

- Ребята, - закричал я им, подбегая, - очередями по толпе. Ориентир - угловой дом. Огонь!

Парни в хаки знали свое дело. Они усеяли улицу трупами в какие-нибудь пять-семь минут. Мы прошли до угла, добивая раненых, а потом я предложил выпить по этому случаю - благо, что бар находился невдалеке.

...Черт побери! Он был полон народу. Не искать же другой - и Диззи (по дороге к бару мы познакомились, отличные парни - Шинн, Ю и Диззи) - так вот, Диззи предложил отличную шутку. У него была граната, и он кинул ее под ноги танцующим.

Конечно, после этого они не танцевали. Мы вошли, стреляя в потолок, но веселье не удалось. Кругом было столько крови,



на стенах и на стойке, что это напоминало мясную лавку. Взяв бутылки, мы покинули бар.

Диззи долго жалел зря истраченную гранату.

Потом мы устроили охоту на лысых. Гонялись за ними по улицам, проверяли квартиры. Пулю посылали только в череп. Шинн отрезал им носы, на память.

К полуночи ребята совсем разошлись. Диззи предложил взорвать город дотла, целиком, и мы отправились на поиски динамита.

Веселые это были парни, но мне они надоели: уж слишком они агрессивно веселы. И к чему было насиловать прямо на улицах? Это делал Ю, а нам, как дуракам, пришлось помогать ему...

Я чуть поотстал. Остановил машину. Бедняга не подозревал о своей гибели. Он только спросил удивленно: "В чем дело?" - и я тут же выстрелил ему в рот. Потом выкинул из машины, сел за руль и помчался прочь из города.

Я отъехал недалеко. Машину перевернуло. Ну да, взрывной волной: парни в хаки взорвали город.

Я смотрел на багровое зарево, потирая ушибленный зад. И в зареве пожара я увидел одинокую фигуру, устало бредущую ко мне.

- Диззи! - крикнул я. Он подошел ко мне не скоро. Глаза его были мутны. Он сказал чуть хрипло:

- Ребята погибли. Города нет!

И кто меня осудит? Я выхватил пистолет и уложил Диззи на месте выстрелом в упор.

А потом, не оглядываясь, зашагал прочь, подальше от этого секретного города.

## ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

Фролов давно ее приметил, еще на Морской. Сказал Чаплыгину: она!  
- Эх, жопка хороша! Пойдем за ней, Степа: нутром чую - б...

У столба торговались. Темнело. Сержант говорит:

- Так идем?

А она:

- Двое?

Чаплыгин молча стоит, думает:

- Ну и сука! Цену себе набивает.

- Ничего, что двое: за обоих заплатим.

- Полсотни, - она говорит, - с ...

Чаплыгин, так тот чуть не присел. А Фролов кричит:

- Да ты с ума сошла, что ли? Может, заразу какую от тебя подхватим, а ты - полсотни!

Она говорит:

- Дом-то мой. И постель моя.

- Так война же теперь, ты пойми, сука! На смерть за тебя же идем, за родину. Ну, и стерва же ты, гляжу я...

Она немного еще поторговалась. Сговорились - по двадцать пять. Пошли. Она - впереди, жопка - орешком, под платьем подпрыгивает. Культурная - на каблуках. Фролов Чаплыгину говорит:

- Я, Степа, культурных любить начал. Как война началась. Раньше-то мне бабу подавай, чтоб м-мясо было. А сейчас не-е-ет!

Чаплыгин - шепотом:

- Слышь, Фролов, гондоны куда спрятал?

- Здесь они! - сержант показал на нагрудный карман. - Здесь, с документами.

После - молча шли. Потом сержант спросил:

- Зовут-то тебя как? Надей?

- Зоей. А вас как?

Фролов насторожился:

- Тебе-то зачем?

- Да так, просто.

- Ну то-то. Незачем это тебе знать. Еще из какой части спросишь. Из таких-то вот и вербуют... Легкого поведения.

Она вроде обиделась:

- Ну, и не надо. Подумаешь, тайны!

Когда к ней в комнату пришли, она сказала:

- Деньги вперед. Кто ж вас знает?

Сержант ей:

- Да погоди ты.

- Сам погоди.

Чаплыгин говорит:

- Так за двадцать пять сговорились?

Она отвечает:

- По двадцать пять. С обоих пятьдесят.

Заупрямилась - и ни в какую! Деньги вынь да положи на стол.

Сержант обнять ее хотел. Вырвалась.

- Плати, - говорит.

Сержант озлился:

- Ну и сука ж ты! Солдатам не веришь. Армии!

Она отвечает:

- Никому не верю. Плати, не тяни. Не дам без денег - и точка. Клади монету на стол.

Сержант говорит:

- Ну и сука!

Чаплыгин говорит:

- Пристала, б... - не отцепишь.

На б... она обиделась:

- А сами-то? Ангелы, что ли? В церковь пришли? Мораль читают!.. А деньги, - говорит, - все равно на стол. Не отвертитесь. И морали не помогут.

Матернулся Фролов. Делать нечего. Достал полсотни.

Чаплыгин ему:

- Дай ей, Саша, и за меня. Я потом тебе отдам, в казарме.

Фролов на него покосился:

- Ладно, - потом сказал, - не забудь только. Мне скоро в отпуск идти.

Чаплыгин на стенки стал смотреть. Пушкин висит, поэт. Книги. До войны, небось, честной была, культурною. Сержант достал фляжку со спиртом.

Налили. Выпили. Захорошело.

- Ну, Зюечка, - Чаплыгин стул подвинул, - желаем мы вас посмотреть, какая вы есть. Голая то есть...

- Это, - говорит, - могу.

Разделась. Подбоченилась. Фролов покраснел - и между ног ей смотрит. Потом скрипнул зубами, вскочил со стула; штаны стал снимать.

Чаплыгин сидя смотрит, тоже между ног. Шепчет тихонько:

- Во-ло-си-ки...

Сержант штаны снял, потом гимнастерку. Презерватив натягивает - пальцы дрожат. Застоялся в казармах.

- Ложись скорей!

Она вдруг заупрямилась:

- Нетерпеливый какой! Успеешь, лягу.

Сержант ее матом:

- Не кривляйся, ложись!

Она обиделась. Легла на кровать, губы надула. Сержант к ней...

Чаплыгин молча сидит; отвернулся. Фролов ему:

- Сейчас я, Степа... Сейча-аа-аасс...

Чаплыгин встал со стула, расстегнул штаны. Не стоит у него, висит, точно тряпочка. Фролов весь вспотел, часто дышит; заладил одно:

- Сейчас я... Сейча-а-а-аасссссс...

Никак не закончит. Кровать ходуном ходит, скрип стоит. Слез наконец. Усталый.

- Залазь, - говорит, - Степа. Твой черед.

Чаплыгин от досады стал зеленым. Нечем ему. Хоть плачь! В казармах, по утрам, что петух топорщился, хоть гирию вешай. А теперь ни в какую - висит, да и только. Маленький такой, скромненький, мягкий.

Фролов штаны одел, гимнастерку. Оправился. Лицо довольное, мокрое.

- Я, Степа, выйду, покурю. И мешать тебе не буду, коль стесняешься. Я сам такой. Гондон тебе - на столе лежит.

Вышел за дверь. Чаплыгин совсем снял штаны. Злоба его душит. И деньги пропадают...

Подошел к кровати.

- Бери в рот!

Со зла совал: денег было жалко.

- Нет!

- Бери, говорю!

- Не возьму. Разврат это.

- Говорю тебе, ссука! - шепотом предлагал, чтоб сержант не услышал. Узнает - в казармах засмеют. А она нарочно громко:

- Ни за что не возьму!

Чаплыгин матернулся, зубами скрипнул. Отошел от кровати; штаны надел. На фронт скоро идти, на передовые. Убьют - и нет тебя! А она ворчит:

- Развратник! Не может нормально, так гадостями!

Чаплыгин ремень затянул, оправил гимнастерку. Подошел опять к кровати.

- Рассчитаемся... - Да ка-ак вдарит ей между ног! Дверью хлопнул, вышел в коридор. Сказал сердито:

- Пошли, Фролов! Увольнение кончается. Девять часов уже. Вышли на улицу. Сержант - довольный, красный.

- Хорош вечерок, - говорит, - пивка бы сейчас выпить, а?

Чаплыгин шел мрачный. Шел и думал:

"А двадцать пять рублей долгу все равно не отдам. Факт!"

## ЧЕТЫРЕ САМЦА

Хотелось жрать. Очень хотелось. Желудки лежали внутри ворчливые. И даже вслух хотелось крикнуть:

- Ийй!

Я сказал приятелю:

- Идем в столовую?

- Идет. Идем!

Номер семь, по дороге. Торопливо разделись, сдали пальто. Надпись "отличное обслуживание". Чистота. Столы. Все в порядке.

- Не занято?

- Нет.

Подсели к военному. Лейтенант на погонах. Лет тридцати. Скучный. Черт с ним! Ждем, неторопливо жуя разговор. О бритвах. Проглядели меню, выбрали. Ждем. На столе белая скатерть. На скатерти - ножи. Блестят, как правда. Острые.

- У вас свободно?

- Да.

Подсел четвертый. Теперь за столиком полный комплект. Четвертый - нерешительный, серый. Кусок дерьма. Впрочем, плевать. Пускай сидит. Лишь бы не пахнул. Служащий... Смотри, смотри меню, серенький, смотри меню, смотри, смотри...

Жрать охота. Четыре самца. Ждем. Ждем. Пробуем подать голос:

- Девушка, примите заказ!

Не слушает, мелькает мимо. Теперь сидим молча. И молча ждем. Ожидание сблизило. Ерзает военный.

Потихоньку начинаем ворчать:

- Что так долго?

- Форменное безобразие.

- Когда же она подойдет?

А другие - жрут. Другие - с супом. Или кто с чем. А мы - жди. Уморит голодом, сука. Другие - чавкают. Довольные, еще бы! А она - сволочь. Сиди вот и жди. Жирная тварь, когда же она? Другие - сыты. Уходят, насытившись. Почему они, не мы?.. Все из-за нее...

- Девушка!

Не слушает. Сиди уж, серый, не влипай. Сами разберемся.

- Девушка,эй!

Прошла мимо, хоть бы хны.В чем дело? Ну погоди.На столе лежат вилки, ножи. Блестящие... Нож режет остро. Ждем. Ждем.

Даже серый сосед оживился, понял, в чем дело. Сидим всё, ждем.

- Сколько же можно мариновать?

- Хамство!

Ворчливо переговариваемся. Снова прошла мимо.

- Послушайте, девушка!

Какая она к черту девушка! Снова мимо толстый зад. Жрать, жрать, уже не есть, а жрать! А она - снова мимо,с нахальным задом, с лицом свиньи.

- Чтоб тебя!

Ругательства серого не помогают. И нам от них не легче.

- Послушайте, сколько же можно!

Снова мимо. Проклятый зад! Военный не выдержал первым.Вскочил, вилку - в руку.

- А! Получай! - С размаха воткнул в задницу. - Чтоб тебя, толстую!

Брызнула кровь. Мы вскочили. За вилки, ножи! Схватили в обе руки и - к ней! Давно хотели, да боялись начать. Спасибо военному: теперь-то ведь можно, раз начато...

- Режь!

- Режь!

- Режь!

- Йэхх!

В крови. Серый кричит:

- Погодите всю резать! Баба ведь, в теле.Используем как бабу...

Не слушаем серого. Локтем в морду - не мешай, дурак.Должен сам понимать - не то дело делаем... А ее - режь! Режь, ребята! Блестят ножи.

- Чик-чик!

Вместо мяса.

- Чик-чик!

- Чик!

- Чик!

Хороший кусочек. На вилочке, красный.Стерва! Жирная тварь!

- Довела, довела!

- Получай!

- Заработала!

- Чик!

Здорово режется - как масло.

- Чик!

- Чик!

- Чик!

Весело!

- Чик-чик!

Голод - не тетка.

- Чик-чик!

Голода нет. Забыли про голод. Увлечлись.

- Режь!

- У, прок-клятое ммясо!

Вилочку в бок. Полчаса ожидали!

- А?

- Чик!

Визжишь? Ну, еще бы! А как же мы терпели? Не вынуждай, не вынуждай... Поделом тебе, ссука!

- Чик-чик!

- Толкай!

Упала. Не зевай, ребята, топчи ее, топчи!

- Эхх, ммясо!

- Эхх!

- Эхххх!

Серый - тоже. Утерся, топчет. Пляшем вчетвером на ней,ней. Весело! Довольны. А стерва - молчит.

- Туп-туп!

Пляшем долго.

- Туп-туп!

Пляшем вчетвером... Устали. Перевели дух.

- Ух, жарко стало!

- Умаяла, дрянь...

- Ничего, теперь молчит.

- У вас кровь на щеке, забрызгались. Сотрите. - Я протянул платок военному. Он вежливо ответил:

- Благодарю вас, молодой человек!

## ЖИВЫЕ БУТЫЛКИ

Как-то утром, бреясь перед зеркалом, я был удивлен. Зубы! Они торчали далеко вперед, безобразно и нагло. Я осторожно дотронулся до них: зубы были мягкими и влажными. Сантиметров на пять, точно клыки.

Будильник по-прежнему стоял на столе. Стояло зеркало. Все было на месте, все было естественно, все - как надо. Только зубы по-прежнему торчали изо рта - мои верхние зубы! Я напрасно пытался убедить себя, что сплю. Увы, я не спал. На часах было четверть восьмого. Сосед Рублев делал утреннюю гимнастику, приседал (за стенкою), правильно дышал. Все было правильным, настоящим, нормальным. Я вновь посмотрел в зеркало. Зубы матово блестя. Потрогал - они, кажется, стали отвердевать.

- А, черт!

Я схватил ножницы и стал резать их, пока еще мягкие. Ножницы с трудом продвигались вперед, увязая в сырых зубах. С тихим стуком зубы падали на стол. Пятой... шестой... седьмой... восьмой!

Я отправился на службу вовремя, несмотря на легкое подташнивание.

...Боль пришла не сразу. Я почувствовал ее только в одиннадцать часов. К полудню я уже не мог работать, бессмысленно уставившись в окно. Там был магазин. Вывеска молчала: *мясо*.

Мясо! Мясо. Свежее, оно прекрасно смогло бы унять мою боль, это мясо. Мясо.

Перерыв на обед начинался у нас в половине первого. Я не выбирал, ткнул пальцем наугад:

- Свесьте полкилограмма этого!

И, не выдержав, прямо в магазине, отойдя в угол, развернул бумагу и впился в мясо, зажмурив глаза! Боль убежала. Казалось, она уходила из головы в мясо, с кончиков зубов. Открыв глаза, я встретился с недоуменными взглядами покупателей. Я пробормотал:

- Доктора прописали. - И отправился прямо домой, даже не отпросившись на службе. К мясу я прикладывался два раза по пути, в подъездах (к счастью, дом был недалеко от службы).

Будильник по-прежнему шел как надо. Тринадцать часов пять минут, как ни в чем не бывало. Боль утихла. Я почувствовал смертельную усталость и лег спать не раздеваясь. Я отлично помню, что положил мясо на стол. Проснулся я от боли. Жена уже пришла со своей службы.

- Ты спал? - сказала она.

Я не спал. Боль нарастала. Я вспомнил о мясе.

- Где мое мясо?

- Какое мясо?

Его не было на столе!

- Жена, - глухо сказал я, - дай мне мяса!

- Какое мясо? - Она испуганно попятилась к двери. - Какое мясо?

- Мясо!

Я уже не мог сдерживаться. Мяса! Схватив жену за руку, я притянул ее к себе и впился в плечо проклятыми, жаждущими крови зубами!

...Не знаю, отчего она умерла - от испуга или от боли. Я подумал: "Итак, убийство".

Странное дело: оно меня ничуть не волновало. Боль прошла. Живое мясо отлично утолило ее, гораздо лучше купленного. Поспав еще часок, я вышел на улицу.

Через два дома меня окликнули. Это был сослуживец Блинов (сегодня его не было на работе, подумал я и поздоровался). Лицо Блинова сияло.

- Слушай, Сашка! У меня сын, сын родился! (Сияние было ослепительным; я едва не зажмурился). Сын! Четыре килограмма! Выпьем на радостях, а? Пошли!

Я подумал о мясе. Зубы опять начинали болеть, боль подкапывалась потихоньку и сосредотачивалась на кончиках зубов.

Я сказал:

- О чем речь! Пошли ко мне, это ближе.

Мы купили портвейн: три бутылки. Блинов сел в кресло, по-прежнему сияющий. Он так и не успел договорить, сколько килограмм весил прошлогодний сын Герасимова: я ударил его бутылкой по голове.

Главное, не торопиться. Я знал, что жена Блинова лежит в больнице, а соседей у него нет. Оглушенный Блинов лежал на по-

лу - я заботливо связал его; заодно и заткнул рот. Мясо! Я рванул рубаху на плече Блинова и впился в него, причмокивая, жадно, истово, словно из живой бутылки высасывая кровь.

Блинов умер только на следующий день, под вечер. Он долго плакал, а когда боль в зубах становилась сильной, я прикладывался к нему, к живой бутылке.

Живые бутылки! Люди! Они ходят, налитые кровью, а это так нужно моим зубам!

## КРАСНЫЙ ПЛАСТИЛИН

Свет был серым: он всегда был таким, серым. Горский знал, что так и будет. Когда-то раньше это было плохо. Теперь, привыкнув к мастерской, он даже радовался. В сущности, не так уж и плохо (скорее, даже хорошо), что свет был серым.

Опустив шторы, Горский убедился, что стало совсем темно. Он хотел было начать сразу же. Но вспомнив, щелкнул выключателем. Обрадованно брызнул свет.

Горский проверил засов на двери. Все было в порядке: никто не мешал, не заглядывал в окна, никто не мог войти. Только тогда Горский решился взглянуть на нее...

Она лежала спокойно, чуть-чуть улыбаясь. Горский прежде всего замечал ее улыбку. Подойдя, он осторожно дотронулся до ее бедра. Пластилин был холоден. Холоден, как вчера, холоден, как неделю назад, холоден уже два месяца, холоден, как всегда. Горский подумал: "Красный пластилин".

Над скульптурой он работал два месяца. Разочарование в первой жене, безразличие ко второй, сорок семь лет хронический грипп - все забывалось, становилось лишним. Возникало другое, детское, радостное, слегка тоскливое. О чем забывают потом, то, что лишь иногда снится, то, что называют чистым и святым, не стесняясь затасканных слов. В гордой шее, в плечах, подбородке, стройных ногах была мечта, оплеванная бытом; реальная лишь здесь, в мастерской, залитой электричеством, где он был один, наедине с самим собой. Наедине с нею.

Каждый изгиб был совершенен. Каждая часть тела была шедевром. Нет, не его шедевром, не скульптурой. Она была живой. Она была сама собою: она была Она.

Ласково и осторожно Горский погладил ее щеку... Пластилин грубо развеял иллюзию. Он был холоден, мертв, циничен. Он был глупою глиной, этот красный пластилин.

И все же Горский продолжал гладить щеку, гладить долго и упорно, до тех пор, пока не исчезло неприятное ощущение чуждости, холодного, мертвого куска пластилина. Она снова становилась сама собою. Она была девственной. Она была Она!

Второй рукой Горский принялся гладить шею. Нужно было работать над статуей, он это знал. "Работаю. - Мысли немного путались, но были деловиты. - Я и работаю. Глянцую".



Красный пластилин потихоньку оживал: то ли от поглаживания жарких рук скульптора, то ли оттого, что в мастерской было много электрических ламп... Желание пришло, когда рука, гладившая шею, перешла на грудь. *Ее* грудь.

Чтобы не смотреть на глядящую руку, Горский закрыл глаза. Мешал свет, яркий, подлый. Но оторваться он уже не мог. Рука дрожала. Она привыкла к холоду пластилина, холод исчез. От ее груди начинало идти тепло: сначала тихое, потом - разгораясь - сильнее и сильнее.

Горский дрожал всем телом. Казалось, что дрожь эта - отзвук *ее* дрожи, что она оживает. Она хочет его! Одним прыжком Горский достиг выключателя. Гнусный свет исчез. Они остались вдвоем, в темноте, казавшейся душной.

Красный пластилин исчез. Он умер. Она была живой. Она ждала. Мастерская была изучена до каждого сантиметра. Горский подошел к статуе, нагнувшись, поцеловал ее в губы жадно, в засос... Пластилин был холоден. Груб. Противен. Потом, все так же медленно, стал оттаивать и оживать...

Горский торопливо выхватил карандаш из кармана. Дрожащими руками стал проделывать отверстие: сначала сунул его внутрь, затем, раскачивая, расширил отверстие.

Она ждала, она улыбалась. Она была готова. Отшвырнув карандаш, Горский поспешно снял штаны.

Отверстие было узким. Горский раздвинул его пальцами. Скорей! Холодная, спокойная глина - иронический красный пластилин!

Он убивал мечту. Он презирал иллюзии. Горский отчетливо представил самого себя: без штанов, подрагивающего от нетерпения, бесстыдно лежащего на глиняной статуе...

Но это прошло - и очень скоро. Она вновь ожила. Она вновь была Она.

Омерзение началось сразу же после того, как все кончилось. Омерзение росло по мере того, как он зажег свет, как одевал штаны, искал карандаш, испачканный в пластилине, как щеки залива-ла краска, еще более красная, чем пластилин.

Горский не решался смотреть на статую. Найдя в углу мастерской кусок пластилина (остаток материала), подошел к *ней*. Поспешно, с гримасой заклеил отверстие, проделанное карандашом. И, не выдержав, плюнул на пол, вспомнив противный вкус пластилина на губах, когда целовал ее.

Она лежала безучастно. Она никого не ждала. Ей не было стыдно: она была статуя, ей было все равно. Красный пластилин... Горский видел раздвинутые ноги статуи.

"Подлец! - подумал он. - Подлец!". - И нервно закурил. Потом нагнулся и привел ноги в нормальное положение. Как было раньше. И вновь подумал: "Подлец!"

Было ровно четыре часа. Горский накинул на статую грязное покрывало и пошел к умывальнику мыть руки. Сквозь покрывало проглядывали очертания фигуры.

Горский вновь почувствовал, как начинает просыпаться в нем желание. Просыпаться, несмотря на противный вкус пластилина на губах, несмотря на отвращение к мертвой глине.

- Мерзавец! - сказал он громко вслух. Сквозь покрывало отчетливо угадывались груди.

Горский щелкнул выключателем, отдернул шторы. Свет был серым. Он всегда был серым, тусклый свет в мастерской... А выйдя на улицу, Горский увидел, что май в разгаре. Светило солнце, никогда не достигавшее окон его мастерской. По дороге домой Горский старался не думать о статуе. Его ждал обед.

В мастерскую он пришел лишь через три дня.

## ДВОЙНИКИ ЛЫСЫ

Нигагосов стеснялся своей звучной фамилии: он был лыс. И сейчас, возвращаясь со службы, он думал о лифте. Лифта не было. На третьем этаже Нигагосов сказал:

- Черт побери!

Он повторил это на четвертом этаже, а на пятом выругался еще сильнее. На последнем, шестом, у дверей своей квартиры Нигагосов хотел дублировать свое ругательство пятого этажа. Но тут он заметил, что на площадке находится человек. Лица его не было видно: навалясь на перила, человек смотрел вниз.

- Вы к кому? - спросил Нигагосов, - к Маниной? (К Маниной часто ходили мужчины).

Человек оторвался от перил, повернулся... Нигагосов тихо вскрикнул: "Ой". Это был он, он сам, Нигагосов, лысый, точно с таким же лицом, в том же самом костюме.

Первое время Нигагосов не мог прийти в себя от неожиданности. Двойник - всегда провокатор. Такой же, как и "я", но "я" - это я, а он - чужой, другой, хотя и одинаковый.

Двойник повторил задумчиво:

- Вы к кому? К Маниной?

Затем тихо добавил, уже свое:

- Двойники лысы.

Отвернувшись от ошеломленного Нигагосова, он вновь навалился на лестничные перила, сказав еще раз все так же тихо:

- Вы к кому? К Маниной? Двойники лысы.

Нигагосова всегда соблазняли люди у лестничных перил. Как ему хотелось подскокнуть и столкнуть вниз, в лестничный пролет! Он делал это в школе - и его наказывали и били за такие штуки. Но все равно, несмотря на страх, он продолжал сталкивать с лестничных перил своих товарищей по школе.

И только позже, лет с шестнадцати, перестал делать это: стал бояться судов и следствий, четкости строгих тюрем, расстрела.

Двойник в третий раз повторил:

- Вы к кому? К Маниной? Двойники лысы.

Он висел на перилах задумчивый, беззащитный, меланхоличный, как будто специально предназначенный для того, чтоб упасть вниз.

Нигагосов подумал:

- Если столкнуть, а потом сбежать вниз... Затащить в подвал - никто не увидит... А там - ищи-свищи: несчастный случай, свидетелей нет, ку-ку!

Двойник был удивительно лыс, он просто манил, провоцировал своей беззащитностью. Такой случай нельзя было, невозможно было упустить!

Нигагосов подкрался на цыпочках. Но когда до цели оставалось метра два, не выдержал и прыгнул... Двойник стремительно обернулся, схватил Нигагосова.

Они боролись долго и трудно, сопя, одинаковые, лысые. Нигагосов слабел. Двойник был напорист. Изловчась, напрягшись, он оторвал Нигагосова от пола. Нигагосов отчаянно забил ногами в пустоту. Двойник хэкнул и сбросил Нигагосова в лестничный пролет.

Нигагосов летел вниз стремительно и молча, полный ожидания, сосредоточенно, головой вперед... Крацц!

Он не услышал этого: вселенная разлетелась вдребезги.

- Крацц! - азартно крикнул двойник и стремительно сбежал вниз по лестнице. Нигагосов лежал ничком, успокоенный. Лысый череп был в крови. Двойник нагнулся, схватил Нигагосова за плечи и заглянул в лицо.

- Разбито, - удовлетворенно прошептал он. - Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!

Он поплевал Нигагосову в лицо и потащил мертвое тело в подвал: ключи нашлись в кармане брюк Нигагосова.

...Пот со лба двойник вытер, лишь поднявшись на шестой этаж. Потом не торопясь опробовал ключи и, найдя нужный, отпер дверь нигагосовской квартиры.

- Вернулся, Степа! - встретила его приход женщина в синем платье. Двойник молча кивнул.

"Степа, - подумал он, - меня зовут Степа. А это, наверное, моя жена".

- Пойду вымою руки, - сказал он, услышав, что обед уже готов.

Ванную удалось найти быстро. Двойник зажег свет и, наклонясь к зеркалу почти вплотную, высунув язык, произнес: "Х-хэ!" Потом стал мыть руки, думая о том, что замена блестяще удалась, и здесь, в этой квартире, его ждет сытный обед и жена.

"Как ее звать?" - мелькнула тревожная мысль, но быстро погасла; вытирая руки, он решил:

"Узнаю".

## ЧТОБЫ ЧИСТО

Ее звали Поллюция, его - Борис. Познакомились в библиотеке. Борису было двадцать три, а Поллюции - девятнадцать. На лбу у нее виднелись прыщички, мелкие, словно соль, почти совсем незаметные. Мама говорила: "Скоро пройдут", и Поллюция сердилась на маму. Папы не было - убили, погиб в 37 году.

Поллюция готовилась к сессии и брала учебники по славистике, а для отдыха - стихи Пастернака. Борис тоже брал стихи, а также книги по философии. Он был невысокого роста. Поллюция -

высокая и худая, мама говорила - в отца, и Поллюция сердилась на маму.

Борис сказал:

- Вы любите стихи?

- А вы любите?

Борис старался не смотреть на ее прыщички на лбу и ответил:

- У вас Пастернак!

Поллюция улыбнулась. На следующий день они узнали друг друга по имени, а через неделю Борис пригласил ее в кино. Поллюция согласилась. Когда они шли по улице, Поллюция не могла думать о любви. Она не могла о ней думать, когда кто-нибудь был рядом. О любви она могла думать, когда была одна. Борис сказал:

- Половина восьмого.

Он служил во флоте, а сейчас поступал на юридический факультет. Поллюция предложила:

- Пойдемте быстрее.

Борис взял ее под руку. Пошли быстрее. В воскресенье они опять встретились в библиотеке, а потом Поллюция пригласила его к себе домой. Мамы дома не было - мама ушла.

Борис пошел в комнату и долго оглядывал ее. У Поллюции была своя комната, а Борис никогда не имел своей. Поллюция сказала:

- Я поставлю чай. - И ушла на кухню. Борис стал смотреть ее книги: на полках было очень много книг.

Отец Поллюции был писатель, не очень большой, но, как говорили, - умный. Потом пришла мама. Поллюции было неприятно видеть ее. Она сказала:

- Знакомьтесь.

Борис сказал:

- Борис.

У Бориса рука была широкая, с короткими пальцами. Мама сказала "пейте чай" и ушла на кухню. Поллюция и Борис долго говорили. Борис ушел только в двенадцать. Потом они встретились на следующий день. Первый раз Борис поцеловал ее в мае. Он все время старался не смотреть на прыщички. Они причиняли много хлопот. Поллюция полюбила Бориса. Она имела свою комнату, но если выйти замуж, то с матерью из-за комнаты будет скандал. Поллюция подумала: "Придется разменяться". Потом она стала думать о любви. Чувство к Борису крепло с каждым днем. Борис стал засиживаться до часу ночи. В июле он сделал предложение. Поллюция давно ждала, но все равно было приятно и радостно. И в то же время - какая-то грусть, беспричинная, тихая. Поллюция сказала: "Да".

Борис обнял ее и поцеловал. Они пошли бродить по городу и говорить, говорить, говорить. Обо всем: о жизни, о комнате, о Пастернаке и о многом, многом другом. Вечером гуляли по парку. На скамейке было хорошо, темно. Борис сказал: "Тишина" и обнял Поллюцию за талию. Было хорошо. Рука Бориса спустилась ниже. Было тоже хорошо, но не так спокойно. Рука спустилась еще ниже. Поллюция вздрогнула.

- Не надо, Боря.

Борис молчал. Потом они целовались, и Поллюция ласкала его волосы. Потом Борис опять обнял, и снова рука поползла вниз. Поллюция сказала:

- Не надо.

Борис молчал. Рука застыла чуть ниже живота. Поллюция сказала:

- Мою любовь, широкую, как море...

Борис молчал. Было хорошо сидеть так, вместе, вместе и молчать. После была свадьба и шесть человек гостей. Гости ушли в два часа ночи. Раздеваясь, супруги стеснялись друг друга. На Борисе было синее белье, на Поллюции - розовое. Потом погасили свет. Все было чисто, все, что было между ними, - чисто.

## СЛУЖБА

Когда жена сказала: "Не задерживайся, я взяла билеты на шесть вечера", - я ответил: "Хорошо".

На службу я пришел без четырех минут девять. Порфирий со своим помощником приготавливал спецбанки, а Кадатский и Северцев раскладывали бумаги. Они приходили на службу минутами тремя-четырьмя раньше, чем я, не более. Мне же казалось, что нет особой необходимости приходить столь рано.

Ровно в девять Кадатский сказал: "Начали!" - и я подумал, что до обеденного перерыва осталось ровно четыре часа.

Северцев дал сигнал внешней службе. Через минуту (ровно!) перед нами стоял первый опрашиваемый, молодой человек лет двадцати трех - двадцати пяти. Он был заметно растерян и не знал, за что его задержали. Кадатский сказал: "Как фамилия?" И я тут же повторил его вопрос: "Как фамилия?" А затем и Северцев сказал: "Как фамилия?"

Задержанный не отвечал. Он переводил недоуменный взгляд с Порфирия на Кадатского, с Кадатского на Северцева, с Северцева на меня, а затем вновь возвращался к Порфирию. Он явно не понимал, что здесь происходит. Он даже не догадывался, *кто* мы!

- Как фамилия? - спросил Порфирий. Его вопрос был сигналом. Помощник Порфирия (его звали Витя) зашел сзади и свалил задержанного на пол.

- Армянский шов! - крикнул Северцев, и Кадатский как старший подтвердил:

- Армянский шов!

Порфирий и Витя управились очень быстро: уже в четверть десятого задержанный висел в станке БЭЭМВэ.

Армянский шов накладывался через все тело, от плеч до пупка, наискосок.

- Как фамилия? - по очереди спрашивал каждый из нас. - Как фамилия? Как фамилия? - А Порфирий ловко накладывал на живот опрашиваемого (теперь он был не задержанным: он подвергся второй стадии, "опросу") покрытые спецклеем жгуты. Наконец, окончив обкладку, Порфирий сказал:

- Как фамилия? - И в ту же секунду Витя включил ток.

Опрашиваемый молчал совсем недолго. Кадатский деловито включил магнитофон и еще раз сказал:

- Как фамилия?

Сначала были слышны нечленораздельные крики, хотя в них различалось два доминирующих: ааа! и ооо!

Не было особой нужды фиксировать их в протоколе (тем более, все слова опрашиваемого записывались на пленку магнитофона). Но Кадатский и Северцев записали "ааа!" и "оооа!", и я последовал их примеру, чтоб не иметь расхождений в протоколах.

На четвертой минуте раздалось наконец-то членораздельное:  
- Матвеев Петр! - И затем снова: - Ааа! Оооа!

Северцев сказал: "Год рождения и отчество?" - и через полминуты мы услышали ответ, который был тут же зафиксирован. Я сказал (теперь была моя очередь):

- Судим?

- Не судим!

Ответ последовал мгновенно, как будто отсутствие судимости могло что-то значить.

Кадатский сказал:

- Место жительства, адрес? - И после "ааа! оооа!", к которым теперь прибавилось еще и "йййй!" - мы услышали очередной ответ.

- Место работы?

- Стаж работы?

- Служебный адрес?

- Служебный телефон?

Порою крик становился таким сильным, что начинало звенеть в ушах. (Пожалуй, это было единственным неудобством нашей службы). Заполнив часть протокола, отведенную под анкетные данные (после заполнения анкеты опрашиваемый становился обвиняемым), каждый подумал об одном и том же, но вопрос задал Кадатский.

- Признаёте себя виновным?

- В чем? - ответ обвиняемого походил на вопль, который мы также зафиксировали в протоколах. - Я ничего не сделал!

Северцев повторил: "Признаёте себя виновным?"

Обвиняемый продолжал запереться. Теперь была моя очередь спрашивать; я сказал как можно более бесстрастно: "Признаёте себя виновным?" - хотя мне и хотелось поскорее кончить обвинение: от криков, к которым прибавилось еще два четко различимых "ыйа!" и "эйй!", начинала побаливать голова.

- Порфирий, - сказал Кадатский, когда обвиняемый не ответил на мой вопрос, - добавь спецклей.

Крики усилились. Но было ясно: долго они не продлятся. Обвиняемый проклинал, выл, клялся в невинности, восклицал: "За что? За что?"

Конечно, полностью это мог зафиксировать только магнитофон. В протоколах мы делали лишь краткие пометки вроде "угрожает" или "отрицает".

В начале одиннадцатого обвиняемый, слава Богу, стал сдавать. Угрозы сменились мольбой, а без двадцати одиннадцать он наконец признался: "Да. Виноват".

Порфирий выключил ток. Предстояла последняя стадия: ликвидация. Мы торопились с нею, чтобы успеть опросить до обеда хотя бы двух задержанных.

Подписав акт ликвидации, Кадатский дал команду:

- Порфирий, действуйте!

Язык ликвидируемого был помещен в спецбанку за № 078 678. Опечатав ее, мы поставили подписи, точно такие же, как и на протоколе (он тоже прилагался к банке и вместе с нею и магнитофонной записью отправлялся в архив). Затем Матвеев П.С. был отпущен на свободу. Вся операция заняла около полчаса.

- Следующего! - сказал Кадатский, и Северцев нажал на кнопку, давая сигнал внешней службе, караулившей прохожих на улице. Через минуту перед нами стоял человек с залысинами, в очках и удивленно моргал.

- В чем дело?

Кадатский сказал: "Как фамилия?" Северцев тут же повторил его вопрос: "Как фамилия?" Я сказал: "Как фамилия?"... Все началось сначала, хотя было ясно, что до обеденного перерыва нам не успеть даже с опросом, не говоря уже о ликвидации.

Я с тоской посмотрел на часы: тридцать пять двенадцатого! - и подумал о том, что сегодня придется задержаться часов до семи, чтобы выполнить норму. Потом я вспомнил о жене и кинофильме - и уныло вздохнул.

## НАКОНЕЦ НАЧАЛОСЬ!

Началось это в очереди, в хлебном магазине. У кассы стояло человек семь.

Стеганцов протянул рубль:

- Два батона и...

Старушка дернула его за рукав и крикнула:

- Ты что без очереди?

- Не хватайся за меня!

Старушка обомлела. Стеганцов был в шляпе, в ярком пиджаке, с бородкою. Старушка взвизгнула:

- С пе-е-ерстнем!

И тут же вцепилась Стеганцову в глаза. Вся очередь будто того и ждала. На Стеганцова накинулись, повалили на пол. Каждый хотел сам, своими руками. Ногами тоже били.

Продавец Клубков засмотрелся, отвешивая сушки. Покупательница недовольно буркнула:

- Скоро вы там?

Клубков посмотрел, посмотрел на нее... Схватил хлебный нож и одним махом перескочил через прилавок:

- А ножичка не хочешь?

Он вошел, как в масло, в покупательницу. Потом Клубков подошел к толпе, что пинала и рвала Стеганцова. В магазин входили новые покупатели и тоже присоединялись - бить. Били друг друга. Клубков охотно пустил в ход свой хлебный нож.

В магазин, привлеченный шумом, заглянул постовой. Еще не все участвовали, боялись. Но постовому сразу стало ясно:

- *Началось!*

"А, сволочи! - крикнул он. - Что стоите?" - И стал стрелять по тем, кто наблюдал за дракой. Когда патроны кончились (а они кончились быстро), постового били досками прилавка. В свалке Клубкову прокусили палец. Продавцу удалось выбраться на улицу. Там было спокойно.

Клубков подбежал к первому встречному (палец болел) и стал совать свой нож в чужую спину. Вслед за продавцом из магазина выкатилась дерущаяся толпа. На улице тоже стало ясно:

- Наконец! *Началось!*

Крики и шум были услышаны в парикмахерской в три часа двадцать пять минут.

- В чем там дело? - спросила Сердобольская, но к окну не пошла: у нее в кресле сидел клиент. - Почему так шумят?

В чем дело, первым понял Климов. Он спокойно чиркнул бритвой по горлу седому полковнику, а затем, подойдя к креслу Сердобольской, зарезал и ее клиента, толстого мужчину в роговых очках.

- Вот вы и свободны, Лидия Ивановна, - сказал он, заботливо вытирая бритву. - Подойдите к окну, посмотрите, - *наконец, началось!*

- Сорок пятый!.. сорок шестой!.. - и, помедлив немного, Кольцов добавил:

- Сорок седьмой!

Поняв, что наконец-то началось, он вышел на балкон со своей охотничьей винтовкой. Первый десяток было очень легко убить: на улице началась свалка. Вторым потребовалось несколько минут, третий - целого часа. Улица опустела, и четвертый десяток удалось настрелять уже за два часа. Что касается неполного пятого, то Кольцов стрелял его уже не на улице, а целясь в окна соседних квартир.

- Сорок восьмой! Сорок девятый!

Это было на третьем этаже, как раз напротив. Бухгалтер Ромм и его брат (дрались). На очереди был юбилейный пятидесятый. Кольцов приглядывался к окнам и совсем забыл о своей жене - до тех пор, пока не почувствовал, что винтовка вылетела из его рук, а вслед за ней летит и сам он вниз головой на мостовую.

Столкнув мужа, Софья Кольцова вернулась в комнату. Непослушная дочь была давно мертва. Кольцова вылила керосин из примуса на пол, подожгла его и прилегла на диван, отдохнуть, хотя на улице было отнюдь не тихо.

- Левую, - сказал Пудов.

- Правую, - сказал Блинов.

- На левой две ракеты.

- Правую, - сказал Блинов, - только правую.

Пудов сунул руку в карман, но было уже поздно. Блинов спустил курок. Когда соперник упал, Блинов подошел к пульту.

- Только правая, - подумал он, нажимая на кнопку справа, - только правая. Пра-ва-я!

Кнопка сухо щелкнула. Где-то неподалеку взмыла вверх транс-континентальная ракета.



- Лети, лети, - подумал Блинов. - Лети куда следует. Так их!

Ему нравился рев, сотрясающий землю при взлете ракеты. Но еще больше ему нравился щелчок кнопки, короткий, сухой.

- Пра-ва-я...

Александр Кондратов живет в Ленинграде. Пишет стихи и прозу, известные всему литературному Питеру еще с 50-х годов (пожалуй, самое большое хождение в Самиздате имеет повесть "Здравствуй, ад!"). Кондратов - личность, почти легендарная. Курсант милицейской школы, затем выпускник физкультурного института, он одновременно - рьяный гуманитарий. Написал и опубликовал десятка два научно-популярных книг по истории цивилизации. В группе академика В. В. Кнорозова работал над дешифровкой древних языков. Защитил диссертацию по филологии. Занимался парапсихологией. Иог. Ходили слухи, что выступал в цирке с номером "Утро факира". Стихи печатались в "Эхо" и в антологии "Голубая лагуна" (США). Цикл "Короткое короткие рассказы", написанный не позднее начала 60-х годов, - первая публикация прозы Кондратова. См. также А. Волохонский "О Кондратове", "Эхо" № 4(12), 1980.

**САВЕЛИЙ ГРИНБЕРГ  
МОСКОВСКИЕ ДНЕВНИКОВИНКИ**

**СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ**

**В сборнике стихи и циклы стихотворений из московских тетрадок  
автора периода 40-60-х годов.**

**Издательство «Слав», Иерусалим, 1979**

**ПРОДАЕТСЯ В МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ**

**ЗАКАЗЫ ПО АДРЕСУ:  
Savely Grinberg P. O. B. 7322  
Jerusalem, Israel**

# Григорий Патлас

## **ПРОЗЧЕТЫ**

### **КУБИК**

каждый любит свое тело  
я люблю и тетя любит  
свое тело - поплавок  
мы лелеем, холим, нежим  
наполняем и храним  
напоследок покрывая  
черноземом и доскою  
мы затем о нем тоскуем  
и мечтаем словно в шкаф  
положить в него наш скарб  
четырёхдюймовый кубик  
нашей ветреной души

### **МЯСНОЙ КУБИК**

жизнь уходит по сугробам  
в легких тапочках-вьетнамках  
облысевший одуванчик  
вслед качает головой  
я приду к тебе сегодня  
прихватив табак и спички  
и из кубика мясного  
сваришь ты для нас - бульон

## ЗОЛОТОЙ

чисто выметено небо  
голова в кудрях и планах  
я шагаю между прочим  
между этим тем и тем  
темнота, в карманах дыры  
в подворотне ветер свищет  
я ж ленивою ногою  
подбиваю золотой

*Москва*  
*1978*

## ПРОЗЧЕТЫ

### № 1

по осени все слова облетели  
собрались в стайку  
покурлыкали  
и улетели в жаркие страны  
в жуткие дали  
Сеньки немые в них шапки кидали  
сбили одно неразборчивое:  
не то "лорд", не то "морг"  
а может "щорс"

### № 2

мальчик Вася  
любил дворника дядю Федю за бесстрашие,  
пальчиком веско:  
"когда вырасту большим и усатым  
скольщиком буду, как дядя Федя  
стоять на крыше и скалывать лед  
он будет падать и разбиваться  
а я выше всех  
с кайлом!"

### № 3

мне надоело это тело  
пойду надену тело друга  
войду в подругу, в тело дуба  
с простой подлиственной душой  
буду махать ветками, шелестеть на ветру  
или устроюсь ночным сторожем в баню

с мозолистом "портвейн - 77" на двоих  
электрочайничек, "Маяк", газета "Известия"  
от "и" до "я"  
чем не жизнь, а?

Москва  
1979

Московский поэт Григорий Патлас сейчас живет в Израиле.



## ЭРМИТАЖ

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (143 с., статьи)	7.00
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.)	11.50
АКСЕНОВ, Василий. "Право на остров". (Рассказы, 180 с.)	6.50
АРАНОВИЧ, Феликс. "Надгробие Антокольского". (180 с., 80 илл.)	9.00
АРМАЛИНСКИЙ, Михаил. "После прошлого". (Стихи, 110 с.)	5.50
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.)	7.50
ВАЙЛЬ, Петр. ГЕНИС, Александр. "Современная русская проза". (192 с.)	8.50
ВИНЬКОВЕЦКАЯ, Диана. "Илюшины разговоры". (145 с., 50 илл.)	7.50
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 стр.)	8.00
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.)	7.00
ГУБЕРМАН, Игорь. "Бумеранг". (Стихи. 120 с. Рис. Д. Мирецкого)	6.00
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона". (Повесть, 128 с.)	7.50
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборн. интервью. 15 илл.)	8.00
ЕЛАГИН, Иван. "В зале Вселенной". (Стихи, 212 с.)	7.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.)	10.50
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.)	6.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Метаполитика". (250 с.)	7.00
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика". (340 с.)	8.50
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.)	7.50
КОГАН, Эмиль. "Соляной столп". (Полит. психология Солженицына.)	14.00
КОРОТЮКОВ, Алексей. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.)	8.00
ЛЕЙТМАН, Игорь. "Контурь лучших времен". (128 с.)	7.00
ЛУНГИНА, Татьяна. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 с., 15 илл.)	12.00
МИХЕЕВ, Дмитрий. "Идеалист". (Роман, 224 с.)	8.50
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 60 илл.)	12.00
ОЗЕРНАЯ, Наталия. "Русско-английский разговорник". (170 с.)	9.50
ПАПЕРНО, Дмитрий. "Записки московского пианиста". (208 с., 20 илл.)	8.00
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 с., 20 илл.)	10.00
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Бунт подсолнечника". (Роман, 240 с.)	8.50
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман, 560 с.)	18.00
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и других товарищах". (140 с.)	7.50
СУСЛОВ, Илья. "Выход к морю". (Рассказы, 230 с.)	8.50
УЛЬЯНОВ, Николай. "Скрипты". (Статьи, 230 с.)	8.00
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 с.)	7.00
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.)	9.00

Заказы отправлять по адресу:

HERMITAGE, 2269 Shadowood Dr., Ann Arbor, MI 48104

К сумме чека добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от числа заказываемых книг). При покупке трех и более книг — скидка 20%.

Валерий Левятов  
**ЖИТЕЛИ**

Посвящается Владимиру Тарасенко

1

- Игорь Иванович, а Игорь Иванович! Газетку бы мне получить. Последний номер!
- Газетку? А это самое... А это кто говорит?
- А это я!
- Кто это - вы?
- Дмитрий Алексеич!
- Какой Дмитрий Алексеич?... Печкин, что ли?
- Да, да, Игорь Иванович! Он самый, Игорь Иванович! Печкин, Игорь Иванович!
- Ну так бы сразу и сказали! Здравствуйте.
- Здравствуйте, Игорь Иванович. Как здоровь... ваша? Сейчас грипп...
- Так что вы хотели?
- Газетку мне почему-то не прислали. Последний номер.
- А. Одну минутку. Тань, найди список... Подписчиков, какой!.. Печкин там есть? Нету? Посмотри получше... Алло, вы слушаете? А вы знаете, товарищ Печкин, вас нет в списке. Забыли вы подписаться на нашу газетку, нехорошо это, Дмитрий Евсеич... Виноват, Дмитрий Алексеич.
- Да Игорь же Иванович! Вы меня, наверно, не так поняли! Печкин я, Дмитрий Алексеич, рабкор из транспортного.
- Да помню я вас отлично, рабкор из транспортного! Только не буду я больше печатать вашу похабель! И вообще! Ушли на пенсию, так какого еще черта?
- А Петр Михайлович говорил, что у меня хорошо получается.
- Ну, Петр Михайлович, я же не Петр Михайлович... Если каждому так присылать газету бесплатно, за то, что когда-то пять безграмотных строк нацарапал, так это, знаете что...

Рука у Митьки стала слабой. Трубка бы и упала, если б не другая рука. Митька заклокотал от гнева и от жалости к себе. Но жалости было больше. Он и сказал жалобно:

- Но как же? Игорь Иванович! Я не понимаю вас.

Только он не сказал. Голос у него пропал. Он губами прошевелил, а ничего громко не сказал. Тот, молодой, на другом конце провода ничего и не услышал. А Митька понял - у них там веселились, значит, в редакции. Потому что такой же молодой, как у Игоря Ивановича, уверенный в себе, истеричный голос орал с магнитофона непонятные слова:

Пару-у-с! Порвали паррр-у-с!

Каюсь, каюсь, каюсь.

Потом послышалась самодеятельность:

- Резинка лопнула, - выводил нежный девический (наверно, Олечкин) голосок.

- Резинка лопнула, - повторил он, потупляя глаза...

- Резинка лопнула, - в третий раз воззвал тот же одинокий девичий голосок, хоть и по-прежнему потупляя глаза, но уже и с легкой укоризной - ну чего ж вы, дескать, ребята? ведь резинка же лопнула!

И тут три молодых дубка сорвались с места, а впереди на лихом коне - Игорь Иванович.

Резинка лопнула, и трусики спустились,

Зубами жадными бюстгальтер я сорвал...

И уже в нескладуху:

...В твоих глазах метался пьяный ветер,

И папиросочка дымилась в зубах!

Митька покраснел и отстранил трубку от уха.

А Игорь Иванович сказал не в трубку, но Митьке было слышно:

- Эй,эй! Все-то не пейте, я щас!.. Да Печкин...

А потом сказал в трубку:

- Ну ладно, Дмитрий Алексеич, приятных сновидений. Вы нас не забывайте. Звоните, пишите, работайте над собой... А рыбий жир я вам советую пить - очень хорошее средство. Я вас приветствую, Дмитрий Алексеич.

И повесил трубку.

Печкин вышел из промерзшего автомата на промерзшую улицу и пошел домой, не чувствуя. Голова у него замерзла, и нельзя было думать.

У ворот его дома стояло человек десять пьяных и злых сопляков. Сопляки привычно и монотонно переругивались между собой, а один из них, с красным, бабьим лицом, заорал на Митьку:

- Чан Кай-ши идет! Чан Кай-ши! Чан Кай-ши, хочешь выпить на брудершафт?

И покрутил перед Митькиным лицом пустой бутылкой из-под вина.

А другой сказал:

- Это не Чан Кай-ши, это шотландский терьер.

А с бабьим лицом:

- Пей, Чан Кай-ши, пей! - И вылил красненькую струйку Митьке за шиворот.

- Терьер, фасть его! Фасть! - сказал, который принял его за собаку.

Митька взвизгнул, истерично дернул руками, как будто по ним прошел электрический ток, и в то же время помня, что ему будет плохо, если он случайно причинит им боль, и побежал в парадную, ладонями прикрывая зад.

Это все его несколько разморозило, и когда он поднимался по лестнице, душа вздрогнула, стариковское зрение стало ясным и отчетливым, и он ясно и отчетливо понял, что ему пора умирать....

.....  
*Алик знает. Он будет бежать. Сначала быстро, потом медленнее, медленнее, медленнее, а ребята будут свистеть, будут улюлюкать, будут топотать все громче, все громче, все оглушительнее: Ааа, Ааа, Ааа!*

*Потом он подбежит. Не подбежит, а почти подойдет - к веревке, через которую учитель физкультуры, Бронислав Карпович, заставляет их прыгать, и остановится. И все. Дальше ничего не сможет с собой поделаться. Как будто ноги стали толстыми, как деревья, и пустили корни. И они проросли, проросли пол, проросли потолок, еще пол, еще потолок, цемент, влезли в землю, и теперь с ними ничего не сделаешь. Алик стоит перед веревкой и пошевелиться не может ни туда ни сюда, а девчонки смеются, смеются до слез, смеются так оглушительно, будто Алик споткнулся и разбил себе нос, а Бронислав Карпович брезгливо смотрит на него, а смех и крики хлещут его по лицу, и он защититься от них не может, как конь вздрагивает.*

*Он это все заранее ночью видит во сне, накануне урока физкультуры.*

*Он бежит, он беспокоится, он готовится к страшному, что сейчас в нем произойдет, он заранее знает, ждет.*

*Это случится за метр до веревки... Вот. Случилось. Где-то в области живота разлилось воспоминание (не воспоминание), картина (не картина), что-то. Он останавливается. Он больше ничего не может. Все.*

## 2

- Пацаны, пошли Плешку бить!
- Пошли!
- Пошли!
- А пошли!! - сказал самый маленький во дворе, Ванька.
- А давай ему в рот карбиду затолкаем?
- Околеет.
- А что сделаем?..

Митька сидел на лавочке и чертил палочкой по снегу. Митьке было десять лет. Он окоченел. У него и так были одни кости, и холод полз по ним, как по проводам. Митька был высокий, сутулый, уже плешивый мальчик. Он знал, зачем они идут к нему, и закоченел, но дома была серая, пустая, неметеная комната, а из-за дивана воняло супом. Митьке никогда не хотелось есть, он ел, потому что боялся матери. Мать оставляла ему завернутые в одеяло щи. Митька выпивал жижу, а остальное - за диван.

Мать его за это уже лупила сколько раз. Но Митька боялся вылить в уборную, потому что надо было проходить мимо соседей, и выливал за диван.

Митька был, как взрослый.

- Тебя, Мить, папа с мамой купили подешевке, - смеялась злая соседка, у которой свекровь десять лет валялась в параличе.

- Меня не купили, я родился. - Митька, когда отвечал, смотрел в пол.

Он это знал давно, что дети рождаются, что Бога нет, а земля кружится вокруг солнца. Митька знал то, что взрослые культурные люди называли правдой. Митька никогда не смеялся.

Он и сейчас знал: они подойдут и что-нибудь над ним сделают. Но дома была с е р а я, п у с т а я, н е м е т е н а я комната. А из-за дивана воняло супом...

Ребята подошли. Они остановились. Колька Самурай придвинулся к Митьке вплотную. Самый сильный. Самураю было тринадцать лет. У него был ремень с широкой бляхой. Этой бляхой Самурай бил Митьку по голове. У Митьки язык становился толстым и неуклюжим, и его начинало трясти, когда он видел эту бляху. Но не мог оторвать от нее глаз.

- Эй, Плешка! - сказал Колька Самурай. - Есть Бог или нету?  
- Нету.

Митька глядел в снег и хотел спрятать голову в пальто, но сказал твердо.

- Пацаны! Сажай его в корзину. Они, евреи, Христа распяли. - Митьку дразнили евреем, он и сам не знал, за что.

Его запихали и привязали сверху другую корзину. Митька стал взаперти. Они пинали корзину ногами. Сначала казалось тесно и унижительно, а потом ничего, даже можно было уснуть...

- А давай с горы!

- А дава-а-й! Ух здорово! - заорал Ванька, самый маленький, и всем понравилось.

Митька покатился. Он кричал так, что слушать было страшно. Сердце колотилось еще быстрее Митьки и мечтало остановиться. Митька как летел. Потом тише, тише, тише - все. Остановился. И стало совсем жутко в узкой темноте. До этого тоже было жутко - он куда-то летел и не видел. Теперь он испугался, что задохнется. Страх, он ведь до бешенства может довести. Вдруг все, что в Митьке было, стало одно. Энергии стало столько, что еще немного - его бы разорвало. С ним бы сейчас трое взрослых мужиков не справились. Он колотил быстро, очень быстро, не то слово, как быстро, руками и ногами, ногами и руками...

Вторая корзина отлетела от первой, а Митьку еще колотило, Митька еще кричал.

Когда из него все вышло, он вылез из корзины, его вырвало, и он пошел домой. Ребята стояли на горке, как грибы, и молчали и не могли шевельнуться, а Ванька, самый маленький, вдруг вскрикнул: "О-о-ой!" - и заплакал в крик.

Дома Митька залез под стол, и из глаз выкатилось несколько слезинок...

.....

*Я сидел на горшке и сосал палец. Я еще был маленький, я ничего не помню, а это помню. Мама не верит.*

*Перед этим я спал, а когда проснулся, мама посадила меня на горшок. Папа курил на балконе. Мама стала меня целовать и сказала:*



- Алик, а что, если папа с нами не будет, как ты на это смотришь? - И глазами мокрыми на меня глядела.

- А ты?

- А я буду.

- А я?

- И ты, конечно.

- А братик?

- И братик.

- А папа?

- А папа с нами не будет.

- А ты?..

Я думал, что это мама так со мной играет. Потому что это же не может быть, чтоб папы с нами не было. Это шутка такая. Я засосал палец. Какая смешная шутка! Обычно шутит со мной папа, а тут и мама стала.

- Чего тебе не хватало, ты что, голодный ходил? - закричала мама, когда папа вошел с балкона.

Как она шутит! Так разве шутят? Какая странная шутка! А папа ничего не сказал, только руку пустил и кулаком маме в нос, так смешно, и у мамы кровь потекла по лицу и на пол закапала, и мама закричала, и я закричал.

А папа молчал, папа бил в лицо, а ногой в живот, а в животе у мамы маленький брат сидел, может он ему ногой в лицо попал, потому что после этого брат умер.

Я кричал, у меня так могло все оторваться. Мне хотелось в горшок залезть и крышкой закрыться, и уши заткнуть. Папа маму бил, и кровь из мамы текла, и мама кричала. Мой папа бил мою маму, и я замерз.

И мама сказала:

- Убирайся отсюда, фашист!

И я сказал:

- Убирайся отсюда, фашист!

И папа перестал маму бить, собрал вещи в красную авоську и очень громко хлопнул дверью. Мама нагнулась ко мне целоваться, а я так закричал, что снизу прибежали. У них там бабушка, дедушка, мама и папа, у Леночки. И они посмотрели на маму и попросили меня потише кричать, потому что Леночка стит...

### 3

... Он тогда учился в фабрично-заводской школе. Ему было двадцать лет. Толстые, расфуфыренные девки с ярконакрашенными губами ходили в школу посидеть. Ребята перед ними петушились, ребята хвастались силой. Друг с другом было опасно - кто послабее, мог пырнуть ножом, но зато был Митька. Ребята девок смешили.

- Мужики! - сказал на перемене модный Сашка, похожий на поэта Блока. - Давай со Шкелета портки сыем и к столу привяжем голой жопой. Девки войдут - ... Гы-ы!

- Давай!

- Давай!!

- А давай!!!

Митьку потому звали Шкелетом, что учитель рассказывал им про вымерших животных:

- Скелет - это для науки большое дело, товарищи. Кости сохраняются очень долго, и по вашим костям ученые узнают когда-нибудь, что были такие Иванов, Петров, Максимов... А вот Печкину, - он подошел и ткнул пальцем в Митькин лоб, - здорово повезло: он сохранится в таком виде, как сейчас. Перед нами - редкий экземпляр живого скелета, по латыни "отемпрос омрос".

Все загоготали. Учитель крутил толстые украинские усы и смотрел на красивых девок. Катя, у которой было недержание смеха, боялась задохнуться:

- Пиджак... брюки... на костях... а-а-а-а-ха-ха... Святой... гнить не будет... ах-а-а-а-а-ха...

...За руки и за ноги. Он неуверенно, нехотя подергался и перестал. В нем что-то сломали. Давно. Наверное, когда в первый раз Самурай ударил его бляхой по голове.

Ребята сняли с него штаны и привязали его к стулу. Девки открывали дверь, фыркали, смущались, хихикали, выбегали. Смущались они не сразу, а осмотрев Митьку всего. А тогда краснели: "Фу, бабловники!", хихикали и выбегали. Шептались за дверью и вталкивали новых девок, которые еще не подозревали.

Они никто Митьку не жалели. Им это было хорошо, что они видели. От этого дух захватывало. Это было на любителя, как сыр с душком. Любителями оказались все.

Звонок прозвенел. Молодая учительница в плиссированной юбке вошла. Ребята сидели на партах, девки стояли у дверей.

- Звонок уже был, - на ходу бросила учительница и прошла в класс.

И шарахнулась из класса, а лицо покрылось красными пятнами.

Ей тоже было Митьку не жалко. Просто она была девушка. И она воспитывалась в культурной семье. У них дома даже "черт" и "сволочь" считались нехорошими словами. И было омерзительно видеть у себя на столе голое мужское тело. Но, может, если б это был не Митька, было бы просто стыдно, но не противно. И потом она понимала, что после такого порядочные, интеллигентные девушки уходят. А куда?

Директор долго кричал. Митька лежал и слушал. Потом директор велел Митьку отвязать. Митька встал и стал искать свои вещи. Директор сунулся в ящик учительского стола и там нашел. У него был талант на находки. Он швырнул их Митьке, и тот стал наплевывать кальсоны и все остальное. Директор и на него закричал. Митька был очень спокоен и сосредоточен. Все молчали.

Учительницы не было три дня. На четвертый день она пришла с красными пятнами на лице в широком, прячущем все женское платье, но все равно чувствовала себя голой. На пятый день пятен не было. Потом вообще ничего не было, и она вызывала Митьку к доске и ставила тройки и двойки, как будто и не было того.

.....  
*И опять натянутая веревка, опять через нее надо прыгать, прыгать, прыгать. Алик разбегается и бежит. Все медленнее. А ребята и девчонки улюлюкают все громче, все пронзительней, все страшней. И опять Алик почти подходит к веревке и останавливается.*

Корни глубоко там, в земле. Ребята не знают, как бывает. Не так сильно знают. Им хорошо, они могут через что угодно прыгнуть ни-почем. Алик знает, Алик не может. Вот веревка, через которую они прыгают, веревка тихая, а может, когда к ней подбежишь, по телу захлестать, по голому. Это не папины кулаки по маме стучат. Это веревка по Алику хлещет. А Бронислав Карпыч брезгливо посмотрит на него и скажет:

- Эх ты - слякоть!

А Алик врастет в землю, и где-то внутри затощит от картины, которую он не видит. Картину видит солнечное сплетение. Мякнут ноги. Картина сильна, Алику ее не победить.

#### 4

В Бога Митька не верил и к тридцати годам. Он не так - равнодушно, от лени - не верил, как все. Он не верил со злостью. Когда Митька мечтал, как бы он бил Кольку Самурая бляхой по голове, он кончал Николай-Угодником. Бил его в "рыло" и свистел:

"Терпеть, значит? Ну, терпи, терпи. Я те потерплю по харе! Тьфу. Утерся? Любить, говоришь? А я тебя за нос? Полюби меня..."

Митька спокойно все вытерпел, что голый лежал, а домой пришел и набросился на мать.

- Вот он, твой боженька, - выдавливал он из себя слова, как пластилин, смотрел на ненавистный ему солнечный нимб и оглядывался на заплаканную мать, - вот он, твой гад! Его я больше всех ненавижу. Смотри-ка - я вот плюю в него, а? Что ж он меня не наказывает? И не надо мне его рая.

И хотел действительно плюнуть, фантазия у него была небогатая, но слюны не было. И все смотрел, перекорежась, на осатаневшую от ужаса мать, которая ждала, как упадет ее уродик, ее Митенька.

Но Митька не падал, и она успокаивалась шепча:

"Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, не вмени ему в грех, не ведает, дурак, что творит. Обида его великая ослепила".

Митька и в Бога не верил от обиды. Он не верил, а все претензии предъявлял Ему.....

*Это уже потом случилось. Я был больше и все помню. Мама заболела, приехала "Скорая помощь", маму в нее отнесли и увезли в больницу. И остались мы с папой одни. Все бы ничего. Мама просила, чтоб я хорошо себя вел, и я старался, но ведь папа тоже хорошо себя вести обещал, а стал каждый день приходить пьяный с дядей Сашей.*

*Дядя Саша молодой, но в тюрьме сидел, а теперь вернулся. Дядя Саша - тети Нинин сын. Он хоть меня конфетами угощал, но я его все время боялся. Мне казалось, что если он проголодается, то может меня съесть. И дядя Саша стал к нам водить каких-то любовниц и с папой и любовницами пил вино. А потом дядя Саша и любовница ложились спать на наш диван-кровать, а папа на раскладушку.*

*Чтоб я не скучал по маме, приводил дядя Саша, но мне от этого еще хуже было. Страшно в темноте, а на диване вместо мамы тетя, очень противная тетя, грязная, и глаза плохие.*

А папа на раскладушке ляжет и захрапит, он никогда не храпел, только когда со мной играл и притворялся.

А дядя Саша с любовницей не спит, и я не сплю, а они шепчут, шевелятся, хихикают...

Но я держался – раз обещал. Только вечером, когда на улице было еще светло, а в комнате становился серый свет, мне так хотелось видеть маму, что я плакал, папа меня успокаивал, но я не успокаивался, и папа злился и на меня кричал. А когда зажгали свет, все проходило. Я только не умел папе объяснить, что надо свет зажечь. Я успокаивался, и папа меня гладил.

А один раз я опять в это время плакал: "Ма-ма! Ма-ма!", и папа на меня кричал. А тетя Нина с дядей Володей – дядя Володя был у нее не муж, а любовник, только он дяде Саше не был папой – вошли к нам без стука, папа очень сердился, а они все равно входили без стука, и дядя Володя сказал мне:

– Алех, иди к нам смотреть телевизор, мульти-пульти!

– Не пойдет он к вам смотреть телевизор, – сказал папа спокойно, но я всегда боюсь, когда он тихо говорит.

А перед этим тетя Нина сказала, чтоб мой папа не пускал к себе дядю Сашу с любовницами. А папа ей на это ответил, что это дядя Саша ей сын, а папа не сын и не муж. Потому что дяде Саше двадцать лет, и он два раза сидел в тюрьме, папе тридцать, а тете Нине сорок. И тетя Нина обругала папу нехорошими словами. Она всегда говорила эти слова, даже когда была веселая или ела, а папа говорил только при мужчинах. Она сердито сказала, а папа закрыл нашу дверь, он не любил, когда женщины ругаются.

Еще раньше тетя Нина сказала, будто я, когда у них был, разбил чашку. Папа ей предлагал свою, но она не брала.

.....

– Не пойдет он к вам смотреть телевизор.

– Почему ты травмируешь ребенка? – спросила тетя Нина у папы и ласково посмотрела на меня. Но она совсем не добрая. Когда дядя Саша был маленький, она отдала его в интернат, и он там жил, а не с ней. Она не хотела, чтоб он с ней жил. Он только по субботам приезжал. А потом его оттуда прогнали. К ней до дяди Володи ходило очень много мужчин, а детям смотреть нельзя. Дяде Саше было тринадцать лет, когда его выгнали из интерната. Она заставляла его пить вино, дядя Саша становился пьяный, засыпал и ей не мешал.

.....

– Почему ты травмируешь ребенка?

Папа весь искривился как больной и закричал:

– Закрой варежку, сука рваная!

– Это я сука рваная? – спросила тетя Нина и размахнулась на папу.

Она была толстая, она в мебельном магазине работала, она размахнулась, а папа ее ударил. Тетя Нина закрылась руками и закричала:

– Ой! Ой! Ой! Владимир!

У нас один мальчишка был. Он не смеялся смехом, а просто говорил: Ха. Ха. Ха.

А я испугался и ухватился за папу. Я ему, наверно, мешал драться, потому что он меня отпихнул сердито, и я упал и заплакал, и смотрел лежа.

Дядя Володя размахнулся, но папа опять ударил быстрее. А с другой стороны на папу лезла тетя Нина, дядя Володя упал. Папа еще раз ударил тетю Нину, она вытерла кровь и сказала, что никогда этого папе не простит. И достала из кармана пятак. А папа наступил дяде Володе на лицо грязным ботинком, и дядя Володя ругался.

Папа увел меня в комнату, а они за дверью все кричали, обзывали папу разными словами, говорили, будто я не папин сын, а папа за мной горшки выносит.

Потом пришел дядя Саша, и папа его впустил. Дядя Саша на папу обиделся и сказал:

– Слав, чего ж ты делаешь?

А папа ему ответил:

– Саш, она тебе мать, но ты и меня пойми, и так тошно, а тут еще она! А с ним-то, думаешь, легко? Попробуй!

– А с тобой легко.

– Слав, никому б другому не простил – а с тобой не могу. Какой-то ты человек... в душу влез без мыла... Нагрузку надо снять.

Папа достал из кармана деньги. Дядя Саша сходил в магазин, и они стали пить. Папа шутил, дядя Саша смеялся, такие друзья. А тетя Нина стояла под дверью и кричала:

– Сашка! Не пей его поганую водку, я тебе десять бутылок куплю! Мать пропил, крохобор? Владимир, нет у меня больше сына!

А поздно, когда папа уже уложил меня в кровать, прибежали дядя Саша, дядя Володя и тетя Нина и стали моего папу избивать. Папа закрылся руками, а дядя Саша взял его сзади и стал держать. И крикнул:

– Бей его, Володь!

А папа, видно, думал, что дядя Саша не должен его сегодня бить, раз они друзья. Он все говорил:

– Поганец! Что делаешь? Завтра прощения будешь просить!

Дядя Саша сказал:

– А наплевать... Беспредел!

Дядя Саша за руки держал, а дядя Володя бил по лицу. Папа ничего не мог. Он сначала ругался, а потом замолчал, ему руки дядя Саша держал, а лицо в крови, а тетя Нина царапалась...

Я так верил в своего папу, мне с ним никогда было не страшно. Даже если машины. А теперь я не знаю. Папу били по лицу кулаком и царапали ногтями. Они были сильнее его. Это очень страшно, когда лицу деться некуда, а его бьют! И лицо стоит на месте, а ему двигаться не дают, бьют... Потом дядя Володя взял нашу сковородку с макаронами и ударил папу три раза по голове. Дядя Саша папу отпустил, дал ему пинка, и папа упал, а они ушли. Папа поднялся на четвереньки и тогда закричал как зверь, да так страшно, что у меня голова перемешалась, я все забыл про себя.

Потом голова стала спокойная, и я увидел, что папа ко мне на четвереньках подбежал и меня обнял.

– Алька, Алка, да ты ничего, не бойся, Алка!

*А лица не видно, красное мясо, а голос – будто он долго, весь день плакал и уже больше не может. А хочет. И меня пачкает – руки и лицо, наверное, тоже. И у меня снова голова замешалась, я его стал оттихивать...*

## 5

А однажды он решился поцеловать девушку. Она была тоже с длинным, прыщавым лицом и подбородком, как у лошади. Они иногда с Митькой прогуливались в кино. И как-то они сидели на лавочке. Митька уже три дня как решил ее поцеловать. И он набрал воздуха, напрягся и стал медленно приближать свое лицо к ее губам, вытаращив глаза и вспотев. Она не оттолкнула его. Она даже вытянула губы. Но это во второй момент, а сначала Митька видел, как ее содрогнуло.

Он встал и пошел, и ничего ей не сказал. Он душе своей обиду новую сказал, а ей нет. Его ведь тоже передергивало, он ведь тоже мечтал о красивой женщине, которую видел на экране. Но он-то понял, что нужно по одежке, а у бабы волос долог, а ум короткий... Он споткнулся, упал, оперся руками, встал. Когда он отряхивал пыль с колен, с ним что-то случилось. Он вдруг как будто из себя вышел, вздрогнул и окаменел. И он увидел себя со стороны. Четко. Неподвижно. Без цветов. Навсегда. – Помилования не произойдет. Он, Митька, никогда не будет лежать головой на чужих, добрых к нему коленях и смотреть в небо, и он никогда не покатит в колясочке под уважительные взгляды окружающих маленького, сморщенного Дмитрия Дмитрича, похожего на него, как сын на отца.

На другой день Митька подал заявление в партию. Человек, который написал Митьке рекомендацию, его тоже не любил. Когда с ним здоровался (а руки у Митьки были всегда влажные), потом руки мыл. Но он мечтал, чтобы Партия очищалась, и чувствовал, что Митька вступает не из корысти.....

*Стены у физкультурного зала гладкие. Если Алику плохо, они не помогут, им что. Когда стены шершавые, они добрей, а этим все равно. И лампы в шарах. Зачем придумали электрический свет? Это дедушка Бронислав Карпович придумал электрический свет. Они детей не любят: ни стены лысые, ни Бронислав Карпович, ни дедушка Бронислава Карповича с клювом. Детей любят голуби, поэтому их сюда и не пускают... Вырасти б поскорей!*

*Или нет. Через веревку они не прыгают, зато им надо водку пить и драться, и по ночам не спать.*

*Вон Генка Крылов на физкультуру не ходит. Алик пробовал есть мало. Надо, чтобы ему врачиха такую справку написала: освобожден от физкультуры. Не дают ему такую справку. Ему, говорят, надо есть много и больше гулять, и заниматься физкультурой. Как будто, если б он просил добавки, дядя Володя не бил бы по папиному лицу, прибитому, как портрет.*

Тра-та-та, тра-та-та!

Мы везем с собой кота,

Чижика, собаку, петьку-забияку,

Обезьяну, попугая – вот компания какая!

Вот компания какая!!

*Вот тебе и компания...*

*Одну-то среду можно вытерпеть. Пусть смеются. Это ж только среда, детство и всего сорок пять минут. И даже в среду есть другие уроки, а кроме среды – понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Сорок пять минут в неделю можно выдерживать. Да то-то и оно, что из-за этого над ним все время смеются. Он и без веревки смешной, лопухий.*

*Он старается, он хочет хорошо учиться, лучше всех, чтоб его уважали. Пусть он через веревку не может прыгать, зато учится на пятерки. А выйдет к доске, замечется и забудет, в каком году что произошло. Дома все помнит – учебник наизусть рассказывает.*

*Ребята говорят, что у него короткое замыкание возникает, а Генка Крылов, который на физкультуру не ходит, – что лампа брзм часто выходит из строя. Выслуживается. Только неправда – Альке кровь глаза застилает.*

*Во вторник вечером в душе перестают топить батареи, но и хорошо, еще вся ночь впереди, это еще только завтра наступит, пей шампанское, друг, еще ночь впереди, его, Алика, добрая ночь, не Бронислава Карповича ночь, а Алика. Это еще не скоро. Алик любит спать от печали и от холода, а когда печаль – всегда батареи не топят. Когда ему хорошо, он спать не любит...*

*Да и в среду еще сначала два урока, а уж потом это. В школе у него друзей нет. А соседок зовут одну Марфа Емельяновна, другую Марья Тимофеевна, и он с ними не здороваются. Он боится очень. Боится, что может Марфу Емельяновну назвать Марьей Тимофеевной или Марью Тимофеевну Марфой Емельяновной, или Марфу Емельяновну – Марьей Емельяновной, а Марью Тимофеевну – Марфой Тимофеевной. Они его не любят.*

## 6

Митька шел и увидел у своего подъезда Варькино тело. Варька была сочная. Рубенс таких любил. И Рабле. Она работала раньше продавщицей, и ее посадили. Отсидела она два года, вернулась в Москву, а ее не прописывают. Сестра сначала хорошо ее встретила, а последнее время перестала улыбаться и молчала. Варька тоже не дура была.

Было тридцать градусов мороза. Митька Варьку поднял и понес. Его и в молодости ветром шатало, а сейчас было уж сорок лет, милые мои, да еще от Варьки водкой пахло, и Митьку тошнило. Но даже сквозь пальто сочилась женская, пленительная, неизведанная Митькой мякоть и заставляла себя нести.

Митька Варьку донес и положил на тахту. Посмотрел на ее лицо и стал ее раздевать. Он сначала хотел снять только пальто и туфли, а когда пальто снял, туфли снял – стал все снимать. И руки у него дрожали. (Однажды он шел по Москве и захотел в уборную, а уборных нигде не находил. Тогда он зашел в парадную и пописал).

Когда он снимал последнее, если б она проснулась, он бы зайкой остался. У Варьки задница была не маленькая. Ее приподнять пришлось. Но Варька не проснулась...

...В глазах у Митьки забелело и зачернело. Свет вспыхнул. Комната сузилась. Голова закружилась, как от папоротника. Была гора белого Варькиного тела, от которого, казалось, шел пар, и больше ничего не было. И был темный треугольник. И ничего больше не было. На всем свете не было. И самого света не было.

Митька смотрел, и ему больше ничего не надо было. Хотелось, правда, погладить, но он боялся, что она проснется. Митька сел на стул и смотрел и изучал каждую округлилку, каждый кусочек этого здорового, толстого настолько, чтобы радовать глаз, тела.

Когда Варька проснулась, у нее голова была как будто ее в дверь засунули. И глаза открылись только на ниточку. Ощущение было такое, будто неправда. Если б ей сейчас тыщу рублей в руку положили, она б не удивилась.

Но Митьки она испугалась и заорала. Она не того испугалась, что голая лежит, - она лица Митькиного испугалась. А Митька тоже испугался и чего-то говорил. Но за криком не слышно было. А когда у Варьки воздух в легких кончился, она замолчала. Посмотрела на Митьку и поняла, что он сам боится. Что он еще больше боится. И, может быть, он всегда боится.

- А ты что, санитар?

- Да нет. Я шел, а вы в снегу лежите. Ну я вас и принес. Думаю, замерзнете на улице. Очень холодно.

- Ах, гадство!.. Вот последняя нас всегда и губит. Я и не помню, как... уснула.

- Вам, может, покушать чего-нибудь приготовить?

- Да уж какая тут еда... Ты слушай, малый, ты это... пивка мне часом не принесешь? А то я и подняться-то не могу. Чего тебе объяснять? Сам такой бывал.

Митька подумал, что это нехорошо - то, о чем Варька его просила, - но глаза сами поднялись, в глазах голая Варька сфотографировалась, и Митька решил, что хорошо.

- Только денег у меня, поди, нету. Посмотри там в пальте.

- А у меня есть деньги.

"Да ведь он совсем!", - почувствовала Варька и захихикала.

- Слушай, погоди... Ты, может... Пиво-то меня сейчас не спасет. Может, четвертинку купишь? Я тебе отдам. У меня сестра Зинка, знаешь, какая богатая? У нас все есть: сосиски, чего хочешь. Она в столовой работает. Я у ней возьму полсотни - мы еще выпьем. Не веришь? Хочешь, я тебе паспорт оставлю?

- Ну что вы так говорите?

- Ты же не фабрикант.

- У меня сегодня день рожденья.

- А! Тогда беги скорей, чего ж ты стоишь?

Митька пришел в магазин и спросил у продавщицы, сколько стоит четвертинка водки...

- Принес?

- Угу.

- А чего так долго?

- Да я не знаю, как это.

- Ну, давай ее сюда, голубушку... Ах ты моя ласковая, ах ты моя цыпочка, ах ты моя лягушечка! Стаканы есть?

- Один только.



- Из одного выпьем.

У Варьки руки тряслись, а Митька пошел разогревать котлеты.

- Да чего ты там возишься, громыхало? Хлеба дай кусок - и все...

- Только, будь другом, дай я себе больше налью.

Варька под одеяло тем временем залезла, Митька с ней на "ты" стал:

- Пей все. Я-то ведь не пью совсем. Я, пока тебя нес, от запаха пьяный стал. Ки-ки-ки-ки-ки. Мне уж хватит.

"Больной, что ли?" - попробовала подумать Варька, но ей было некогда.

- Ну, чтоб у тебя... тебя как зовут-то?

- Митя.

- Ну, чтоб у тебя, Дмитрий, все в порядке было. До чертиков чтоб не напивался. Чтоб ты еще столько прожил. Будь здоров... Тебе сколько исполнилось, лет пятьдесят?

- Сорок еще только.

- Да? А выглянешь ты солидней. А жена где, схоронил?

- Не, я еще не женился.

Варька еще раз выпила.

- А я ведь тебе соврал, у меня не сегодня день рожденья.

- И деньги назад прикажешь, где ж я тебе возьму?

- Зачем вы такое говорите?

- А зачем же соврал-то, чудило страшное?

Митька покраснелся и не понял, что сказать.

- А вы читали "Семью Рубанюк"? - спросил он.

- Мне еще только книжки читать не хватало. Что я тебе - девочка?

- Очень интересная книга. Обязательно прочтите. Там про партизан и про любовь...

У Варьки хмель уже по старым дрожжам пробежался, ее поволокло. Было приятно, грустно, тепло. Она была такая сочная, упитанная, что всем казалась очень спокойной. Она и самой себе казалась спокойной, а значит нет, раз сейчас она стала обиды свои вспоминать. Живые, и на которые она обижаться давно перестала.

Директор магазина ей вспомнился, которого не посадили вместе с ней. Дружок ее первый, еще когда она в деревне жила, солдат, который ее обманул. Другие дружки. Лагерь. Как над пьяной над ней подшутили - сделали свое дело, а потом подол ей на голове завязали и пустили так с голой попой. Зинка-сучка. А другие люди за какие преступления сидят, и их все равно прописывают. А у нее денег нет. И она заплакала. И было ей очень хорошо.

Это ее Митька еще раззадорил. С другими людьми все время наготове надо быть...

Вот живет такой человек, никому зла не делает, а его, поди, все обижают. И жениться, страшненький, не смог. Его бы сейчас приласкать. Сладко Варьке стало, как подумала это, и противно. А от этого еще слаще. И слабость. И теплота. И вино. И добрый человек. И истома. И уже месяца два она не баловалась.

- Ты, Мить, ляжь со мной, полежи, поспим рядышком.

Митька болданулся. К горлу сладкая кровь подошла. Он чуть сознание не потерял и пошел негнуцимися ногами.

- Да ты портки-то сними!

Митька, ничего не понимая, по команде стал раздеваться. Ему сны такие снились. Они плохо кончались, эти сны. Когда он успел снять брюки и держал их в руках, у него все произошло.

Варька на него закричала матом. Это гадко, когда женщина ждет и не дожидается. Это все. Хуже этого нет. Варька отвернулась к стене и заснула или притворилась спящей, а потом заснула. А Митька посидел и лег. И всю ночь не спал, песни про себя пел:

Разгромили атаманов, разогнали воевод  
И на Тихом океане свой закончили поход!

Глаза у парня ясные,  
Как угольки горящие,  
Быть может, не прекрасные,  
Но, в общем, подходящие.

и другие песни.

Утром Варька проснулась злая, как старая дева. А Митька осмелел и кончики пальцев на грудь ей положил. Варька руку скинула, хотела извиниться, да не стала. Лежала и думала. А потом сказала:

- Слушай, Дмитрий, извини, я тебя перебыю. Значит, за все хорошее тебе спасибо. Хотя лучше б, может, было, если б ты меня не подымал. Может, я замерзнуть хотела, откуда ты знаешь? Ну, а все равно спасибо. Хотела я тебя отблагодарить, да ты видишь, что сделал? Раз больной - иди лечись, а я тут не виновата. Должна я тебе за четвертинку?

- Зачем ругаться?

- А то смотри, что ты думаешь, я тебе не отдам? Можешь адрес записать... Конечно, я тебе правду говорю, если ты потребуешь, чтоб я тебе дала, я тебе за все хорошее не откажу. А только лучше бы не надо, раз не можешь. Смотри сам... Ну вот. А теперь закрой глаза - я вставать буду. - И не проверяя Митьку, стала одеваться.

И опять будут сны, которые будут плохо кончаться. Через сорок лет Митька дождался праздничка. Еще через сорок ему будет уж восемьдесят...

- Варя! Разве можно так?

- А ты женись на мне.....  
.....

- Бей в нос, делай клоуна!

Нос - это Аликова голова. Бьют его портфелями по голове - делают из него клоуна. Алик уже лежит на земле, голову обхватил руками. Голова хлюпает, как банка с повидлом. Это - школьный облом. Бьют его за то, что он не может перепрыгнуть, бьют азартно. Последняя Алькина мысль перед тем как наступила тупость - какое вам-то дело? Потом голова потупела, и он перестал считать. Больше всех изгалялся Генка Крылов. Он даже предлагал ногами. Когда бьют ногой по лицу, звук такой же, что и по мячу. Но ногами бить испугались.

- Атас! - крикнул Палиба, когда увидел выходящую из школы Мариюшку-математичку.

- Принимай посылку, старший педераст! - крикнул Генка, в последний раз опуская портфель. - Мариашка очки носила. - В следующую среду опять жди гостинчика. Будешь прыгать, гаденыш!

Из-за Аликова прыганья их класс никак не мог выйти в ударники. Алик поднялся и тоже побежал, чтоб Мариашка не распрашивала что да как...

Тупость от бега прошла, как туча от ветра, но Алик помнил, что в среду надо опять ждать гостинчика. И вдруг в голове сверкнуло. Нет, он и не думал покончить с собой, но одну-то вещичку можно и потерять. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, приобрести же Алик мог пожизненное освобождение от физкультуры. Линия проходила рядом, народу бывало мало. Алик засучил штанину и положил икру на рельс. Закрыв глаза. Ждать, может, придется минут десять. Не сказать, чтоб было совсем страшно, но в кино бы было страшней. Это большое дело, когда глаза закрыть. Только ждать неохота. Как укол - скорей бы уж.

"А я смелый!" - подумал Алик и в это время услышал звуки:

- Люди на войне за тебя, стервеца, ноги теряли, чтоб ты жил да радовался, а он под Сережку Есенина работает. - И пьяный мужик взял его за шиворот и отпихнул от рельса.

"Хороша радость!" - подумал Алик, но пришлось уйти.

## 7

А Варька была аппетитная. Идут они с Митей под ручку, а мужики облизываются. А Митьке так хорошо. И Варьке хорошо. Одно плохо - у Митьки, оказывается, все время это раньше происходило, чем нужно. Как увидит треугольничек темный - и погиб. Но это все ничего - главное, человек хороший.

Устроил Митька Варьку работать к себе в цех стрелочницей... А однажды в будку к ней вошел Леха-составитель и попросил стакан. Выпил и Варьке налил. И Варька выпила, и тогда Леха ее повалил. И Варька захихикала подхалимски. Она всегда так хихикала, когда ее валили. И потом хихикала. Как будто ее щекотали или спину терли. И смотрела на мужиков широко раскрытыми глазами. Какие они чудные. Пыхтят, пыхтят, как муравьи ношу непосильную тянут. Она и есть могла. Так и пошло. Тут не только Леха, тут у Варьки в будке проходной двор стал... А потом она уехала с грузином, который работал по лимиту. Прямо пришла к Митьке и сказала:

- Ну, будь здоров, Шишкин. А мне тебя обстирывать хватит. В кино ходи почаще заграничное - без бабы сыт будешь. На юг поеду, к Черному морю. Со свиданьем, спаситель хренов.

У грузина этого были открытки. Там было тридцать два способа. Он Варьку всеми испробовал, а потом дал ей пинка. И осела Варька на Кавказе. Ее использовали за деньги или за водку. Она очень плохо кончила. Но что ее удивляло - о той жизни с Митькой она никогда не жалела.....

*Приснился Алику странный сон.*

*Он бежит, бежит. Впереди веревка. Веревка, как всегда, а когда Алик уже близко подбежал, то увидел, что по ней таракан пол-*

зает. Взад-вперед, взад-вперед, как маятник. А таракан такой противный, величиной с кулак, что от одного вида рвать хочется. Лапы мохнатые, шевелятся, их штук сорок, и все извиваются разом, на лице пятачок как у свиньи и два глаза как две капли, а в глубине две мокрицы вонючие. Взгляд злой-злой и грустный-грустный. И все ползает из конца в конец, как будто ему кто приказали или как будто спуститься на пол - боится разбиться насмерть, ну да и здесь ему не житье.

А вокруг Бронислава Карповича ребята стоят, одноклассники. Стоят и шмят. Потому что у них вместо голов змеи торчат. А Бронислав Карпович всплеснул руками и командует:

- На первый - второй рассчитайсь! Девочки тоже. И Крылов! Никаких освобождений! А если враги придут, ты тоже освобождение получишь?.. Первые номера, десять шагов вперед марш! Кругом! Вот так. Если этот труп опять не прыгнет, я его повалю. Первый номер побежит на место второго, а второй на место первого. По дороге каждый должен подбежать к нему и наступить. Старайтесь на живот. Лучше наступит тот, после которого он сильнее кричать будет. Первые номера поют: "Бояре, а мы к вам пришли!", вторые: "Молодые, а мы к вам пришли!" После этого бегут следующие. Я буду подсчитывать баллы в общекомандном зачете. Добренькие предстанут завтра перед директором. Для его же пользы. Надо сделать из него бойца! И мы его каленым железом! Если враг не сдастся - каленым железом! Приготовиться!!!

Плохо. Впереди веревка с тараканом. Сзади зверята молодые. У них зубки остренькие, чешутся. И через веревку Альке не перепрыгнуть. Даже если он прыгнет на этот раз, то обязательно таракана раздавит. Это уж как пить дать. Не обойти ему таракана, а к нему только прикоснись, так сразу упадешь, а если сок пойдет?

"А ты не так, не с того конца. Ты его поцелуй. И на пол поставь, не страшна тогда тебе никакая веревка и Бронислав".

"Я - поцелуй? Но почему же именно я? Вон ребят сколько! Я не могу. Я умру".

"Тебе веревка мешает, а не им".

"А зачем он живет?"

"А это уж не твоя забота, ты поцелуй. Для Бронислава - ты тоже мерзкий таракан".

## 8

Как ушла Варька, Митька заболел. Это и до нее было. Уже десять лет. Он писал. Чтоб люди читали, а внизу его подпись.

"На складе у литейного цеха № 3 на путях валяются доски..."  
"Помощникам машинистов тепловозов дают мало тряпок на обтирку машины, а нам нужно обтереть и дизель, и капот, и колеса. Как нам быть?"

А внизу жирным шрифтом:

"Д. Печкин, помощник машиниста тепловоза".

В цеху его прозвали - писатель...

Но это все он писал, потому что люди его не любили, а у него на душе и нежность была. Девическая, добрая, тихая. Нежность

хотела лирики. И Митька писал рассказы. Их тоже печатали в многотиражке. Правда, от рассказов оставалось очень мало, кроме подписи. Митьку это обижало, и он писал новые рассказы.

"Шла по улице девчонка, а на ветру развевались две крупных русских косы..." У Митьки душа смеялась, когда он писал эти рассказы. И конопатая девчонка находила счастье, комсомольское и личное. Он плакал...

Редактор многотиражки звал Митьку Дмитрием Алексеичем и приглашал его в редакцию вечером. Игорь, литсотрудник, тоже звал Митьку Дмитрием Алексеичем и первый здоровался с ним. А за спиной Митьки и редактора пел: "Мы красна кавалерия та-ратата..."

Редактор тоже был графоманом. Он всю жизнь занимался журналистикой. Он писателем мечтал стать. Под старость его поставили редактором многотиражки.

Вечерами часто Митька приходил, редактор усаживал Митьку в мягкое кресло, и они пили спитой чай с сахаром в прикуску. Они его пили до ночи. Два старичка. Два графомана. Сидели. Обжигались. Пили одинаково. Всасывая. Молчали. Через десять минут кто-нибудь что-нибудь говорил:

- Разрешите, я вам маслом хлеб намажу, Дмитрий Алексеич.

- Спасибо, Константин Сергеевич. А вот уж я вам и намазал. Ки-ки-ки-ки-ки.

- Ах, что вы говорите! А я ножа не мог найти, а он у вас в руках. Хитрый вы, Дмитрий Алексеич, а еще поэт.

- Ки-ки-ки-ки-ки, заработались вы совсем, Константин Сергеевич.....

- Слыхали вы, Дмитрий Алексеич, про беду нашу последнюю?

- Да как же это могло?..

- Это еще полбеды. Главное-то, Маханько, главного инженера, с Розенфельдом Павлом Исакычем на снимках перепутали.

- Так что ж теперь будет, Константин Сергеевич?

- Прогрессивки лишили на первый случай. Это ж надо: Маханько с таким носом! И как будто специально, не кого другого, а Маханько. Он и раньше их терпеть не мог.....

- ...Константин Сергеевич! Если можно, вы мою заметочку эрбарчиком, пожалуйста, наберите, эрбарчиком как-то красивше.

- Ну, конечно, конечно, мы ее и рамочкой отобьем.....

- Дмитрий Алексеич, я вас очень уважаю!

- Ну что вы это, что вы это! Не будем спорить! - Митька даже пугался после такого.

Он вспоминал, что завтра снова будет в грязной, масляной, вонючей спецовке чистить грязные колеса, а потом полезет на крышу, а машинист будет дрыгать тепловоз взад-вперед, взад-вперед... И Митька будет цепляться за выступы, чтоб не упасть, и распластываться на пыльной в три слоя крыше и стирать пыль и животом и тряпкой, верней пачкать животом, а стирать тряпкой. И машинист, Васька Панфилочкин, который ему в дети годится, будет кричать и синеть, и тыкать пальцем или носком сапога: вот здесь грязно да здесь. И вся грязная его, жалкая жизнь Митьке вспоминалась, и становилось ужасно неловко и стыдно за редактора, как будто Митька застал его целующимся с девочкой-десятиклассницей.....

- Ну, спокойной ночи, Дмитрий Алексеевич. Заходи.
- Спасибо! Счастливо вам, Константин Сергеевич!.....

Проснулся я ночью после этого странного сна и узнал, что папа мой уволился. Я иногда после первого сна долго заснуть не могу. Папа меня за это распутным старикашкой зовет.

Он пришел вечером навеселе. Они там в газете часто выпивши ходят. Не знаю даже, как они работают. Я даже думаю, что, может быть, они и не работают совсем. А откуда люди знают? Хотя, наверное, это не так. Он работает в какой-то газете. Не в "Правде" и не в "Известиях", а в какой-то мелкой газете.

И когда выпили, папа им сказал. Он, когда выпьет, честный становится и злой и всегда правду любит говорить. Он им сказал:

- Вы - подонки! Вам что велят, то вы и пишете!

А дядя Игорь, их редактор, ему и ответил:

- Ну хорошо, мы - подонки, а ты честный, а чего ж ты с нами, подонками, работаешь? Мы за карьеру стараемся, а тебе я сто грамм налью, ты мне про что угодно напишешь, да и не налью - напишешь.

Папа, конечно, взял написал заявление. Попросил дядю Игоря его уволить. Дядя Игорь его сразу же и уволил.

Мама папу поругала, но не со злостью, а так, и я слышал, как они стали целоваться. Я очень обрадовался, что они целуются, а то папа сказал:

- Я боялся домой идти.

- Дурачок ты мой нерасчетливый, ты не бойся, мы проживем, - сказала мама, - лишь бы все хорошо было. Ты только не пей с мужиками. Я тебе сама буду покупать в воскресенье. А так - проживем. Галька давно просила платье ей сшить. Все некогда было, а теперь чего мне делать? Только шить. А Гальке сошью - она еще баб пришлет.

И так у меня хорошо на душе стало - я даже заулыбался в темноте, они ж не видят. Только как же мы будем? Мама все шить да шить. Ей гулять надо много и капусту есть. Мама беременная.

- Да я долго-то не засижусь, - сказал папа, - рассчитаюсь по шустрому и устроюсь. Только не в газету, сит я ей по горло. Ты знаешь, я даже рад, что так вышло. А то я уж бояться начал, так все врешь, врешь и когда-нибудь сам не заметишь - так изоврешься, что уж и понимать перестанешь, когда врешь, когда правду. Что ж, как сказал Дант: "Милиционера из меня не вышло, придется опять переквалифицироваться в бонч-бруевичи..."

Через три дня папа пошел устраиваться на курсы водителей трамваев. Он говорил, что так лучше, а то на заводе мастер стоит и смотрит, кто как работает. И если человек отошел покурить или в уборную, он в тетрадь записывает.

И я тоже обрадовался. Я на этом трамвае Бронислава Карповича обязательно задавлю. Пусть потом судят.

А вечером папу принесли. Мама била его по щекам, но он не просыпался. Уж если дядьки, которые принесли, были пьяней вина, то, значит, папы вообще не было. Денег мы с мамой дали ему только на дорогу и на пирожки.

Мама разнервничалась, а дядьки еще на бутылку потребовали за работу. Я хотел их прогнать, но мама меня загородила и им дала, и они долго стали извиняться, а потом, когда мама их попросила и открыла дверь, ушли, а мама мне сказала:

– Иди позвони, Алик, что-то мне плохо. – И на кушетку села около пьяного убийцы.

Я позвонил и поклялся с убийцей никогда не разговаривать, и вернулся домой к больной маме.....

– Ну что, бутуз? Поедет мама твоя за сестренкой на рынок, покупать, а? – сказал мне доктор без усов.

"Я не бутуз! – подумал я, – а мама поедет уж если за сестренкой, то не на рынок, а в двадцать седьмой роддом, и вы об этом отлично знаете, милый доктор". – Но ничего ему на это не ответил. Бутуз так бутуз.

А мама всполошилась:

– Как? Ведь еще только семь месяцев!

– Бывает и в шесть.

Тут мама засуетилась и стала собираться, и я ей помогал. Потом взглянула на папу, засмуцалась, как молодая, и обратилась к доктору:

– Вы извините, доктор, что мой муж со мной не поедет, он у меня совсем не пьет, а тут день рожденья у друга, уговорили выпить рюмку водки, и вот видите, какой он стал с непривычки?

– Бывает, – ответил доктор, – вы ему в следующий раз скажите, чтоб почаще выпивал, чтоб жене одной в роддом не приходилось ехать.

– Алик, береги папу, – сказала мама и уехала.

Я остался один, а он все спал. Уже было поздно, а сходить поесть страшно. Мне вдруг стало казаться, что в углу стоит бабка нищая с клюкой, а глаза горят, и будто эта бабка – переодетый фашист. И бабка сейчас скажет: "Сынок, сынок, дай хлебушка старой бабушке", – голос у ней грубый, грубый, как у папы, только охрипший. Я встану и буду дрожать. И она подойдет: "Хенде хох!", засучит рукава и спрячет меня волосатыми руками в темный мешок, в котором я задохнусь.

Я стал папу трясти:

– Папа, папочка, папочка, проснись, мне страшно!

Но папа не просыпался. Уже ночь была, а я все сидел и дрожал, свет не тушил и не заметил, как заснул одетый...

Разбудил меня папа. Он меня спросил:

– Алька, что случилось? Где мама?

– В роддоме, пьяница!

Он на меня смотрел, и я на него смотрел. Я на него смотрел, а он опустил глаза...

– Алька, ты голодный? Да? Сынок, сейчас поедим, я сделаю. И уроки сделаем, и в школу пойдем. А я к маме поеду. Только голова у меня трещит. Алька, слушай. Я сейчас сбегая, четвертинку куплю, чтоб в форму войти, ладно? С четвертинки-то мне ничего не будет.

– Не надо, пап, опять заведешься, – стал отговаривать его я.

– Алька, я даю слово... Ты слышишь? Я тебе обещаю.

Он купил четвертинку, выпил. Мы с ним поели. И он сказал, что постит только полчаса. А проспал до обеда. Проснулся и снова побежал в магазин, на этот раз у меня не спросившись. Я ушел в школу.

Вечером, когда я пришел, папа опять спал. Я его не будил. Все равно без толку. Он, видимо, еще не один раз в магазин бегал. Как там мама? Она, бедная, лежит, живот у нее болит, и никто к ней не приходит и апельсинов не несет. Но всем приходят, а к ней нет. К одной моей маме из тысячи нет. И почему все, кто со мной, такие тяжелые? А может, она уже родила? Без цветов, без записки. Нет, нет. Мама, подожди! Я завтра сам к тебе поеду, если этот болван не простится...

Назавтра папа остановился. Он молчал. Я тоже молчал. Только он молчал и меня боялся, а я молчал и знал, что он меня боится. Мы все делали молча, как хорошие футболисты. Никогда он так быстро не останавливался. Мы друг друга понимали.

Потом я пошел в школу, а папа поехал к маме, и в первый раз за все утро мне сказал:

— Альк, я поеду к ней, чего ей купить?

И я понял. Я ему все объяснил — апельсинов там, сыру, колбаски, масла сливочного. А он все на бумажку записывал. Я ему и вес говорил.

— А если родила, тогда сам знаешь.

Насчет этого я был спокоен. Пылью засыпать глаза папа умеет. Всю больницу цветами устелет.

— Спасибо, Алька, так мы и сделаем.

Но чего-то у него в глазах сидело, чего он не договаривал. Я побежал в школу и чувствовал себя гораздо лучше.....

Мама, оказывается, родила и как раз в то время, когда папа там был. И родила, как мы и договорились, Олю.

— Алька, она меня простила, твоя ангельская мать! Алька, ты понял? Гораций ты францисканский! — и стал меня кружить.

Я его по голове погладил, и мы стали думать, как мы их будем встречать.

— Ты только на работу устраивайся скорей, а то чем мы их кормить-то будем?

— Это — конечно, это — конечно, это — конечно! На работу прежде всего... А ну ее, работу! Мы с тобой, Алька будем двумя философами, два брата-акробата, ладно? Ну шучу, шучу, не кипятись, а то уже аперкотом размахивает. Не прогневайся, батюшка, завтра же пойду устраиваться на помощников вагоновожатых. Дашь Варшаву! Впереди на лихом коне! Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед, и комиссары в пыльных шлемах склоняются молча надо мной.

— Пап, кончай травить, дело-то серьезное!

— Да, да. Да, да. Да, да. Тысячу раз да, последний представитель вымирающего дворянства и мракобесия.....

А на другой день он мне все рассказал. Он, когда пьяный был, паспорт потерял. Без паспорта жить нельзя. Это все равно что ты умер. Ты говоришь, что ты жив, а откуда кто знает, правду ты говоришь или нет. Мало ли что похоже, похожих двойников сколько



угодно. Сейчас пластические операции делают. А на таких пьянцы, как мой отец, главную свою ставку и ставят.

И теперь получалось плохо. Без паспорта на работу не примут, а чтоб паспорт получить новый, надо штраф заплатить десять рублей. Да это ладно, ну занял бы где, но не дадут ему сейчас новый паспорт. В милиции говорят, надо месяц ждать. А то ему выдадут паспорт, и старый вдруг найдется... Вот и живи как хочешь.

Но папа все ходил и говорил:

— Если Бог есть, то паспорт найдется, а если нет — все равно жить незачем. Видишь, Алька, какой нам случай представился? Уже сколько миллионов люди спорят, есть Бог или нету, книги пишут и не могут доспориться. А нам с тобой представилась великолепнейшая возможность решить этот спор.

Но это он — чтоб не заплакать, я сам так же делаю.....

Потом вернулась мама с горластой Олей, я, когда был маленький, так не орал, но мне она понравилась. Хорошая девочка. Обычно маленькие страшные, как кулачок, а она нет. Я стал с ней гулять и почувствовал, что я стал другой. Я как на нее посмотрю, мне сразу кажется, что я сильный великан. Стало мне лучше.

Мама через две недели пошла с Олей к начальнику милиции, обрисовала ему наше бедное положение, и тот согласился выдать папе паспорт раньше срока, они ведь тоже люди. И пошло хорошо, и папа с мамой жили очень ласково, и папа на работу пошел устраиваться, прямой, сильный.

Взял он трудовую, военный билет, а у самого руки трясутся.

— Я уж, — говорит, — всего боюсь, еще не хватало их потерять. Тогда прямо ложись в гроб, закрывай крышку, а Алька гвоздики заколачивай.

Но это он так, это он говорить любит, он и сам не верил, что так может получиться, и потерял. Не пьяный, ничего никуда не заходил. А как пришел на работу, на которую устраивался, ему говорят:

— Ваши документы, пожалуйста.

Он раз — паспорт новый, который на грудь положил, есть, а ни военного, ни трудовой из заднего кармана нет.

А кто-то злой все-таки есть. Я уже давно знаю: как чего-нибудь захочешь, никогда не получится, а не захочешь — пожалуйста. Я даже на хитрость иду. Еще когда в школу не ходил, играл с соседом Валеркой из соседней квартиры в кегли, нарочно говорю:

— Сейчас не попаду. — И попадал. А как скажешь: "Попаду", — все, труба дело. Только тут вся штука в том, что надо не только громко сказать, но и про себя, а это не всегда получается.

Мы и так одними концентратиками питались. У мамы молока еле еле хватало. А теперь хуже и быть не могло. Если паспорт месяц надо, чтобы получить, то эти штуки, наверное, полгода. Конечно, если б мама взяла меня и Олю и пошла к церкви, мы что-нибудь бы там насобирали. Только мама не пойдет. А меня, если увидят, из школы выгонят. Небось, помочь не помогут...

Папа теперь все время сидел. Локти на столе и руками голову держит. Ничего не говорил и ничего не ел. У мамы глаза не просыхали. Оля кричала, не переставая. Я уже три дня не ходил в школу. Мама каждый раз папу звала, даже кормить хотела с ложеч-

ки манной кашей на воде. Но папа ее прогонял. А один раз закричал на нее:

– Уходи отсюда! Дай мне умереть спокойно... Лезут, лезут! Что, дожидаться не можешь? Не грусти, скоро уже. Вам легче станет, от иждивенца избавитесь. Попил я твоей кровушки, самому тошно...

Значит, он умереть решил? Поэтому и не ел. Повеситься или отравиться побоялся, а тут ничего над собой не надо делать. Только не есть. Говорят, люди по сорок дней голодают, но они же не хотят умереть.

У нас с мамой было такое настроение: сесть и умереть вместе с ним. Но он ведь нас к себе не подпускал. И мы с мамой обнялись и сели. И мы сказали себе, что все, что мы очень устали, что мы долго боролись, но больше уж ничего не можем. А Оля кричала, но никто больше к ней не подходил. И вдруг дверь наша отворилась, ее, оказывается, мама не захлопнула, и вошел старичок с пятого этажа, его большие ребята бьют и Чан Кай-ши зовут, а мне кажется, что он похож на какого-то паршивого-паршивого, противного-противного таракана... Таракана? Он похож на таракана? Так вот что. Но я ни за какие деньги не смогу его поцеловать...

– Извините, я шел, смотрю: валяется что-то, нате. – А в руках папины документы держит.

Потоптался, потоптался, никто ему ничего не говорит, положил на стол и ушел, как будто самому стыдно стало. А папа рот раскрыл и, наверное, говорить разучился. Лишь нескоро сказал:

– Я ж тогда ему жить запрещал: "Чего живешь? молодым загораживаешь!? Зачем жил, надло безрогое? Умирать те пора, бабка! Ты ж, – говорю, – уже оно. Завтра не сдохнешь – прибью!" Жив Бог!

И больше ничего не сказал, сидел, но сидел уже по-другому, не так, как до этого.

## 9

А потом Митька ушел на пенсию. Он этого не хотел. Ему дома совсем не хотелось жить. Это была серая, большая комната с большой огромной двухспальной кроватью. Комната была раз в сто пятьдесят больше Митьки и пугала его, и кровать пугала. Но начальник его прогнал. Как исполнилось пятьдесят пять, так и прогнал. Другие еще оставались, а Митьку прогнал. Потому что начальника после Митькиных "тряпок" и "досок" директор вызывал каждый раз.

– Ты нас не забывай, Дмитрий. Помни: ты – коммунист! Пиши, пока рука ручку держит. Так. Газету мы тебе будем высылать по старому. Помни: для нас ты по-прежнему работаешь на заводе. Ты рабкор, Дмитрий! На, держи, – напутствовал его редактор.

И подарил Митьке на память штуку для взбивания коктейлей. Митька никогда не пил. И редактор пил только по необходимости. Но редактору подарила ее "Союзпечать" за пропаганду подписки, а ему очень хотелось Митьке что-нибудь подарить. Своих денег было жалко, даже не то что жалко, а башмак у жены был тяжелый. А подарить надо было, чего бы это ни стоило.

Митька заплакал. Он не знал, чего с ним делать, с подарком, но разве в этом дело? Он его положил в коробку и каждый день мокрой тряпкой протирал.

Игорь тоже послал Митьке подарок. С выдуманным адресом. Рваные галоши. Но Митька шутки не понял и галоши носил. И все равно чувствовал себя при деле. Писал про пионеров, про марки. Ходил на завод - следил. Его и на заседания редколлегии приглашали. Ради чего еще можно было жить?

Однажды редактор тоже ушел на пенсию. Редактором стал Игорь.....  
.....

*И после этого папа мой стал, как дурачок. Все на коленках ползает передо мной, перед мамой, даже перед Олей. Прощения просит. Говорит, что он перед нами виноват и что он моего брата убил. Что он даже хуже всех на земле, даже хуже Сталина. А Сталина он всегда ругал последним человеком. И такой ласковый стал. Мама на него заругается, а он у ней руки начнет целовать, у мамы все сразу и проходит - много женщине нужно?*

*Ну и пусть дурачок! Подумаешь, дурачок. Пусть лучше все на земле будут дурачками, чем Бронислав Карпычами. Бронислав Карпович умней голубей, он на улице не гадит, зато от голубей зла нет, а это можно водой отмыть...*

*Мне теперь с папой хорошо, я забывать начинаю. Я когда вырасту, тоже хочу считаться дурачком, людей любить - тараканов, не потому, что я глупый, а потому, что я так хочу.*

## 10

- Чан Кай-ши идет, Чан Кай-ши!.....

- Терьер, фасть его, фасть!.....

"Сами вы терьеры! За что вы меня так все? Что я вам сделал? Суки-и!! А я б еще пожил!"

Митька потянулся, подумал еще раз, что дети рождаются, что Бога нет, а земля кружится вокруг Солнца, зевнул и умер.  
.....

*Пришла из магазина мама и сказала, что тот дедушка, Чан Кай-ши, умер.*

1970 - 1980

Валерий Левятов - московский писатель. Работает редактором в бюро технической информации. Печатался в журналах "Грани" и "Континент".

Виктория Андреева

# ХЛОПКА

Рассказ

Город задыхался от тяжелой влажной затхлости, пронзительных сирен и неумолкаемого гомона островитян. Комната, распластанная от духоты, плыла в чаду. Улица обдавала горячим дыханием асфальта, гортанными руладами и монотонно вбивающими гвозди в голову ритмами барабанов.

Мы бежали из города - в заброшенный дом на побережье.

Дом был во владении кошек и собак. Он тихонько разлагался от старости, плесени и древесных червей, и в воздухе стоял непрерывный тихий стон - дом жаловался на старость, погоду, людей. Сад был запущен и похож на опушку подмосковного леса. Деревья вольготно толпились вокруг, переходя в разбросанные кусты, ползли колючей травой в землю. Дом понимал неизбежность этого нисхождения. В саду, а иногда, прислушавшись, и в самом доме был слышен мерный хруст - это гусеницы жрали деревья.

Вода в доме ржавая - на участке много железа, и водяной насос качал рыжую воду. Углы чердака смердели, заваленные гниющим тряпьем. На полу шевелились клоуья собачье-кошачьей шерсти. "От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь", - было любимой поговоркой хлопки.

Утром и на закате солнца по дому блуждали его прежние владельцы - хозяин, сгоревший за два месяца от болезни, и Джекки, Джонни, Бетси и Полли - дружная американская семья. Их сэлиндже-ровские голоса звучали на чердаке и под крутой чердачной лестницей в солнечных бликах.

Собаки и кошки обитали на первом этаже. Мы жили на чердаке - налево от лестницы. Деревянные балки наклонно сходились над го-

ловой. Чужая недоброе, я сразу развесила иконы. Одну - над кроватью сына, другую - над нашей. хлопка коротко и темно сверкнула на них глазами. Владимирская Мать Божия, не замечая ее, заботливо устроилась на стене.

Темнело постепенно. Света не зажигали, чтобы не налетели комары да мухи. Сынишка ворочался от жары. Наконец ночь вползла в окно. Надсадным кашлем внизу лаяла хлопка. Яростно стучала по полу хвостом и лапами расчесывающая себя в кровь биби. Во сне рычала буби. тиграша скакал с окна на пол, с пола на окно. Две другие кошки, сузи и фрики, тяжело всхрапывали на кровати хлопки рядом с уткнувшейся морду под мышку хозяйки буби.

Мать Божия, прижав Иисуса, внимательно смотрела из темноты. Сынишка не спал. Окно постепенно светлело.

Утро обрушило на дом пестроту, яркость, шевеление и шепоты листьев и яростный хруст гусениц. тиграша уже отправился на прогулку. буби и биби лежали на кухне у ног хлопки. На широком подоконнике возле стола сузи и фрики ели остропахнувшие кошачьи консервы. хлопка полулежала на столе, покровительственно чесала окровавленные уши биби. На столе стояла кадучка с чаем и миска с овсяной кашей. хлопка завтракала. Яростно орал телевизор. Перед ним сидела с застывшими зрачками внучка хлопки.

"У, секси герл!" - с подслушанным вождением сказала внучка, глядя на мелькающие в телевизоре ноги, лифчик, размалеванный рот. Стул под девочкой ходил ходуном, отбивая барабанный ритм и вопли рекламы.

"Перестань", - не выдержав стука, попросил мальчик.

"Заткнись, идиот, - прикрикнула внучка. - Ты мне мешаешь."

"Дьяволка", - крикнул в ответ мальчик и замахнулся.

"Баба, - перекричала телевизор внучка. - Он меня ударил."

"Ничего, - басом успокоила ее хлопка. - Мы ему покажем." - И вышла в сад в сопровождении биби. Ключья собачьих-кошачьих волос взметнулись вслед за ней с пола.

Солнце набирало высоту. хлопка, положив на живот "Новый журнал", дремала, а буби и биби принимали у себя соседского черного пса. Огромный, как теленок, кобель по-хозяйски направился на кухню. Растроганные девочки, подобострастно виляя хвостами, шли за своим приятелем.

"Мама, здесь черная собака. Прогони ее, - закричал испуганно мальчик с кухни. - Мама, мама!"

"Пошла вон отсюда, уходи, гоу эвей," - нетвердо сказала женщина.

"Нечего бояться, - брезгливо объяснила хлопка. - Наши девочки скучают без мальчика. Коли боится - пусть уйдет. Царство Божие внутри нас."

"Буби, биби, родненькие, - оторвалась от телевизора внучка. - буби, биби", - вместо счета повторила она, поднимая и опуская руку. Собаки с визгом и лаем подскакивали, стараясь лизнуть ее.

"буби, биби, буби - биби, бу-би би-би, и-у! у! у!" - Восторженный визг собак, скачки. Потом голос сына: "буби, биби". Потом крик: "Идиот! Нельзя". Потом голос сына: "Почему тебе можно, а мне нельзя?!" Потом крик: "Убирайся отсюда. Это мои собаки". Возня. Высунутый язык и гримасы внучки. Крик мальчика: "Дьяволка". Голос женщины: "Сколько раз я тебе говорила, не называй ее так!"

Бас хлопки: "Ты опять ее обижаешь. Лиза, иди сюда, ты с ним не играешь! Ты почему обижаешь мою Лизу? Я тебе покоя не дам. Я это тебе так не оставлю. Ты у меня не будешь обижать Лизу. С тобой никто никогда не будет играть. Ты всегда будешь один. А ты зачем с ним играешь? Я тебе не разрешаю с ним играть. Иди сюда. Мы с тобой будем вместе играть."

хлопка подходит к женщине, сидящей с книгой в саду: "Ваш опять мою Лизу ударил. Скажите ему." И не дождавшись ответа, уходит. биби плетется за ней. Женщина захлопывает книгу, зовет мальчика: "Сколько раз я тебе говорила, не называй ее так. Почему ты назвал ее дьяволкой?" "Она и есть дьяволка," - упрямо твердит мальчик.

"Почему ты ее ударил?"

"Я ее не ударил, а только замахнулся."

"Ну вот, не умеешь играть, сиди здесь."

Мальчик сидит, несчастно прислушиваясь к голосам с собачьей половины. "буби - биби", - ведется мерный отсчет времени. "буби-биби", - хлопки в ладоши. Визг собак. Мальчик не выдерживает: "Можно я пойду поиграю?" "Нет, сиди. Вы не умеете играть вместе". "Ну нельзя же так!" - мальчик вырывает свою руку и убегает. Небольшая пауза в счете. "буби - биби" - счет - о, счастье - прекращается. И через минуту внучка, оседлав палку, проносится мимо, яростно выкрикивая: "Разбойнички - разбойнички!" - рядом с ней счастливый, как буби, подскакивает мальчик.

Вечерами хлопка любила философствовать. Часов с восьми дом заполнялся ее басом, ее суждениями и мнениями. Каким-то образом она знала почти всех и обо всем и обо всех имела свое собственное, хлопкино мнение. По этому мнению, все, что сейчас пишут, было уже напечатано в ее времена в уважаемом, по тогдашним понятиям, журнале "Арт". И если хорошо порыться, то обязательно натолкнешься там на любую нынешнюю новинку. Мертвый украинизированный американский русский без оттенков и интонаций монотонно терзал слух. Нельзя было вставить слова - хлопка упивалась своим красноречием. В паузу она посылала женщину успокоить детей и по возвращении той немедленно включала свою механическую говорильню.

Во всем хлопка находила обнадеживающее ее темное пятнышко. Степун - как же, знала, - болтун. Варшавский, Берберова, Олейников - все знакомые. Вот, помнится - и следовал тусклый эпизод: кто-то женился на деньгах, тот азартный игрок, этот на ком-то прокатился, тот дурак, этот клоун. Воспоминания хлопки, как и эти эпизоды, были безглазыми и безрадостными. Серая паутина оплетала мозг, тусклая вязкая жвачка тянулась весь вечер, пожирая время, как гусеницы деревья, иссушая и замусоривая голову чужой ненужной

тусклой жизнью - Харків, пайки, немцы, ди-пи, 145-я улица, махорочные сигареты "Пол Мол". Жирной мохнатой гусеницей она присасывалась к нервному центру и тянула-выматывала жизненный экстракт. Поток монотонного мусора вымывала последнюю память о себе, не позволяя быть другим краскам.

А ночью дом шевелился, чесался, кашлял, храпел. И хозяин тоскливо вздыхал в углу: "Эх, какой участок, и вода, полная железа, и деревья шелестят под небом, а дом недостроен, и детей здесь моих нет, и живут чужие люди, и речи какие-то странные звучат. Э-эх! строил, строил, и все пошло прахом."

буби во сне огрызалась, а хлопка привычно думала: "Вот ты копил, покупал, горячился, строил, а живу здесь я - и всё тут. А ты по углам скребешься да вздыхаешь."

Мальчик спал беспокойно от стуков, а мужчина и женщина тоскливо шептались.

"Да, - продолжала хлопка разговор с хозяином, - строил здесь ты, а распоряжаюсь я. Потому что вы, честные дураки, жить не умеете - только на себя рассчитываете. Вам и в голову не придет, что можно разыграть все, как по нотам - любого лопуха заставить служить себе. Хитрости у вас, честных дураков, нету."

"Да," - вздыхал в углу хозяин. "Посмотрим, как ты там заговоришь. Ох-ох, грехи наши тяжкие," - шелестел он занавеской в углу.

биби расчесывала в кровь ухо, помогая себе хвостом. тиграша скакал с окна на пол, с пола на окно. сузи, фрики и буби всхрапывали на кровати хлопки, вздрагивая от ее лающего кашля.

Мальчик беспокойно ворочался. Богородица, сурово поджав губы, охраняла своего младенца и мальчика.

Гусеничный хруст стал привычным, как хор часов.

хлопка свезла биби к ветеринару, и та перестала чесаться. Только кашель по-прежнему донимал хлопку, отчего она стала заговаривать на церковные темы. хлопка все знала - и про куличи, и про покраску яиц, и когда нужно пойти в церковь, чтобы тебя там увидели. Поговаривала она и о крещении внучки, дескать, крест золотой припасла для нее, но сама ходила без креста. хлопка была в дружбе со всеми православными реформаторами и имела собственное мнение относительно главного церковного начальства, где оно должно жить и откуда указы рассылать по всему православному и неправославному миру. Местную публику хлопка не уважала. Она была сторонницей мощного централизованного управления. И сама креста не носила.

Любила хлопка вспоминать, как один раз в жизни у нее была прислуга - то-то было время. "Из бывших", а работала-то как! Все было приготовлено: и щи, и жаркое, и дети ухожены. И что это они, "бывшие", притворяются, что оне, дескать, делать ничего не умеют. хлопка очень не любила первую эмиграцию: и кому они нужны со своим барством. Уж и напускают на себя.

"Третьих" хлопка тоже не любила, но жадно к ним льнула и заискивала перед ними. "Вы обо мне, конечно, много слышали," -

удивила она как-то заглянувшего мимоходом на дачу недавно приехавшего кишневского изобретателя.

Обнаженностью и остротой первых лет изгнанничества "третьи" вызывали в ней тусклое воодушевление и довольство своей местной бывалостью и устойчивостью многолетнего прозябания.

Любила еще хлопка раны бередить - вспоминать про мужа, который ей, хлопке, предпочел молодуху. Когда о муже своем она вспоминала, то белесая монотонность ее малороссийско-американского выговора сменялась желтоватыми дымящимися огоньками азарта.

Наконец хлопка решила, что женщина достаточно раздавлена, бессловесна и покорна. "Что с ними, мужиками, обсуждать, ничего они не понимают. Мы между собой договоримся, - подмигнула она своей молчаливой собеседнице. - Будешь готовить на нас на всех. Кусок мяса - что на троих, что на пятерых, а H<sub>2</sub>O - ее сколько угодно здесь, и вся ржавая."

"Да ладно, - ответила молодая женщина мужу. - Я приготовлю. Она все-таки больная, кашляет, ей тяжело."

хлопка с внучкой сидели за общим столом. Громкий бас хлопки заглушал хруст гусениц. Женщина накрывала на стол, разносила приготовленный обед. хлопка курила.

"Он изображает все так неаппетитно", - слышала женщина отрывок ее суждения, принося суп. "Да какой он писатель! Всегда такое нагромоздит!" - восклицала хлопка, приступая к котлетам. "Да не говорите чепуху! Если бы среди "третьих" что-то было, то появилось бы в "Новом журнале". А раз в "Новом журнале" ничего нет, значит ничего и нет", - категорически закончила она и, отодвинув тарелку, жадно затагнулась "Пол Молом".

После обеда хлопка послала мужчину и женщину "прогулять детей" - погода хорошая, у моря сейчас очень приятно.

Гусеницы хрустели, жрали деревья. Солнце обрушивалось на голову и спину. Звон и хруст стояли в ушах. буби и биби дремали в тени. хлопка читала "Новый журнал". Хозяин тяжело вздыхал в углу.

"Ну чего ты вздыхаешь? - привычно отозвалась хлопка, подперев голову рукой. - Был дураком, вот теперь и вздыхай. Я тебе покажу, как умные люди поступают. А то на дачу они приехали! Вот я им покажу дачу. А ты смотри и учись у меня. А то он все вздыхает." Хозяин сокрушенно затих. "Самое лучшее - на таких бессловесных прокатиться. Это сразу десять лет жизни прибавляет. Найди уязвимое место - и дубась по нему, и главное, в глаза смотри, чтобы боль мелькнула. В этой-то боли смысл жизни, через чужую боль бессмертие можешь получить - ежели умным будешь. Ты смотри, мне шестьдесят шесть лет, а я молодуха хоть куда, в коротких штанах бегаю. На тебя б, на старого дурака, при жизни и не взглянула. С любым молодым сговорюсь. А ты все честностью своей хотел кого-то удивить. Честным трудом дом построить. Каждый уикенд сюда приезжал, работал-работал, как муравей. Вот и построил дом для меня. А я не пахала, не сеяла - а живу здесь хозяйкой. А ты по углам прячешься и шелестишь.



"Господи, что она такое говорит. Господи! Прости, ибо не ведает, что творит," - бормотал сокрушенно хозяин. Лестница скрипела под ним.

"А вот ты смотри, как надо жить, - распалась хлопка. - Видел, как я устроилась? Лизина мамаша и эти горе-дачники сняли дом, а хозяйка здесь я. Все здесь от меня зависит, что разрешу, что скажу, то и будет. А утром нынче видел? Вот .. так-то, дурачина ты, простофиля. Теперь они Лизу прогуливают, а вечером они ее уложат - умному человеку и золотой рыбки не надо, и щуки-волшебницы не понадобятся. Чужими руками надо уметь жар загребать. А ты каждый уикенд сюда на электричке мотал, все молотком здесь стучал - вот и достучался."

"О, Господи, Господи, прости ей, ибо неразумна," - шептал хозяин, глядя, как разыгрывается задуманный на вечер сценарий.

Женщина сидела с засыпающими детьми. Она смотрела в окно, как наползали сумерки. Пропадали очертания фигуры Матери Божьей на стене, только золотая кайма омофория светилась, мягко повторяя овал лица.

Утром муж женщины подошел к хлопке и сказал: "Вы ошибаетесь в моей жене. Она совсем не кухен-фрау. Она не умеет готовить на одну, не то что на две семьи. Давайте вернемся к первоначальному статус-кво."

"Вот и хорошо, - сказала хлопка. - Я не люблю лук, а вы всё готовите с луком." В углу иронически скрипнула ступенька. тиграша огромным сильным прыжком перебросил туда свое тяжелое лоснящееся тело и замер в углу, настороженно сверкая глазами. "И вообще у меня к вам претензия: этот запах лука, когда вы готовите: - это пролетарская привычка. Смердяковы, пролетарии!" - выкрикнула хлопка, не владея собой.

Листья в саду стали совсем кружевными. Гусеницы теперь с утра и до вечера хрустели в деревьях. В саду нельзя было сидеть: то и дело мохнатое жирное прикосновение заставляло брезгливо вздрагивать. Сбрасывали их осторожным щелчком, боясь раздавить желеобразное туловище.

Холодные недобрые канадские ветры загуляли по даче.

"хлопка, слышь, оставь их в покое," - вздыхал под лестницей хозяин.

"Молчи, дурак, - обрывала его хлопка в перерывах между приступами лающего кашля. - Ты бы лучше поучился уму-разуму. Когда осел сбрасывает ездока, осла бьют и мучают. Иначе он не даст снова оседлать себя. Они не захотели послужить мне, что ж - им же будет хуже."

Громкий уверенный бас воцарился на даче. Прошли времена монотонного выматывающего заговаривания. Бас успешно конкурировал с рекламным грохотом телевизора. Бас прилип к мальчику, не давая ему свободнодохнуть. Он настигал его повсюду, настырно лез, воспитывал, оговаривал, высмеивал, издевался, угрожал, тянул жилы, читал нотации, гипнотизировал, внушал вину, играл на страхах, неуверенности, беззащитности мальчика:

"Перестань, не говори, не сиди, не трогай, не делай, не думай, ты виноват, ты ответишь, ты будешь всегда один, с тобой не будут играть, какой ты музыкант - и напридумывают же себе! ах, она тебя дразнит? а ты не дразнись, ты же не собака, чтобы дразниться. Царство Божие внутри нас. Она тебе мешает думать? скажи на милость, он думает! Напускают на себя сами не знают чего! Да брось ты глупости говорить!"

Женщине: "Он у вас старик, а не ребенок. Вы его задержали. Вы ему сидеть спокойно не даете. Учите и учите. Он и играть у вас не умеет. Вы, как волчица, защищаете своего волчонка. Я ему покажу, он будет знать, как мою Лизу обижать. Пусть не дразнится, если его дразнят. Царство Божие внутри нас. Я ему покоя не дам. Лизу мою исщипал. Да что вы чушь городите - вы сами видели, как Лиза толкала и щипала его? Неправда, Лиза моя не умеет драться. Ты не умеешь драться? Вот слышите! А ты не давай ему пощадь! И вообще, вы готовите с луком, а я терпеть не могу лука. У меня печень больная. Мне доктор запретил есть лук. У меня к вам претензия - я не терплю запаха лука. Учтите это."

Внучке: "Иди сюда, не играй с ним. Я же тебе говорила, что ты не должна играть с ним. Сколько раз тебе повторять, я тебе запрещаю играть с ним. Ты опять с ним играешь, ты не должна с ним играть. Ты куда пошла? Я же тебе объясняла: не играй с ним, он тебя обидит, не обидел в этот раз - обидит в следующий. Ты не должна прощать ему."

Чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, внучка оголтело бросалась от хлопки к собакам, от собак к кошкам. "буби, биби, биби, буби," - звенело в ушах от крика. Кричала она уже хлопkinsким голосом. Не имея привычки читать, думать, хлопкина внучка на глазах теряла слабые начатки покладистости, привезенные из дома. Злые хлопkinsы вихри подхватили это неоформленное создание, и жесткий беспощадный хлопkins мир крепко впечатался в podatливую детскую душу. От безнаказанности зла, от его поощрения, от грязных картинок, которыми хлопка ненароком просвещала внучку, оставляя на виду сомнительные журнальчики, в глазах девочки появилась желтоватая желеобразная муть и жестокость одновременно. Было видно, что возможность укоров совести надолго потеряна ею. Ее веки, как крылья бессмысленных мотыльков, хлопнули перед глазами, утратившими связь с душой и сердцем.

Сегодня утром не было слышно привычного хруста и шуршания в саду. Во дворе мелькали, липли к деревьям линияло-желтые жирные бабочки, похожие на мотыльков. В них сохранилась жирная неопрятность и прожорливость гусениц, торопящихся полнее набить брюхо за свой короткий мотыльковый век. А дом стоял, тихо прогнивая от прели и плесени, и в воздухе звенел тихий стон и жалоба на жизнь, на погоду, на времена, на людей.

С утра до вечера вокруг деревьев с обглоданными кружевными лохмотьями вместо листьев суетились густые рои выцветших желтых бабочек. Искалеченные деревья отводили их ветками. Сбивая друг друга, бабочки беспорядочно взмахивали золотушными крыльями.

ми, тыкаясь в кору дерева, чувствуя себя, свою жирную неповоротливую плоть частью этого древесного гиганта, и дереву было больно от своего бессилия, от этого вынужденного соседства.

Гнусные прожорливые облака суетливо бросались от одного дерева к другому, по дороге натываясь на людей, доверчиво липли к ним. буби, биби и недавно подобранная собачка, "спасенная из моря", "еще некрещенная", как представила ее хлопка, с острой ошипанной вурдалачьей мордой и дрожащим хвостом - носились с лаем за золотушными мотыльковыми ордами, выскакивали на дорогу, лаяли на прохожих. "буби, биби, - орала внучка, отрываясь от телевизора, - ко мне. Сюда, буби, биби." Ее зычный, совсем уже хлопкин голос тонул в самозабвенном захлебе собак, осознавших свои сторожевые инстинкты. Внучка вскакивала, вспугивая тиграшу, сузи и фрики, которые с мяуканьем бросались от нее в разные стороны, взметнув облака собачье-кошачьей шерсти на полу, и мчалась усмирять свирепую лающую сторожевую охрану. Телевизор орал, коты урчали над своими остропахнувшими консервами, по даче разносилось скандирование: "бу-би, би-би, буби, биби", собаки лаем вторили своим именам. хлопка удовлетворенно поглаживала спасенного ею вампирчика, повторяя: "А ты не такая, как они, ты у меня хорошая девочка. Ты не бегаешь за каждым прохожим. Да-да, ты хорошая." - И вампирчик повизгивал от удовольствия.

"Баба, - прибежала из сада внучка. - Я упала. Посмотри, как коленку разбила. Это все из-за него. Я бежала, а он на лавке сидел. Я подумала, что он меня хочет ударить, ударила его, споткнулась и упала. И вот коленку разбила."

"Ничего, мы ему покажем, - сказала хлопка, решительно откладывая в сторону свое добродушие, как вязание. - Лиза, за мной!" Вампирчик затрусил вслед за ними. буби и биби, услышав знакомый бас, с лаем бросились в дом. тиграша, сузи и фрики недовольно оторвались от своего пахучего консервного пиршества и заурчали враждебно. Ветер на окне надул штору и погнал по полу шевелящийся ползучий клубок из собачье-кошачьей шерсти.

Ночью луна катилась в окно мертвым светящимся шаром. Темень была разъедена ею, как листья в саду гусеницами. Дом впитывал едкую отраженную энергию.

Хозяин томился от полнолуния, прятался от яркого колючего света, беспокойно маячил под лестницей: выходил, возвращался. Вздвогнул - по улице, коротко всхлипнув, пролаяла полицейская машина: буби, биби, вампирчик одновременно огрызнулись, распластанные сном на кровати хлопки. Луна нагнетала властную раздражающую тяжесть. Собаки скалились во сне на невидимого врага. Мощным уверенным прыжком тиграша перебросил через окно жирное лоснящееся тело и замер на крыше веранды египетским изваянием. Луна влажным потоком стекала с его холеной шкуры, зловеще отсвечивая в глазах.

Хозяин подошел к хлопке, думая оградить ее от властного лунного вторжения, и нерешительно остановился: при свете луны ее измученное лицо приобрело солдатскую беспощадность.

"Эх, дура-баба," - махнул он рукой, увидев свое бессилие одолеть колючую тьму, идущую от лица спящей. Мгновенно устав, он отступил, крадучись выскользнул из дома, прошуршал по траве под обиженными деревьями к темной норе сарая. хлопка пролаяла во сне матерым кашлем.

Мать Божия со знакомой скорбью несла на руках ребенка в лунном потоке.

Дом враждебно затих. Не грохотал телевизор, псы не визжали и не скакали, девочки не было видно. Слышались только короткие отрывистые реплики хлопки, звонил телефон.

Мальчик напряженно вслушивался в новый ритм первого этажа. Женщина позвала его, успокоила, погладила по голове. "Сядь сюда, - сказала она ему, - и послушай." Широкий овал лица мальчика повернулся к окну, глаза ожили. Продолжая гладить ребенка по голове, женщина стала читать:

По небу полуночи ангел летел  
И тихую песню он пел.  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.

Невозможная в этом доме тишина зазвучала с тихой уверенностью. Слова расходились по заустелому чердаку, поднимались к балкам, струящимся движением пересекали комнату.

Мать Божия смотрела вверх голов женщины и мальчика на небо, где, как отложенное кем-то перо, белело облачко.

Утро раскрыло все двери на даче настезь. Гулкие просторные тени сонно тянулись вдоль чердачного настила, и только в солнечных коридорах суетились пылинки, клочья шерсти, мотыльки. Икон на стенах не было.

С радостным захлебом орал телевизор, предлагая горячие сосиски, холодную пепси-колу и все виды жвачек. Сетки от комаров, заботливо вставленные женщиной в окна, валялись в саду перед дверью. Золотушные орды близоруко кружились над ними, сталкиваясь друг с другом.

тиграша тяжелыми уверенными прыжками мерил высоту от балок до пола. Любопытствующая нехристь с отдышкой взбиралась по чердачной лестнице, стуча лапами. Внучка со стеклянным азартом в глазах скакала по ободранным чердачным кроватям, выкрикивая:

"Ван патейто - ту патейтос - три патейтос - фор..."

"Лиза! - раздался с первого этажа раскованный, молодой, почти лизин хлопкин голос. - Куда ты задевала мой "Пол Мол"?"

"Баба, я не брала," - хлопкиным голосом между счетом выкрикнула внучка, переламываясь вниз над чердачным проемом.

Полуразвалившись за кухонным столом, хлопка прихлебывала чай из своей кадушки. Рядом с ней чинно сидела старушка биби, преданно моргая редкими полувывлезшими ресничками. сузи и фрики, счастливо жмурясь, задумчиво разглядывали видимые только им узоры своих кошачьих судеб.

"Баба, я уже убрала свою кровать," - выкрикнула вниз внучка.

"Получай за это двадцать пять центов," - позвала с первого этажа хлопка. Девочка застучала пятками по лестнице.

"Баба, миленькая, ты у меня самая добрая," - счастливо лопотала внучка, пряча двадцать пять центов в копилку.

Уверенный металлический стук из сада перекрывал радостный дачный гомон - приехавший внук хлопки, рыхлый детина с нависающим надлобьем, вбивал в сарае гвозди в хозяина.

Нью-Йорк  
1979

## ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ» КНИГИ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА

Владимир Максимов – выдающийся современный русский писатель. Его творчество одухотворено христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат своей простотой, а художественные образы впечатляют своей доступностью. Даже советская цензура не могла исказить его творчество, и изданные в Советском Союзе произведения пользовались известностью и любовью читателей. Но особенно ярко раскрылся его талант в произведениях, изданных на Западе. Прежде всего, в романе «Семь дней творения» – произведении о судьбах России. Этот роман выдержал четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки, вышел в 11 иностранных издательствах. Все написанные до сих пор произведения В. Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.

### Собрание сочинений

6 томов (более 2300 страниц), в твердых переплетах, с тиснением. *Том первый:* Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе, но изъятые из всех библиотек). *Том второй:* Семь дней творения. Роман. *Том третий:* Карантин. Роман. *Том четвертый:* Прощание из ниоткуда (романизованная автобиография). *Том пятый:* Жив человек. Пьесы. *Том шестой:* Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей).

*Стоимость шести томов 180 марок ФРГ.  
Цена одного тома 30 марок.*

Отдельными изданиями продаются все произведения автора, за исключением «Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые уже распроданы. Подробности в каталоге, который высылается по первому требованию.

### Сага о носорогах

Сборник публицистических произведений В. Максимова, состоящий из двух частей. В первой части – памфлет «Сага о носорогах» и ответ на ту «бурю», которую этот памфлет вызвал. Клеветники и ненавистники России, «прогрессивные интеллигенты», закрывающие глаза на преступления коммунистов, «мостостроители», идущие по пути «разрядки» к капитуляции, люди с атрофированным чувством Добра и Зла, наконец те, кто не воспринимает судьбоносность наших дней, – все обрушилось на автора. У Максимова-публициста темпераментное и злое перо. Во второй части, посвященной той же тематике, содержатся статьи и выступления автора как в Москве, так и в эмиграции.

*Карманный формат. 256 стр. С фотографиями.  
Цена 25 марок.*

Книги В. Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая «клубных», в США, Англии, Западной Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Израиле, Голландии, Норвегии, Швеции и других странах.

*Все заказы по адресу:*  
POSSEV-VERLAG  
D-6230 Frankfurt a. Main 80  
Flurscheideweg 15  
West Germany

# Генрих Шеф ГРАНИЦА

## Рассказ

Между нами совсем небольшое расстояние. Нас разделяют всего каких-то два метра. Причем два метра - это в новых, недавно введенных у нас единицах, которые, кстати, пока еще не приняты у них на той стороне, и только сейчас, причем, может быть, только для нас, кто этим обозначением пользуется, эта цифра достигла двух единиц и стала такой большой, потому что прежде, не так уж давно, когда и мы всё мерили тоже старинной саженью, цифра была совсем мелкой и незначительной, была даже дробной, какие-то там доли сажени, треть или четверть, а потому, конечно, была еще менее внушительной, почти смехотворной, и к ней часто относились почти несерьезно, иногда наступали периоды, когда какая-то часть из нас, отколовшись и словно бы вдруг сговорившись, начинала считать, что такая цифра, действительно, мизерна, ничего совершенно не значит, потому ее и нельзя принимать как бы то ни было всерьез, потому нас с ними ничто не разделяет: никакой разницы, так сказать, между ними и нами совсем даже нет. Время, конечно, опровергло такие тенденции. Время шло и приносило свои новые меры, но расстояние все равно оставалось, мерили ли его старой саженью или новыми метрами. Больше того, всеобщий прогресс позволил уточнить измерения, раз за разом публиковалась все новая цифра, конечно, в основе своей всё те же два круглые метра, но, с другой стороны, и не совсем уже круглые, а со все новыми и новыми десятичными знаками, сначала с сотыми, а потом уже с тысячными, теперь же мелькает иногда в качестве последнего достигнутого нами на этом пути результата отсчет с изрядным числом нулей после запятой и с энным числом миллионов. Конечно, все уже давно знают, что в этом мире все относительно. Даже если мы, с

течением времени, дойдем и до стамиллионных, какая-то доля не-точности останется и в этом отсчете. Потому же с некоторых пор всегда стали указывать подразумеваемую долю погрешности, весьма рассудительно ставя перед ней знаки плюс-минус. Но хотя все относительно, нам тем более, быть может, приятно наше, как можно видеть, уже совсем безотносительное (по крайней мере, так мы сейчас думаем и этому учит нас весь прошлый опыт) стремление зафиксировать - тщательно и как можно точнее - то, что нас разделяет, - занятие, которое стало для нас чуть ли не главным, кристаллизуясь с течением времени и переходя по наследству от одних поколений к другим, так что со стороны несведущему человеку может иногда показаться, что мы лишь для того и существуем, - если б только нашелся такой человек со стороны и нашел бы себе эту, так сказать, сторону, куда он мог бы встать и откуда стал бы смотреть: в том-то и дело, что таких людей нет, есть только мы и только они, куда б он ни встал, он окажется всегда или у нас, или у них, и потому всегда - с нами или же, наоборот, против нас, а за этой двухметровой границей установлено постоянное наблюдение, и специальные люди все время следят, чтобы на нее не становился никто и линия раздела оставалась бы навсегда, так сказать, чистой. Но и это, пожалуй, тоже естественно: такая наша одержимость этим частным и, казалось бы, незначительным делом. Может показаться, что все это надуманно, что мы просто за недостатком других, более серьезных и жизненных дел ввели себе такую границу и такое, так сказать, разделение. При этом ссылаются часто на историков: а историки и у нас, и у них, тоже как бы между собой сговорившись, пишут, что когда-то давно мы и они были одно, что, действительно, тогда не было этой границы, что она, опять если поглядеть в масштабе всей нашей культуры, веков, возникла даже не очень давно, что хотя и нет достоверных исторически данных, как она возникла и кто этим всем занимался, можно предположить, что она была нужна тем, кто жил тогда, но так как с тех пор все, кто жил тогда, давно уже умерли, вполне возможно (историки употребляют здесь именно такое смягченное выражение сомнительности и вероятности), что сейчас она не так уж и нужна.

Но как можно говорить, что граница, может быть, нам не нужна, когда вся наша жизнь связана с нею, устремлена, так сказать, вдоль нее, когда мы с нею срослись, когда мы, пожалуй, не мыслим себя без нее, без занятия ею как своего основного занятия, когда весь народ торжествует, когда в цифрах отсчета прибавляется еще один десятичный разряд, когда мы чествуем и этим как бы подчеркиваем в определенные дни эту границу, когда все наши самые яркие праздники связаны с ней, то есть и работа, дело (то есть хлеб) и радость народа исходят опять-таки как бы лишь от нее, вся наша жизнь тяготеет лишь к ней, и что было б, представьте себе, если б ее в самом деле вдруг не было. Нет, что там ни говорите, а я стою за границу! Пусть там историки погрязают в своих рассуждениях: они глядят вспять и оторвались от живой нашей жизни, берущей свое.

К тому же в самом существовании этой нашей границы есть что-то от произвольного природного факта, и, пожалуй, сейчас уже нельзя доказать, что она есть только дело рук человеческих: мо-

жет быть, так и было в самом начале, но потом к самым первым рукам примешалось столько самых разных добавочных рук, тянувших в свою и самую разную сторону, что на все это, казалось бы, глубоко разумное и почти личное дело наложила отпечаток стихия, как говорится, природа, которая, хотя мы существа и разумные, присутствует и нам, живет в нас, среди нас, растворяется в нас и мы, в свою очередь, растворяемся в ней, - и от нас, естественно, эта природа, стихия, переходит и к любому нашему делу. Мы уважаем природу, мы по привычке все еще чуть-чуть боимся ее, потому до сих пор нечто природное внушает нам подсознательно почти что боязнь, своего рода почтение, и подобный оттенок в нашем отношении к нашей границе, конечно, делает еще менее возможным допустить расширение среди нас той высказанной впервые в абстрактном виде историками мысли, что границу, может быть, надо вообще отменить. Действительно, ведь никто точно не знает, кем впервые была установлена эта граница. Неизвестно, какими целями он тогда руководствовался, в чем был там его живой интерес. Толкователи, конечно, найдутся всегда, и они нам известны, но мы принимаем их толкования постольку-поскольку, ибо они сами напоминают нам в своих предисловиях, что фактов у них почти нет и что все их толкования - во многом их личные домыслы: делать домыслы может свободно ведь каждый из нас! С другой стороны, сам единственно достоверный, установленный историками факт, что границы вначале вовсе и не было и лишь потом она появилась, еще больше подчеркивает что-то произвольно-стихийное в этой нашей любимой границе. Из глубины веков она явилась к нам весомым и осязаемым фактом, и нам остается лишь благоговейно отнестись к этому факту да постараться по мере возможности его сохранить и уточнить. Кроме того, и сейчас вдруг иногда по поводу границы среди нас возникают самые невероятные споры, что еще более ясно подчеркивает, что не мы властны над нею, а она довлеет над нами, тогда как сама от нас мало зависит. Хотя официально везде уже признана цифра в 2 метра с какими-то там теми или иными долями, иногда вдруг можно услышать высказываемое совершенно всерьез и с какими-то внешними логическими доводами и выкладками мнение, что ширина границы не 2 м, а 2 км и даже, может быть, 100 км. Эти цифры, хотя многие над ними смеются, как ни странно, находят и много сторонников: как всегда, разгорается спор и борьба, и нам вряд ли хватило бы сил еще и на это, если бы, повторяю, все основные наши силы мы не отдавали занятию, в том или ином виде, границей, и таким образом справлялись бы с этой добавочной новой нагрузкой с полным напряжением всех основных и целенаправленных сил. Иногда также вносится вдруг предложение изменить в том или ином месте границу: нет, не расширить все те же два метра до 100 километров, а отхватить, скажем, нашей границей какую-то часть там у них или, наоборот, отдать что-то им. Именно тут, в подобных, так сказать, острых конфликтах и ситуациях намечается какая-то возможность общения с ними: можно еще, скажем, отдать что-то им, их никак не касаясь, не обменявшись с ними ни словом, но как отобрать что-то у них, что-то там, за границей, не затронув при этом и их!?



Было время, когда все мы в целом были еще мало развиты и плохо воспитаны. Тогда среди нас имели распространение какие-то дикие крайности. Например, одно время было очень модным ругательное слово "животное". Одни говорили, что только мы люди, а они, напротив, животные. Другие, наоборот, говорили, что животные - мы, а люди - они. И в тех, и в других суждениях было много унижительного для нас же самих. К тому же, занимаясь только границей, мы действительно их плохо знали. В случаях перемены границы, конечно, появлялось какое-то знание, но, право, оно не много стоило, ибо это было знание при отсутствии на какое-то время и в данном месте границы, или знание из-за границы, но граница потом ведь опять устанавливалась, и наше последнее приобретенное знание мало чем могло нам послужить: фактически, зная границу, мы их совершенно не знали.

Кажется, это было совершенно недавно. Мы - маленькие, совсем еще дети, - подбегали к границе, куда нас иногда специально водили, говоря, что ведут нас знакомить с границей, чтобы начинали постепенно ее изучать, и там, добежав до нее, мы останавливались и глядели, сначала, конечно, на нее, на границу, а потом, с чисто детской непосредственностью и любознательностью, начинали глядеть за границу, через нее, - глядели на них. Мне никогда не забыть этих первых обменов нашими первыми взглядами. Дело в том, что и там, на той стороне, у них тоже были в большинстве своем одни дети. Иногда среди детей, как и у нас, были видны воспитатели, которые должны были следить за порядками, но это и были, пожалуй, единственные взрослые тогда среди нас. К тому же, следить за порядком не требовалось: порядок среди нас, таких шумных в игре, стоило нам очутиться на границе и поглядеть там на них, возникал сам собой. Мы видели, что они тоже там притихали. Их взгляды становились печально-рассеянными, устремлялись куда-то в совсем, вроде б, непонятную даль, чего-то искали и ждали, тоскуя об этом. Но ведь, пожалуй, мы видели в них свое отражение. И значит, мы тоже неспроста притихали, когда видели их (хотя сначала бывали с той и с другой стороны какие-то улыбки, гримасы, словечки), наши взгляды тоже искали чего-то и становились печальными, мы учились вдруг чувствовать и что-то пытались понять, не только действительно какие-то новые, тревожные и печальные, но и счастливые чувства, по крайней мере предчувствия, открывались вдруг нам. Воспитатель, приблизившись к нам, иногда молча просто показывал пальцем на них, как бы привлекая к ним наше внимание, хотя наше внимание и так было напряжено до предела и это было совершенно излишним с его стороны, иногда же говорил нам всем вместе, кто стоял рядом и мог слышать его, кивая туда головой: "Это они..." Иногда среди нас тоже бывали еще новички, совсем молодые, несдержанные, кто пришел сюда первый раз, кто еще мало что понял из того, что чувствует человек, когда стоит на границе, кто еще, может быть, делал только самое первое в своей жизни открытие, открывая то, что другим уже известно давно и даже не считается давно за открытие (но что каждый, тем не менее, в свое время должен был открыть сам для себя), когда кричал, с радостным лицом повернувшись к ближайшему к нему воспитателю: "Да ведь они тоже люди..." И воспитатели, призванные нас

поправлять, молчали тут тоже, слыша эти слова. Конечно, уже давно среди взрослых не было споров, люди они или животные. Но мы, старше года на полтора или два тех крикливых совсем уж юнцов, которые открыли себе, что те там - тоже люди, мы более сдержанно, скрывая, пряча какое-то первое время, утаивали для себя нас вдруг поражающую более глубокую, чем у тех крикунов, и почти необъятную мысль: "Да ведь они - такие как мы..."

Я, повторяю, тогда был ребенок, пусть я был в старшей группе, но я прекрасно помню, что мне тогда было стыдно за взрослых. Я считал - и считаю - что это тоже открытие. Может быть даже, его сделал лишь я! Другие тогда оказались еще незрелыми или слишком рассеянными. А именно, когда я по нескольку раз испытал, как взрослые, будто б чего-то стыдясь, оставляют нас раз за разом одних, как бы пользуясь нами для дела, которое они должны были бы сделать сами, как бы оставляя нас для залога там, на границе, как бы ожидая чего-то от нас, того итога, который там у нас на границе получится, как бы через нас начиная то, что, по их взрослому мнению, иначе, кажется, совсем невозможно начать, - право, понимая все это и даже желая помочь, от души, я все же стыдился за них, что они тут совершенно беспомощны, что мы, дети, должны делать для них то, что, по всем естественным нашим законам и законам природы, мы сами вправе от них ожидать; я сам, может быть, в такие минуты становился взрослее; может быть, я больше видел тогда, как мала разница между ребенком и взрослым. Но еще больше, пожалуй, - соединяясь с этим стыдом и из него вытекающей жалостью к ним - поразила меня тогда, то есть совсем еще в детстве, и сколько я ни живу, я лишь подтверждаю себе, как правильно я все тогда понял, удивляясь себе, что уже тогда я, ребенок, такие вещи стал понимать, - поразила меня мысль о нашей большой всеобщей беспомощности перед границей, всех, взрослых и детей, беспомощности, которая, как бы мы ни росли и ни развивались в целом, так и каждый в отдельности, всегда сохраняется!..

Сейчас я уже взрослый даже по возрасту. Прошло много лет, всё это время, действительно, шли разговоры об отмене границы, но граница все еще существует. Теперь уже не одни только дети, как это было тогда, когда я был ребенком, - теперь уже также и мы, взрослые, ходим именно так на границу: не для того, чтобы что-то там измерять и высчитывать, а для того, чтобы просто стоять и смотреть. Конечно, измерения также всё еще продолжают, и их точность подходит, как говорят, действительно к стомиллионным долям, изобретен даже, будто бы, совсем новый и точный способ измерить эти два метра с 20-ю десятичными знаками, но я, право, не знаю, можно ли всему этому безоговорочно верить. Странное дело: может быть, я начинаю стареть и со мной совершается своего рода старческий парадокс: иногда, стоя у края границы, чувствуя, что передо мной она, и устремив, как и прежде, глаза туда, к ним, где точно так же расположились тоже они (и, конечно же, взрослые), я чувствую вдруг, как теплые мурашки бегут у меня по спине, как мне приятно чувствовать сзади, так сказать, свою спиной, всех нас, остальных, чувствовать, что вот мы - это мы, что мы обособились, что мы знаем, чем мы обособлены, что именно нас разделяет, знаем это уже с точностью до 100-миллионных,

а скоро будем знать это же с 20-ю десятичными знаками. Мне приятно смотреть на них от себя и именно через границу. Иногда, конечно только в уме, у меня появляется какой-то оттенок заносчивости в моем отношении к ним, вполне вероятно, он просвечивает иногда и в моем взгляде: "вот, друзья, как бы говорю я тогда сам в уме, хоть вы и хорошие, а все-таки вы там, за границей, а тут - мы, мы - это мы". Ну как тут не посмотреть на них снисходительно? Иногда мне просто кажется, что весь бы мой интерес к ним совершенно пропал, если бы граница в самом деле исчезла, и тогда, может быть, с этой точки зрения действительно правы те из нас, кто все еще стоит за сохранение границы, в ее старом виде, ибо тут речь идет не столько о границе самой по себе, сколько о нашем внимательном и уважительном отношении к ним. Вообще, личный мой интерес, так сказать, эгоизм, стремится, как я замечаю, возобладать во мне за последнее время. Чувствуя всю приятность только что названных теплых мурашек, я думаю иногда с неприятным содроганием и холодком в том же самом месте спины, что и этих теплых мурашек может не быть, когда границу отменят, и я уже не смогу, ориентируясь на нее, опираться спиной на всех наших, на всех нас остальных, - действительно, разве сохранятся тогда даже такие понятия, как "мы" и "они" и "наше" и "ваше"?!

Но, право, все это дело далекого будущего. Может быть, я скоро умру и тогда вообще ничего не увижу: тогда уж бояться мне, кажется, нечего. Но, с другой стороны, я думаю при этом о внуке! Каково-то будет ему? Да, у меня есть внук. Сейчас он еще сосунок, лет через пять он будет ходить смотреть на границу, как в зоопарк, и для него это будет игра, но что он почувствует в старости, какие мурашки тогда побегут у него по спине, на что он будет тогда ориентироваться, как найдет он своих? Эти вопросы во многом чересчур общего и всеобъемлющего, теоретического характера. Они касаются всех, и всем надо думать о них. Мне одному они даже, может быть, вообще не под силу. Но и, конечно, касаясь внука, они касаются также меня. Я стар, повторяю, и мои силы слабеют. Время уже на исходе, и вообще все для меня идет постепенно на убыль. Я давно уже думал, что буду ни к чему не способен на старости лет. Но тут, поделившись этими сомнениями с некоторыми из своих старых и такого же возраста - еще детских - приятелей, я вдруг совсем неожиданно нашел среди них самый живой и непосредственный отклик. Конечно, и они почти старики. Может быть, даже все вместе мы уже ни на что не способны. Но у них тоже есть свои внуки. Как вы думаете, что мы делаем в наше свободное время? Обсудив все хорошенько, мы собираемся вечерами в близлежащем лесу и там, выбрав более или менее подходящее место, используя для этого пересохшее русло маленькой речки и наполовину заросший овраг, там, своими сохнувшими и кривыми руками мы роем границу! Конечно, о точности в стомиллионные там не может быть речи. Наши руки дрожат, а глаза уже сильно косят и вообще плохо видят. Да и дело пока ведется совершенно кустарно. Но для начала ведь все эти мелочи - точность, кустарщина - совершенно неважны. Мы не надеемся на какой-нибудь случай или там провидение. Мы оцениваем факты реально и вполне понимаем, что совсем уже скоро ту большую границу, центр всей нашей прежней жизни, отме-

нят, и действительно, границ нигде и никогда больше совершенно не будет. То есть так говорят и так многие думают, что их больше не будет! Но мы уже пожилы, и у всех нас есть внуки: нам надо позаботиться и постараться для наших внуков. Когда отменят все большие границы, не появится ли у моего внука тоска хотя бы вот по такой, пусть маленькой и самодельной, пусть не для всех пока еще обязательной, но все же границе? Я так и думаю, я работаю сейчас для него. Пусть, при теперешних мнениях, которые сейчас повсеместно господствуют и которые естественно должны сопровождать такое большое событие, как отмену границы, - пусть нам придется сейчас все делать тайком, прятаться вечером и скрывать наше дело даже от своих сыновей. Пусть-ка они, все эти теперешние, проживут без границы! Пусть они так будут умны, что поверят историкам, которые их научили, что когда-то давно не было границ вообще. Пусть они, молодые, решатся на то, на что даже мы, старики, прожив уже почти всю свою жизнь, так и не решились осмелиться, хотя разговоры об этом велись поколениями. Пусть-ка они испытают все на себе. Не захочется ли им тогда вдруг в какой-то момент очутиться перед какой угодно границей? Приткнуться к ней и стоять, устремив в непонятную даль свои печальные и счастливые взоры? Не захочется ли им ощутить сзади себя, за своей спиной, всех своих, и наконец - да, черт, это конечно же мелочь, но ведь живому человеку нельзя обойтись и без нее - не захочется ли им, повторяю, хотя бы раз испытать, как это бывает и что это такое, когда теплые мурашки бегут у тебя по спине, когда ты опираешься на всех остальных, - пусть это им не будет известно самим, но ведь прочтут же они об этом здесь у меня, и если не очень поверят, то пускай заинтересуются только хотя бы из одной любознательности...

Конечно, я думаю, - я совершенно уверен - рано или поздно все это так и случится. И тогда пригодится наша кустарная река и канава. Новое течение сейчас очень сильно, и границу, конечно, отменят. Но не пожалеют ли они скоро об этом? И не жалеют ли они об этом втайне сейчас, только молчат, подчиняясь течению, так же, как жалели тогда, приводя нас, мальчишек, к границе и стыдясь перед нами, глядя, как мы этим счастливы, ибо они-то тогда уже знали доподлинно, что граница скоро исчезнет, что она доживает свой век. Но полно, знали ли они они действительно всё? Мои ворчливые старики надо мной добродушно подсмеиваются и говорят, что через полгода река разольется и смоеет все наши работы. Да, она разольется, но она только продолжит и расширит начатую, только начатую нами границу. Не жалкие четыре-пять человек, а тысячи тогда подойдут под нее. Возможно, что кустарное дело тогда станет всеобщим. Оно всем пригодится: только подойди, погляди, почувствуй лишь сам, что тебе надо, - и если ты понял, что тебе надо границу, то вот тебе и граница, вот, она быть может не такая уж точная, еще не слишком отмеченная и усовершенствованная, но это все же, какая ни есть, а граница, и это я сделал ее, ну, нет, не сделал, но во всяком случае видел, что ее надо делать, и - начал; если не сделал, то - знал.

Право, иной в этом месте может вдруг усмехнуться: вот и вышло, мол, все на чистую воду, вот и ясно, для чего он все зате-

ял, весь этот разговор о границе и даже свое копанье границы: всё, чтобы - я, чтобы сказать: я - это я, чтобы, вот, мол, про первую большую границу не было известно, кто ее начинал, а про вторую, которую он сейчас со своими приятелями там в лесу начинает, все говорили, что начинал ее - он, для чего он и пишет это письменное тому подтверждение. Я все это, возможно, пойму, но у меня есть другие заботы, которые не дают мне возможности даже ответить как следует на подобные домыслы, если они у кого-нибудь в самом деле возникнут. Я занят совершенно другим. Всего больше меня сейчас мучает только одно: там ли мы роем эту нашу границу? Не слишком ли мы подчинились природным условиям? - этой реке и этому небольшому оврагу? Не мешает ли потом быстро выросший лес, хотя он сейчас молод, признанию и использованию нашей границы. Может быть, надо было начинать где-то вовсе не там, не в лесу, а в каком-нибудь поле (хотя это и повлекло бы с собой массу трудностей) или не в заброшенном месте, опять-таки, совсем не в лесу, а где-нибудь, скажем, в большом или хотя бы маленьком городе? У нас были споры между собой и об этом, но я, в свое время, пользуясь своей волей, авторитетом, характером, настоял на своем и всех себе подчинил - если не всех убедил. Но самое большое сомнение я всегда держу при себе и даже здесь его опасаясь высказывать. Я колеблюсь, боюсь, но все же, ладно, скажу. А что, иногда думаю я, если вся эта наша работа и все мои мысли есть только плод моей начинающейся старческой мнительности: что если моему внуку понадобится совсем другая граница, то есть ему самому захочется установить себе границу? Ведь я не знаю, что ему будет надо тогда: я исхожу лишь из общих принципов и положений, которых в каждом конкретном случае может оказаться совсем недостаточно может быть, все дело в том, что я рою ее сейчас все-таки не для него, а для себя: старый, слепой, умирающий, все еще инстинктивно тянусь и копаюсь, все лишь ради себя, все еще стремлюсь сохранить себе жизнь, потому и границу, как мою радость от жизни, навлекая этим на себя даже в этом конце своей жизни, может быть, еще один ряд больших и серьезных несчастий, ибо сейчас, когда все повсеместно стоят за отмену границы, что могут они, все наши, подумать сейчас про меня и как они ко мне отнесутся, когда в один прекрасный момент все вдруг сразу узнают - они, с которыми я так един, даже сейчас, копая тайком от них свою границу, даже сейчас с ними един, хотя уже и через эту свою последнюю в моей жизни границу, ибо не могу обойтись тут без них, ибо надо ведь мне от кого-то да отделиться, и значит, приходится использовать их, всех моих, отделяться от них?

Мне странно подумать об этом. Я закрываю глаза. При этом мне становится тягостней вдвойне: мне сразу начинают представляться картины, что меня ждет, если они в самом деле об этом узнают, - закон у нас справедлив, но и строг, а главное, наш закон справедлив тем, что он всегда судит в пользу большинства. Но иногда, посреди этой последней тяжелой работы и тяжелых видений, продолжая копать и забываясь в труде, я иногда улыбаюсь: право, я постепенно слабею, и мне, очевидно, кое-что уже начинает мерещиться, ибо иначе я не могу объяснить то, что раз за разом моя улыбка вызывается вдруг одной и той же картиной, которую я

представляю себе: я, совсем еще мальчик, пускай в старшей группе, стою на той большой старой границе, и копаю ее, - конечно, я копаю сейчас здесь, вот тут, - но как я рад в этом своем последнем и счастливом видении, что я могу там стоять и копать, как я жалею, что я тогда не копал, потому что нам взрослые еще не разрешали копать, да и вообще границу нельзя было копать, всегда ее можно было лишь измерять, - как я понимаю сейчас, что значит всю жизнь посвятить занятиям со своей границей: лелеять ее, измерять с бесконечными точностями, подводить к ней детей, чтобы их там воспитывать, отмечать ее праздники, трудиться над нею, наконец, из-за нее воевать, пытаюсь ее изменить, и умирать с чистой совестью, - да, как это прекрасно: умереть на своей границе, делая что-то ради нее, пусть все равно - трудясь или воюя...

Я молю теперь только Бога: чтобы он послал мне такую именно смерть в этом моем последнем уединенном лесу.

Алексей Любегин  
**ДВА РАССКАЗА**

## **ТЕМНАЯ КРЕСТЬЯНОЧКА**

В холодном станционном зале лежит на лавке забытый кем-то мешок. Хозяин мешка и не думает придти за ним. И мешок оживает.

Он сползает с лавки, поеживается и превращается в пожилую пьяную бабу.

- Дайте, миленькие, хабарик, - хриплый голос женщины тает в пустоте зала. - Как проститутка какая, - рука с вздувшимися венами дотягивается до лежащего на полу грязного хабарика. - Рай! Дай спички! Рай!

Рай не откликается. Где он - неизвестно. И, порывшись в карманах фуфайки, баба отыскивает спичку и бережно чиркает о стекло. Огонек освещает ее поношенное лицо, как перо жар-птицы.

- Эх, курева мало, - вздохнула женщина, обшаривая неуклюжими глазами плиточный пол:

Все в савхозе бестолковы,  
кони ходят без подковы,  
штыбы лошадь подковать,  
нады плотника позвать...

- Эх, некому людей раздраконить... - Женщина споткнулась взглядом о меня, прислушалась к холодной тишине станционного зала и пробормотала раздумчиво: - Как бы не обвиноватили. За пьянку припают. В Усть-Могилевск сошлют...

Баба повернулась к стене и стала мешком, забытым хозяином. Но тут она захохла, встала, перебралась на другую лавку, не улежала, перебралась поближе к огромной круглой печке, сунула руку в печку, радостно ойкнула, попыхтела найденным хабариком и, похлопав мужицкими ладошками, села на лавку.

- Ох, и дадут мне шороху, - подмигнула она мне. - Все люди робочи, а я на лавочке валяюся.

Она поискала взглядом под валенками и поспешно нагнулась:

- Хо! Еще три хабарика!

- Спички-то нужны? - послышалось из билетного окошечка.

- Рай? - вопросительно откликнулась баба. - Райка, шпала гнилая?

Рай ответил матом в три наката.

- Я ни онного класса не кончивши, дак меня хорошо омманывать да матюгать. - Женщина утопила лицо в дыме и пропела:

Сижу на полустаночки  
в ды-ы-ря-я-вам палу-шалочки-и,  
а мимо прале-тают!.. паез-да-а-а...  
Там люди умные сидят,  
ани а жизни гаварят,  
ах, где маи невинные гада?..

- Антиресно слушать? -обратилась она ко мне. - А спичек пожалел. Тьфу на тебя!

А у нас в савхозе свету,  
свету нету по три дни,  
как жо, милай, на беседу  
доберетесь до мени?

- Ты бы про себя спела бы, про пьяницу, - посоветовало окошечко.

- Иди-ко ты, шестерка, сопи в две дырочки! - с достоинством ответила песельница, прижимаясь к холодной печке. - А и что? - задумчиво произнесла она. - Критика есть критика. Буду на себя тень наводить. Я ни онного класса не кончивши - раз. Сын у мян белабилетник - в первом классе стенки подпирает - два. Дочка с мужем - поссоривши - три. Какой черт жениться было? Правильно я думаю? - Глаза бабы уставились в мои глаза. - Я што? Пьяна на вакзале. Так и дилектор пьет. Учители пьют. Я на телигенцию равняюсь...

Баба достала из кармана фуфайки флакон тройного одеколона, понюхала, глотнула...

- Я тебя не видала - и ты меня не видал, - отступая к двери и засовывая флакон в карман, пробормотала она:

Куплю Ленина патрет,  
залатую рамачку,  
вывял он миня на свет,  
тем-ную кресть-яначку-у-у...



# НИЧЕЙНАЯ НЕВЕСТА

С преснушным лицом, в тугой фуфайке на дородном теле, черных валенках сидит она в жарко натопленной избе на скрипучем диване. Она сидит как идол, как чья-то месть: дома ее ожидает одиночество и холодная постель. Поэтому она не спешит уходить из гостей. Мать-покойница - царствие ей небесное с мягкими булками! - так и не успела выдать ее за долгожданного ею офицера из страны Мурлындии, где молочные реки и клубничные берега.

- Самолет давеча видела, - говорит ничейная невеста густым, в нос, голосом. - Летит - дрожжи кидает. Летит - и кидает. - И она хихикает коротко и беззащитно, глядя на печку, с которой свешивается угрюмая лохматая голова парня. - Слышь-ко! - кричит она. - К тебе скоро придут!

- Кто? - полуравнодушно, полузаинтересованно спрашивает парень, приподымая голову.

- Один - с топором, четверо с носилками!

- Скорей бы на кладбище, - вздыхает парень. - Доживу до лета, а там - вены перережу...

Мать парня, сухонькая, издерганная жизнью женщина в черном, сидит возле гостыи, вяжет льняной половик. Обо всем уже переговорено, и говорить-то нечего и не к чему: все в деревне живут как на ладошке. Но мать парня в тысячный раз жалуется:

- Нету путнёва слова. Скоко я ему бутылок дала - все матитца. И в клуб не затащишь...

- А ты не давай, раз падла ты ему, - похихикивает ничейная невеста. И лохматый парень, скрываясь за занавеской, вторит ее смеху.

- Ой, вот пара была бы, - смеется мать парня, и крючки в ее руках весело подпрыгивают и замирают. - С вами не соскучится. - И другим, изболевшим голосом: - Скоко одних петухов скормила... То картошку подавай, то яйца. Я ведь и яичка не видала. Думает, что евоны деньги извожу. Поросенка закололи - все денежки себе. А кормила-то я! А на одни папиросы надо скоко! И без рыбы никогда не бывал. Ведь есть у людей дети. А этот как рот откроет - сразу лаять. Ну, что с им делать? - спрашивает она свое черное печальное отражение в зеркальном шкафу. - Батьку схоронили - силу почуял, живет как хочет. И ведь ПТУ кончил. На маляра выучился. Это я неграмотна. С семи лет по людям, у кулака в нянькаф...

- Дурью маитцы, - почти поет невеста, сцепив пухлые, в ямочках руки на валенках. - Тепло-то! - Она вкусно жмурится и расстегивает ворот фуфайки, обнажая сиротливую белую шею. - Как в Китае!

- Дикалон пьет. Это самоё вредноё. Хоть бы пил одно, а то пьет разну заразу... Ой, что я говорю! Ведь пить-то вроде перестал. На машину копит...

- Я хочу уехать отсюда навсегда. Потому что на земле собаки, завистники живут. Чуть что - ой, у меня нет мотоцикла, а у него есть! Друг друга режут, топят, убивают!

- Ну, пошли, поехали брат с сестрой, - фыркает невеста, скосив круглый куриный глаз на мать парня. - Какой круглолицой он у тебя!

- Все вы сдохнете в нищете! - грузно спрыгивая с печки в белой грязной рубахе навывпуск, в подвернутых серых штанах, прокричал парень. - Тыщу лет Россию грабили, а теперь она себя грабит!..

- В ПТУ учился - то джемпер у него возьмут, то рубаху. Комendantша сказывала: деньги в матрас зашивал. А его за это - с третьего этажа... Может, и тронулось в нем чево?..

- Как были неумытые - так и остались! - Парень злобно чиркнул спичку о почетную грамоту, прибитую в простенке на четыре гвоздика, и цапнул со стола мятую папиросу. - Ненавижу Россию!

- Ты не Россию - ты меня ненавидишь! - сказала мать, внезапно потемнев лицом. - Чем орать, ты бы письмо брату написал. А то ведь поди знай, как он там, в училище-то? Ты хоть одну копейку ему послал? А?

Парень задумчиво посмотрел на почетную грамоту, выданную ему за ударную работу на свинарнике, и отогнал тяжелой рукой папиросный дым от лица.

- Встретились три друга, - начал он, не отводя взгляда от почетной грамоты, - грузин, немец и русский. Грузин говорит: "Я для своего брата купил бы машину". Немец: "Я бы для своего брата... подарил бы завод". А русский: "Я бы своему брату построил бы дом в решетках... В решетках!" - хищно проскрежетав зубами, выкрикнул парень.

- Женитца тебе пора, - подсказала невеста, зачарованно глядя на его крупные босые ноги.

- Любовь - это стремление двух дураков сделать третьего, - отмахнулся парень и прошлепал к раскаленной "буржуйке", сел на перевернутый табурет. - Есть такое явление: онанизм, - сказал он, почесывая бакенбарды. - Никак не остановиться. Нет спасения. А у тебя что нового? - спросил он, обращаясь к ничейной невесте.

- Что нового? Принесла баба голову - пеленок нет. Двенадцать месяцев зима, а остальное - лето. В совхоз новый трактор пришёдцы. Завод "Белоручка"... Черт те что и сбоку бантик, - сообщила густым, в нос, голосом невеста и, переглянувшись с матерью парня, оправила серый шерстяной платок на голове. - Да еще говорят в правлении: на суд тебе скоро...

- Куда? - насторожился парень, поворачивая крупную голову и показывая частые желтоватые зубы.

- С ребенком. Есть грех?

- Ха-ха-ха! - поощрительно хохочет парень. - Ха-ха-ха! - и, заметив что мать тоже улыбается, с кривой гримасой ворчит: - Родила сучка... Родила сучка...

Он с ненавистью скрипит зубами, отворачиваясь к бликам огня, пляшущим возле печки на крашеном им полу.

- Хотел расчет взять, говорят: "Ой, нет, нет." Если я уйду, ихние сыновья и дочки будут под мешками, а они все слабосильные. Раньше один начальник был, а теперь на его месте - двад-

цать. Раньше контора деревянная была, а теперь - каменная. Все конторские крысы в тепле, а работяга на холоду вкалывай!

Он замолкает и ерошит спутанные волосы:

- Всё туфта, - шепчет он через некоторое время. Тревожно задерживает руку на голове и вдруг кричит на всю избу, обращаясь разом и к ничейной невесте и к матери: - Каждый использует власть в своих личных целях! Правильно Лермонтов про немытую Россию писал!

- Про это писать нехорошо. Это не напечатают, - испуганно зашептала мать, и крючки торопливо замелькали в ее руках.

А невеста уже совсем разомлела в тепле и распахивает фуфайку.

- Ну-ко, какая душегрея у тя... - с притворным интересом разглядывает мать карельский орнамент на душегрее.

- Мамка оставила. В приданое, - поясняет невеста, широко зевая.

- Один мужик жил бедно. И пошел к царю. Што, мол, живу бедно, а другие богато? А ты не спи, присматривайся. Ночью встал бедняк, стал присматриваться, кто что делает. И стал богатым. Говорит жене: "Надо отблагодарить за совет". Жена полный мешок гостинцев наложила. Приходит мужик в приемную. А там министр принимает. Оставил мужик мешок в прихожей. И в кабинет: "Передайте гостинцы царю". Вышел министр в прихожую - а мешка и нет. Бедняк говорит: "И у вас, вижу, не спят..."

- Вон чем у тебя головушка забита, - проохала мать, - да так тебе в жисть не жениться!

Разлапистый фикус у морозного окна вздрогнул: так сильно ударил парень по крутому колену.

- Я хотел идти к невесте... - пробормотал парень и швырнул полено в жадное пламя.

Черная кошка на комодке недоуменно подняла голову и замерцала загадочными египетскими глазами, закогтила скатерть.

- Сиди хоть, сиди, - мать махнула рукой на сына. - К невесте... Замужняя, а он - невеста... От запоя лечился - с врачом встретился. За невесту считает...

- Я хотел идти к невесте, - упрямо, не глядя ни на кого, а только в пламя печки, повторил парень. - Я хотел идти к невесте, но из-за обострившейся международной обстановки...-. Он задумался. - Не попал. Зачем попадать? Невольно вспомнишь песню: "И после первой атомной атаки сквозь дырку в черепе травинка прорастет".

- Сиди хоть, сиди, - испуганно взметнулась с дивана мать. - Не плети ты лес и ниву на ночь глядя...

Ничейная невеста с молчаливым преснушным лицом запахнулась потеплей и безмолвно хлопнула дверь, обдав парня морозным облаком.

Фикус у морозного окна снова вздрогнул. Но черная кошка даже не приподняла головы, не сводя глаз с поникшего возле печки парня.

Молодой прозаик Алексей Любегин живет в Ленинграде.

# ПАМЯТИ БОРИСА ВАХТИНА

12 ноября 1981 года в Ленинграде в возрасте 51 года умер от сердечного приступа писатель и ученый-китаевед Борис Борисович Вахтин. Умер, так и не дождавшись выхода в свет написанных им книг. В России писателя Вахтина знали только читатели Сам- и Тамиздата. Ну, и конечно весь штат литературных церберов - в издательствах и журналах, в партаппарате и КГБ.

В юности Вахтин пробовал свои силы во многих областях, профессией избрал китаеведение, защитил кандидатскую диссертацию, написал докторскую (ее защитить уже не дали), но две темы, две сферы всегда оставались главнейшими для него: русская литература и русская история. Волею судеб и та и другая присутствовали в его жизни с детских лет. Мать - известная русская писательница Вера Панова; дед и отец - русские интеллигенты, уничтоженные взбунтовавшейся чернью: один в 1905 году, другой - в терроре 1935-го.

Совсем молодым еще человеком Б. Вахтин был принят в Союз писателей как переводчик китайской поэзии и прозы. Благодаря семейным связям, энергии, эрудиции и способностям он мог бы сделать быструю и успешную карьеру, получить все чины и посты, почести и привилегии, раздаваемые верным служителям советской литературной империи. Вместо этого он начал упорную и непримиримую борьбу с ней, с ее удушающим и мертвящим засильем.

1964 год. Вахтин в зале суда над Бродским - его свидетельская подпись под стенограммой суда, сделанной Фридой Вигдоровой и облетевшей потом весь мир; он же - автор и инициатор многих петиций, организатор кулуарных переговоров, приведших в конце концов к освобождению Бродского из ссылки.

1964 - 1965. Вахтин создает в Ленинграде литературную группу "Горожане" (Б. Вахтин, В. Губин, И. Ефимов, В. Марамзин), обрушивает на издательство "Советский писатель" нечто неслыханное со времен "Серапионовых братьев", нечто возмутительное и недопустимое - коллективный сборник. (Организация! Подрыв!) Сборник издан не был, но на борьбу с ним литературные власти потратили столько времени и сил, что какие-то другие книги, отмеченные талантом и человечностью, смогли проскочить в это время через цензурные рогатки.

Где-то в те же годы Б. Вахтин принимает участие в нашумевшей телепередаче "Русский язык". Несколько ученых и писателей на экране спокойно обсуждали некоторые огорчительные тенденции в развитии русского языка. Кажется, ничего особенно крамольного не было сказано, если не считать оброненного замечания о том, что, дескать, даже монголы не переименовывали завоеванные русские города, как это любят делать нынче. Тем не менее за передачу эту все руководство Ленинградской телестудии во главе с директором было снято со своих постов.

1966-1967. Б. Вахтин в зале суда над Синявским и Даниэлем, сделанные им записи используются в выпусках "Хроники текущих событий". В его квартире собирают подписи под письмом в

защиту осужденных, здесь же узнают последние новости, обмениваются пачками тонких машинописных листов - самиздатскими публикациями.

Высокий, спокойный, с дружелюбной и мягкой манерой общения, он обладал притягательной силой, которая помогала ему подчинять своему влиянию даже людей, далеких от него по взглядам и убеждениям. Он знал, как пользоваться ею, умел очень эффективно влиять на ход закулисной борьбы в писательских организациях и принял самое активное участие в перевыборных кампаниях, завершившихся скандальным провалом обкомовских кандидатов на пост первого секретаря Ленинградского отделения Союза писателей - сначала Александра Прокофьева, а несколько лет спустя - Олега Шестинского.

Во время процесса В. Марамзина (1975) он вызвал такое озлобление властей упорным отказом от дачи показаний, что суд вынес специальное постановление в его адрес, тут же пересланное по месту его работы - в Институт народов Востока.

С этого момента перед Вахтиным закрывается даже возможность заниматься научной работой. Докторскую диссертацию не утверждают к защите, выезд на конференции запрещают, статьи не печатают. И тогда, чувствуя, что терять ему уже нечего, он решается на то, чему долго противился, что долгие годы считал неверным для себя путем: начал печататься за границей.

Его рассказы и повести публикуются в журналах "Время и мы", "Эхо", повесть "Дублинка" включена в альманах "Метрополь" (1978), издательство АРДИС выпускает первый прозаический сборник Бориса Вахтина "Две повести". Начинается также подготовка к печати социально-исторических и религиозных трактатов Вахтина.

Но этих своих книг он уже не увидит.

Как Владимир Высоцкий, как Юрий Трифонов, Борис Вахтин умер в расцвете творческих сил, умер недопустимо молодым. Причиной смерти будет объявлен сердечный приступ (первый инфаркт он перенес несколько лет назад), но никто в России публично не сможет сказать, почему такой болью сжималось его сердце. Лишь близкие друзья будут знать, что произошло на самом деле: он хотел другой судьбы для своей страны, он все силы отдавал на попытки возрождения попираемой русской культуры и не добившись, не дождавшись, умер от тоски.

Но как это часто бывает в печальной истории русской литературы нашего века: уходит из жизни человек - приходит в жизнь, является перед читателем новый писатель. Талантливый и яркий прозаик Борис Вахтин.

Игорь Ефимов  
15 ноября 1981 года

## Белла Улановская

# АЛЬБИНОСЫ

Еще не сняты сетки от комаров в форточках, еще висят последние яблоки, еще не вскопан огород, а мы достаем лыжи и смело идем в лес.

Не видно дроздарей, запорошило рябину, затягивается серым льдом озеро. Свеженький белячок проковылял по первопутку. На просеке встретилась захудалая гончарка, приняла сахар, чуть прикусила в шутку рукав и пошла и пошла, снова искать потерявшийся у канавы с водой след.

По болотам еще не пройти - под снегом и тонким льдом вода.

Гончарка, дроздарь - из разговоров вслух сама с собой. Дроздарь - это из прошлых охот - висели на рябине - часами выцеливала - этого, нет, вон того, или подождать, когда вместе сойдутся, тогда сразу двух, медленно поднимаю ствол - все улетели, последние испуганно проносятся над прудом, и нет стаи.

Еще вчера здесь верещали дрозды, остервенело набрасывались на пышные гроздья. Раскачивались под жирными тушками тонкие стволы, ломались ветки, сыпались ягоды; сейчас здесь пусто и тихо, на земле беспомощно торчат припорошенные снегом черные птичьи лапки обглоданных кистей рябины, кое-где уцелели на них сморщенные ягоды.

Березы еще не облетели - что за яркое и редкое время!

Хорошо выйти утром с ружьем на плече - слышишь не только все вокруг, но и видишь себя со стороны - кажется, неплохо, все ладно пригнано, все справно и тепло.

Д.Е. как-то передавал воспоминания Ахматовой о разговоре с Блоком. Блок сказал: "Вы пишете стихи, как будто говорите с женщиной, а нужно обращаться к Богу".

мужчиной, а нужно обращаться к Богу<sup>11</sup>.

Так вот, я думаю, что не стоит по любому поводу обращаться к Богу, даже со стихами. Хотя у стихов больше, чем у прозы, оснований сказать самое главное о душе и о Боге.

Проза должна притворяться интересом к действительности, обрастать событийностью, часто будто бы и ничтожной, слишком конкретной; в прозе есть кладовые, лестницы, сараи, погреба, задвижки, замки, печки, поленницы, топоры, скворечники, заборы, мышеловки, коты, собачьи будки, возможно даже коровы; парадные комнаты, где зимой не топят, и душные спальни, где запираются хозяева в холодное время.

Что тут самое главное - сени, где стоит кадушка мерзлой капусты, или вид из окошка в сад, на речку, плотину и заречные дали; может, приход соседки с утренней болтовней или субботняя баня, куда привели мыть девяностолетнюю старуху на третьем паре, после всех, когда на запотевшем окошке уже тускло горит керосиновая лампа, и шестидесятилетняя дочь моет свою маму и даже наддает парку.

- Доча, - стонет старуха, - хватит.

Известно сравнение стихов со скульптурой, а прозы с архитектурой. Возможно, это так, если иметь в виду многочисленность построек и обилие подсобных помещений, где утрачивается представление об артистизме автора (так себе мастер, не гнушается баней) - да и стоит ли заниматься всем этим, где главные, где второстепенные главы, не слишком ли много коридоров и проходных комнат - когда же начнется главное - уж не выпивка ли после бани.

Если правда насчет архитектуры - то сколько равномерно распределенных усилий нужно, это не то, что слепить зайчика из пластилина.

Илья-Пророк льду натолок - похолодела вода в озерах, задули осенние ветры, залаяли в ночной темноте собаки. Давно вылетели из скворечников скворцы, собрались в большие стаи, кочуют по полям и садам, то рассядутся умозрительными прямыми на проводах, то закипят невиданными объемами в воздухе - каждый мечется в беспорядке и стая движется в неизменном направлении. Безумство охватывает молодую собаку - она летит по полям, зарывается в овсы, выпрыгивает, чтобы оглядеться, и в бессилии лает. Уже совсем по-осеннему стрекочут дрозды-рябинники, скоро уберут хлеба, вырастут в непривычных местах скирды, образуя новые пейзажи на многие, многие месяцы, и залетают стаи дроздов, заманивая ленивого малоудачливого охотника, пригревшегося в желтых ометах последнего солнышка.

После ясных звездных ночей выпадают заморозки. Если выйти за ворота на рассвете - можно увидеть, как сияет на солнце поседевшая трава на огромных пространствах полей, плавно, как заводи огромного озера, обтекающих леса.

Если пойти по крайкам этих полей, то за новым мысом лесного массива открываются новые заливы, а перелески и отдельные, особенно разросшиеся на просторе деревья (чету белеющих берез)

можно сравнить с полуостровами и островами все того же огромного озера.

Уже давно-давно, ещё почти с крыльца слышно токованье тетеревов. Это известные среди охотников ложные осенние тока - птицы, обманутые утренними морозами, напоминающими весну, начинают бормотать в сжатых полях. Льетса, журчит бесконечная песня.

Изморозь распространяется по полям полосами, вдруг начинаешь замечать, что кое-где ее уже нет - трава высохла на солнце, а сияющая седина причудливо расползлась по низинам.

Затарактел вдали трактор - теперь это уже на весь день - начинается работа ровно с того места, где вчера прервана, растет распаханная чернота, сужаются тетеревиные хлебные кормежки.

На одинокой березе сидит тетерев и глядит на апельсиновый трактор, равномерно разворачивающийся на новую и новую полосу.

Утро кончается. Пора возвращаться.

- Ну что, убила какую-нибудь птешку? Ставь сапоги на печку да садись чай пить. Самовар готов.

Осенний паучок. Однако главное вычленилось - вот оно вытягивалось из жирного паучьего брюшка, вот выкатывалось прозрачной невнятицей и она, застывала, продолжаясь, а как известно, то, что превращается из мягкого само из себя в определенное, быстро густеющее, - потом застывает, делается несмотря на тонкость - жестким, вычленяется в свою форму - и вот оно нечто, определенность, давность. Пробежим снова по всем этим тонким ходам и жемчужным переходам, перечитаем путаную прочность.

Теперь можно и назад - быстро-быстро всеми ножками, вот это место, где мы закрепились - к дереву, к веточке, к сучочку, к корешкам - и теперь: шварк к чертовой матери хитиновой челюстью в месте прикрепления - и вот мы летим, нас поднимает все выше и выше, юго-восточный ветер течет над лесом, над полем, над рекой, переливается на солнце жемчужная нить, качается на ее конце невесомый паучок.

К середине октября у нас установилась сибирская бесснежная зима. На давно замерзший пруд вышел сосед учить детей кататься на коньках. Целый день кормится в убранном овсяном поле огромная стая голубей, плеснет сизым, разом взлетев в синеву, и снова успокоенно опускается на прежнее место.

По утрам я выхожу из дому, чтобы успеть на электричку 8.56, спускаюсь с Румболовской горы и не узнаю нашей пасмурной чухонской местности.

Сухая безоблачность установилась давно в этом, теперь незнакомом поселке, где все сыты, богаты, живут хорошо, носят соболиные шапки, а вот у них и автобусная остановка.

Ледяной ветер несет сухой колючий песок по посветлевшей от мороза обнаженной земле, "хакасский дождичек", как говорят на Туранском плоскогорье; немного снега сохранилось в бороздах по



полям и в тракторных колеях на дорогах, яркая неосыпавшаяся листва примерзла к веткам – прочность, добротность и стабильность.

Могильные комья насквозь промерзшей земли посветлели от холода, звякают листья на дубах.

Затянувшееся предзимье. Завтра выпадет снег, а я так и не спустилась на лед, не пригляделась вниз в глубину, не разогналась на коньках или финских санях.

Черный щенок путается, скользит, запинается на гладких поверхностях. Замолкает пластинка, вступает ветер. Трогается, постепенно раскатывается тяжелая немазанная телега от воскресенья к воскресенью.

Утром спускалась за хлебом, оставив открытой балконную дверь. Вернувшись, нашла свежий помет синицы прямо на столе. Появились первые лыжники. Идет снег. Конец октября.

Ездила лунной ночью по полю. Пес лаял в сторону леса. Сначала думала – белка, потом поняла – соседи бродят по лесу, выбирая елки. Посидела у омета, подремала на морозе. Хорошо заснуть до утра – не страшно и не холодно. Пес вылизывает лапу с хрупаньем – как будто ест сахар.

Двадцатиградусные морозы. Равномерно ясные ночи. Странно засыпать в этой холодной комнате на краю ледяных пространств. За окном поля, потом лес, и так до Ладожского озера, а вверху тоже холод. Остро горят холодным светом звезды. И вот шевелится под грудой согревающего тепла живой комок, сворачивается плотнее, поджимает ноги, занимая все меньше места, греет руки между колен.

Откуда в нем тепло. Что-то есть противоестественное в том, что он противостоит всему окружающему своей температурой, ведь простыня, и подушка, и утюг, и тарелка, и стул, и клетчатая тетрадь, и поле, и дерево, и цветок в горшке – все холодное. И только ты один не остываешь. Придет время, и ты сравняешься со всем остывшим.

Жду ли я гостей. Вот окно с многократно описанным видом, вот собака, вот грибки и жареная свинина с мороза под водочку, вот тетеревиная лунка с желтым пометом – как финиковая косточка, вот лохматая черная дворняга, справно бегущая за лыжами.

Вот что я пишу, что ем, где и с кем катаюсь. Вот письма, которые получаю. Как хорошо. Изучайте на здоровье. Если вы не приехали – вы думаете, мне скучно? Просто жалко, что вы там пропадаете. Даже, может, и к лучшему, что вы все не приехали.

Вчера днем шла мимо скотного. В ушанке, штанах, валенках. Увязались собаки: Мухтар, Муха с двумя щенками, да Зорьку спустила впервые с поводка. Проходившие мимо доярки шарахнулись от этой своры: "Мальчик, убери своих собак".

Чистейший голос из их прозрачных ручьев и запасенного на лето озерного рубленого льда. Перестает играть пластинка - тогда вступает северо-восточный ветер, поднявшийся к ночи.

Что мне сказать об этом лучшем на свете вечере? Посреди комнаты неподвижно стоит Зорька. В углах уже неразборчивые сумерки. За окнами усиливающийся к ночи мороз. Елки за полем, покрытые выпавшим с утра снегом, как-то особенно окрашенные на закате, а через четверть часа пришлось зажечь лампу, уже все из розового стало синим. Еще не совсем стемнело, еще белеют поля, но огни дальних деревень Романовки, Угловки, Корнево уже утратили свою таинственность.

Как хороши старые деревья в парке на зеленом еще небе. Кипит картошка, греются щи, Зорька то и дело подбегает к двери.

Февральские ясные ночи, пустая голова, дворняжка потягивается, вылезая из будки.

Неужели жадность, боязнь пропустить? Вот что меня иссушило и погубит.

Надо дойти до того поворота и постоять вон там - когда еще выпадет такая многозвездная ночь. Пес то там, то здесь образует подозрительные сгустки неправдоподобной темноты. Всполошил цепных псов, забежал в дверь чужого дома, выскочил, сбегал в лес, свернул к свинарнику, пропал в поле.

Времена года. Эта жалкая старушонка, которую снисходительно слушает он, Бог, - в его руках жизнь; он даже не садится сам и не предлагает сесть всему этому рою скорбящих, которые шелесят вокруг него, терпеливо выжидая паузу в разговоре, чтобы поймать его поворот головы, чтобы задать вопрос; но пауза эта была ложно понята, он уже не смотрит на вас - он продолжает прерванную мысль. Заложивший руки назад и упирающийся ими в стену - он кажется зажатым кольцом скорбящих.

Но как упруго упирается он в стену, как смотрит поверх голов, - еще минута, он оттолкнется и уйдет, и тем плотнее кольцо перед ним, тем жаднее впиваются в него взоры, тем напряженнее выжидаются паузы, - чтобы вступить, шагнуть на то место, которое тебе только что уступили - прямо перед ним.

Сетки, кошелки опрокидываются в алюминиевые миски, но фрукты на столах не являют собой картины изобилия. Вот одна порция: три груши, ветка винограда, батон - наклейка с фамилией на миске, жалкая опись в журнале, счет нищеты, сквозящей во всем.

- Острый психоз, острый психоз, - говорит он старушонке, - приходите в пятницу, приносите передачу.

- Разрешите увидеть сегодня, - повторяет она, но он уже раздвинул кольцо, двинулся вон, она забегает вперед: с загорода приехала, специально, - но он уже вышел из кольца, он уже направляется куда-то по важным своим делам, он идет вершить; но старушонка все еще здесь, она уже отстала, "доктор, доктор", а

он жестко, где его безразличный взгляд сквозь толпу, где его как будто внимательно-снисходительное выслушивание, как будто даже сочувствие, "Я СКАЗАЛ НЕЛЬЗЯ", - отрезает он и направляется к группе высокопоставленных посетителей, разговор с которыми он припас на конец, сейчас он поведет их к себе в кабинет, где они поговорят, как просвещенные люди.

Зал опустел.

Натертый красной мастикой паркет, двери отделений, запертые на ключ, сводчатые потолки, стандартные общепитовские стулья, четыре картины на стенах - одного формата в одинаковых рамах - времена года. Что это? Для чего эти безжизненные пейзажи, глядя на которые все равно нельзя представить ни зимы, ни осени - того, что где-то есть настоящая жизнь с ветром, холодом, свободой.

Скорее всего эти картины, повешенные сюда с благими воспитательными целями, дают понять, что то, что происходит здесь, в этой бывшей женской тюрьме, не ограничено этим сводчатым залом, этим красным кирпичным домом с узкими, круглыми в верхней части окнами, а стремится распространиться и вовне, потому что эта хрестоматийная зима на тусклой картине дышит такой же безжизненностью, пространство ее так же замкнуто, как и здесь. И хотя баба с коромыслом, спускающаяся к реке, должна олицетворять собой здоровую картину сельской жизни на бодрящем воздухе, холмы за рекой должны звать в поля, - ясно понимаешь, что то, что происходит в этом доме, соотносится с изображаемым, родственно ему. И даже если предположить, что жизнь, изображенная живописцем, действительно где-то существует, то как оскорбительно признать это!

Как смеет радио говорить как ни в чем не бывало, как смеет жить своей обычной жизнью парадный город - когда здесь скорбь униженно просит помощи, напряженно ловит каждое слово своих богов, когда здесь течет жизнь недолжная, немислимая.

Как смеет эта баба спускаться под гору со своими ведрами, покрасневшись на морозе, наклоняться к проруби, разбивать затянувшуюся за ночь лунку, отодвигая шугу, черпать ведром дымящуюся воду; потом, слегка надсаживаясь, напрягая зад, привычно поддевать плечом коромысло и плавно, стараясь не расплескать полные ведра, но все же чуть брызгая тяжелой водой на валенки, ситцевую юбку и подол старой плюшевой жакетки, тяжело подниматься в гору по скользкой тропинке, в особенно опасных местах сворачивая в глубокий свежий снег, ощупывая ногой свои вчерашние следы, уже почти занесенные снегом?

Как поверить во все это здесь, в этом зале без окон?

Ключ в замке щелкнул, и один за другим из палаты выходили люди в теплой одежде, сшитой как ватник, но длинной, в замысловатых ватных капюшонах. Пропустив их вперед и про себя всех пересчитав, молодая сиделка снова закрыла дверь на ключ и, покривив что-то, повела людей на прогулку.

Самая жалобная книга. Тихие жалобы о пронизывающем ветре, сырых башмаках, унылом пейзаже тюремных прогулок.

Перечитала свою паутину. Зацепилась и остановилась. Прекратилось мельканье. Образ эскалатора с сидящей внизу дежурной - сквозь нее течет изменчивая, но и одинаковая скверна. Жадно, не отрываясь она глядит; проводит кого-то взглядом и снова перед ее горизонтом выплывают и исчезают все новые фигуры себе подобных. Охватывает ли ее ужас или она давно растворилась в потоке?

Вот я выплыла на ее горизонте, шагнула на неподвижное, шмыгнула в захлопывающуюся дверь и укатила. Задумывается ли она над безличным существованием себе подобных или только отмечает бросающееся в глаза платье, шляпу, чрезмерно длинное пальто, длинноволосых, чернокожих, пьяных, влюбленных?

Изредка на противоположных текущих лестницах замирает возглас узнавания: Эй!

Вот оно, наше имя, мы всегда готовы сделать шаг вперед, вот почему иногда нам слышится какой-то зов, но это лишь перерасход, избыток ожидания; выкликать нас будут поодиночке, брать ли вещи, нет, личных вещей при себе не иметь.

Пока тот оглядывается, тоже узнает, его выносит из поля зрения - улыбка, взмах руки - разъехались, нету, снова каменеют лица. Изъят и узнан, помнит ли он о себе? Кажется, он только что женился. Он любит сладкое. Как он отыскивает свое пальто. Только по номерку. Он занимается чем-то. Бывают очень илистые озера - в них мрет рыба; этим явлением он и занимается. Где-то около озера он нашел себе жену. Она тоже занимается дыханием рыб. Про свой предмет занятий они, конечно, помнят. Каждый знает, куда едет и к какому часу нужно успеть, что надо делать со своим явлением действительности и где лежит его подушка. Счастливы ли они?

Выспались, сыты, не замерзли, хотят ли заниматься отведенным им явлением действительности. Несутся километры кабеля в тоннеле за окном, мелькают номера тубинговых колец, окна, за которыми кембрийские толщи и немые лица, не дай Бог натолкнуться на чьи-нибудь глаза - жадное, но и трусливое рассматривание себе подобных. Не дай Бог ездить каждое утро в метро. Как мы все еще не растерялись? (Я и себя-то забыла, а вы говорите - вас).

Самое дурацкое заключается в том, что когда я вырастаю перед неподвижной девой (подземные и сверхурочные), я чувствую превосходство как представитель если не живой жизни, то хотя бы движения. Она же, если стала немного философом - недаром проводит она свои дни в роще у прохладного ручья, видит всех нас, спешащих бессмысленных муравьев с бесполезной ношей.

Она достает бархатный шнур, накидывает его на медные подставки, и поток перекрыт. Некоторое время дно бежит пустое, потом его останавливают и запускают в другую сторону. Почти не сгибая колен, вниз бегут первые подростки.

Для дальнейшего и озверейшего.

Не мешайте сосредоточиться. В час, когда вечерело и снег за окнами посинел, резко выпятив склоны сугробов, которые вместе с проложенными лыжнями и узкими тропинками вдруг побелели

по сравнению с густеющими сумерками снежной плоскости, подойди к окну.

Крики детей по-весеннему доносятся из открытой форточки, фонари еще не зажглись, и тем ярче и необыденней загорается свет в домах.

Был один из тех дней середины февраля, когда до весны еще далеко, еще должно продолжиться февральское безвременье, метели, глухие рассветы, волчьи свадьбы, заячий приплод.

- Мое время кончилось.

Мое время кончилось, если действительно справедливо то, что для каждого человека есть время года, особенно важное и значительное для него, когда то, что происходит в природе в это время, наиболее полно соответствует его сущности и невнятно указывает на его тайное предназначение. Эти значительные в жизни каждого человека дни наступают примерно в месяц его рождения.

Когда начались большие морозы и задули сильные северо-восточные ветры (вот наконец началось), - казалось, что это еще только начало, что главное еще впереди.

Но не разгулялось, впереди проглянула, переломила весна и вывела из ожидаемых вьюг по трое суток и волчьего воя в непроходимых чащах.

Переломила весна, ненужно облегчила упорное напряжение на мрачном ожидании следующего, более крепкого, чем предыдущий, порыва ветра, сняла угрюмую сосредоточенность на важном (погодите, сейчас настанет) - и своей легкомысленной синевою заронила заземленность, непристойную по откровенности, потому что всем известно, как увеличение солнечного света благотворно сказывается на всем живом, и вот уже начинается: в открытую форточку по-весеннему доносились голоса детей - и начнется, потечет все это счастье: мартовский наст и зачерствевшие снега, та-та-та и та-та-та.

А потом: все эти весенние Страстные бульвары и соответственные воробьи, весенние наряды женщин и вытаявший навоз - и пойдут все эти тонкости наблюдений света и цвета, воды и льда, оттаивающей днем и замерзающей к вечеру дороги, эта игра, это упоение зоркостью затянет, отвлечет от главного, отодвинет еще на год упорный, медвежий - лбом в темный угол - вопрос.

В дверь позвонили. На пороге стоял горбун с саквояжем.

- У вас есть крысы и мыши? - спросил он входя. - Если нет, то распишитесь вот здесь. - И он протянул разлинованный от руки лист.

Второй день метель. Снег несет параллельно земле и крышам. Когда налетает ветер - направление ломается. Над крышами тоже свое движение - скорее парообразное, - снег с крыши клубится волнами. У самого стекла, когда смотришь на улицу, можно различить отдельные снежинки.

Все это уже не страшно. Слой туч неплотен, почти проглядывает солнце. Далеко в поле можно различить светлеющие вершинки сугробов - чего не бывает глубокой зимой. Прибавилось птиц. Поредели стога у леса. Когда стемнело, снег был еще синий, задул

такой ветер, что забылось о весенних приметах. В соседях заиграла музыка.

Третий день метель. Ветер не меньше, чем вчера, однако настоящая февральская, беспросветная метель. Тучи тяжелые, плотные, низкие. Воет - лучше не надо.

Легкая весенняя депрессия от недостатка витаминов? От невозможности найти выражение утреннему разгону, пустынным утренним улицам и переполненным лесам - готовым принять - только ответствуй, как, чем? Пока ты томишься у окна, утро набирает силу, грубеет и ничем особенным не кончается: улицы наполняются невыспавшимися людьми, солнце перемещается вокруг теплых стогов; тетерева расселись на березе, замерзшая с вечера лыжня расплзлась мокрой солью; скучный бесконечный день, скоро пойдут с работы вставшие раньше всех, тетерева улягутся в зернистый снег; к ночи, когда края лунок начнут обмерзать, по своему вчерашнему следу на заледеневшей снова лыжне побежит лиса. Ее след тянется вдоль просеки, пересекает озеро и спешит в поле, к стогам, где бегают мыши, оставляя извилистые, как будто на капанные двойными каплями следы.

Между тем во втором часу дня успели выгрузить всю мебель. Решили сначала носить небольшие вещи: корзины, картонные ящики, узелки с посудой. Потом принялись за белоголубой пенал, сервант, шифоньер.

Соседская девочка в малиновой кофте, поправляя грязный плавок, жадно глядела на дорогие вещи.

Коротконогий, взрослый дебил в распахнутом полушубке качался вместе с деревом на лестнице, прислоненной к березе. Оглядываясь, он остервенело рубил короткой пилой ветки и ствол по аршину, который подставляли ему снизу.

В окнах склонялись грустные детские челки, кричала на балконе полуодетая женщина в накинутом на рубаху пальто, летели ветки, застревая в соседних деревьях.

Третий раз вывели на прогулку эдельтерьера. Прошел поезд с глиной.

Вычеркиваем бестолково и опрометчиво начатый день. Был ли он, с его дремотой, скукой очереди за молоком, с пасмурным неуклонным потеплением и горячими скамейками перегретой электрички.

Как быстро можно омедведеть. Тяжело переваливаться в своем углу, тяжело поднимаясь, волоча ноги в валенках, неделями не поднимать закатившуюся под стол нужную вещь, быстро оглядываться (взглядывать) в угол, по десять раз в день пить пустой чай и подходить к окну вечером, погасив в комнате свет, чтобы лучше было видно пустую улицу и ближний лес.

Брошенные нераскусанные орехи с острыми следами зубов (потом когда-нибудь - разом всё).

Скворцы у своих скворечников на жердочке - сами как черные дырки. Да-да, именно как черные дырки.

Блестящий, как каштан, конек, куда-то мы с ним скачем. Какое-то низкое место, надо пригнуться, шея, ушки, натянутые поводья.

- Какая это порода?

- Азбекская, - отвечает отец, подаривший лошадку.

Земля носит - носит легко, потом вдруг опадаешь, легкость оказывается иллюзорной, припадаешь все плотнее, разматывается плоская жизнь, когда ей давно следовало пресечься.

У каждой единицы времени есть свой полновесный, в себе завершенный смысл. Можно заупрямиться, отказаться от продолжения, сосредоточиться на постижении именно этой минуты. Однако чаще всего все заедается, заговаривается, забалтывается, разбавляется, и мы существуем, растрчивая никому не ведомые смыслы.

А между тем сколько здесь сейчас счастья и значения! Оставьте меня все. Я остаюсь здесь и буду плакать об этом всю ночь. Пусть выпадет снег и занесет все следы. Утром вода замерзнет в ведре, и, еле волоча ноги, я побреду к колодцу, не поднимая своего опухшего лица. Неизвестно, удастся ли мне разжечь сырые дрова.

Открытие охоты второго мая. Холодная тяга. По почтовой дороге и по просеке еще снег. С утра народ хлопчет в огородах, не слышно тракторов, после праздничных обедов гуляют, где просохло, принаряженные соседи (то есть без телогреек и резиновых сапог).

Ах, на какую тягу я сегодня не пошла. Ветер неожиданно стих, взошла луна.

Он сказал: "Ставь чайник, я только схожу на реку, и будем есть". Больше героиня его никогда не видела. Он тут же утонул до завтрака. Это с детства вдолбленный страх "Иркутской истории", знаменитого спектакля, затверженная паника ожидания.

(Однако потушим лампу и взглянем на дорогу - нет, никого нет.)

Разгульные сынки именитых горожан не звонили домой "сегодня не ждите", солдаты крестовых походов не слали открыток с видами Иерусалима, а у каждой женщины среди ее десятка переносных, недоношенных и разных детей всегда было несколько "нежилецов", в разном возрасте покинувших этот мир.

Хлопают входные двери, стучат лифты, качаются под фонарями тени чужих мужей, лают собаки на краю улицы, и *что-то случилось* прикладывается к стеклам и бежит к противоположному окну на шум подъезжающей машины. Вот в ней загорается свет, пассажир с заднего сиденья тянется вперед, хлопает дверца, но зеленый значок не виден, ах да, там есть еще люди. Скорее к выключателю - плетется кто-то без шапки, достает что-то из кармана, снова прячет, подходит не к нашему, соседнему дому и останавливается, отвернувшись к стене. Не станем же мы подглядывать.

Снова зажигаем свет и видим в окнах только себя и свой шкаф.

Глупые няньки, как тогда говорили домработницы, только что прошедшие санобработку - без этого в городе не прописывали, - шарахаясь от машин, ходили к Инженерному замку болтать с солдатами. "Как зовут тебя, как зовут твою маму?" - спрашивали они шестилетнюю хозяйскую дочь и ее глупую шестнадцатилетнюю няньку.

Эти дурищи больше всего боялись перехода на углу Белинской и Литейного, помня, как на этом самом месте грузовик въехал на тротуар, но именно там надо было идти, чтобы попасть в садик за цирком, так они говорили куда идут, хотя сами так и кружили у главных ворот Инженерного замка, где помещалось военное училище.

Что ж, значит во всем ругать бедных деревенских дур и "Иркутскую историю"? Кстати, чтобы больше к ним не возвращаться, вся наша квартира, вернее ее детская часть, долго вспоминала Надю и одно ее доброе дело.

На воскресенье Надя уходила от нас гостить к своей тетке и однажды попросила не для себя, ей тоже было рано, роман "Жизнь". Это было послевоенное издание, печать в два столбика и растекающаяся бумага. Что бумага была именно такая, мы поняли, когда книга снова водворилась на шкафу, на высоком платяном шкафу с зеркалом, выдвижными нижними ящиками и отделениями для белья, занятом посудой.

Теперь даже не нужно было ждать, чтобы родители ушли из дома, достаточно было матери уйти на кухню, как я подставляла стул, моя соседка Аня, она старше, но ей тоже нельзя, доставала книгу, и мы быстро находили наши любимые места, построчно подчеркнутые чернилами. Кто для нас постарался, Надя или ее тетка, мы не знали, скорее всего солдатик из Инженерного замка с навыками проработки материала на политучебке.

Услышав шаги из кухни, мы забрасываем ужасную книгу на шкаф, распахиваем дверь, помогаем вносить кипящую кастрюлю и потом долго находимся во власти странного "как ни в чем не бывало".

Как ни в чем не бывало мы ставим кастрюлю на стол, достаем ложки из шкафа - это называется помогать накрывать на стол, а перед глазами омерзительные фиолетовые, водянистые линейки, по которым было написано, как нам казалось, уже после.

- Жанна стояла у окна, - так начинался роман. Эта хитрая Жанна - имя-то какое противное - как ни в чем не бывало стояла у окна, нет, с нами такого никогда не произойдет.

Иногда нам не хотелось взрослеть. Вообще надо сказать, что, как я заметила уже позднее, мы в своей женской начальной школе брезгливо относились к второгодницам, которые уже тронулись в рост. Такое чувство возникало у меня даже к моей подруге, обогнавшей всех по части "формирования" - как тогда говорили, вообще слово форма, сформироваться мы слышали все время. Мы все должны были ходить в форме, с вечера мы должны были приготавливать выглаженную форму, на праздники мы должны были являться в форме, девочку Цветкову, которая умерла еще в первом классе, похоронили в форме, за отличную четверть многим обещали шерстя-



ную форму, Гале Цветковой купили такую форму уже после смерти, она была двоюродница. Кто-то тогда брякнул, не все ли ей равно, но все замахали руками, а Валя Овчинникова, дочка повара, моя мать назвала ее как-то поварихой, сказала что-то вроде "ее мечта", "последняя воля".

И вот эта моя подруга стала все заметнее вылезать из формы, пока не сформировалась. По воскресеньям мы с ней гуляли по Невскому. Мы направлялись есть мороженое. Она рассказывала о своем дяде, он пикирует на скрипке перед вечерними сеансами, а последнее время, если дома никого нет, стал усаживать ее себе на колени, во дурак-то.

Болтовню она прерывала шепотом: "Смотри, какие ножки". И когда я призналась, что не понимаю, какая разница, она ответила, что бывают очень красивые, вот например у нее, ей это скрипач сказал, а как узнать, она меня сейчас научит.

Мы с ней как раз выходили из кинотеатра и продвигались в тесном дворе под дождем.

- Вон впереди, видишь какие.

- Чулки забрызганы?

- Да нет, чулки можно отмыть, а ноги-то толстые. А эти, смотри, и не такие толстые, а все равно как у слона, щиколотки могли бы быть потоньше.

Так она водила меня по Невскому, так мне и запомнилось - чисто выметенный широкий тротуар от угла Маяковской до Восстания, и идем мы, тонкие ценители.

- Ой, смотри, куда ты наступила.

- Куда?

- Идешь как маленькая, кто-то плюнул, а ты не видишь.

Ее новая странная разборчивость почему-то соединилась мною с ее преждевременным ростом, мне еще рано, думала я, обращать на это внимание.

"Обращать внимание" - тоже было школьное слово. Обращать внимание на себя - было не хорошо, иногда про кого-нибудь из нас говорили: "она старается обратить внимание на себя".

Таращиться вокруг тоже было не принято.

Вон пьяный валяется, вон матом ругаются, а ты не видишь, не слышишь, ни бровью, ни ухом, идет себе, построившись парами, сто девяносто третья женская школа, бывшая гимназия, в которой училась и закончила с золотой медалью жена, друг и верный помощник Надежда Константиновна, идем мы в кукольный театр за квартал от школы.

Отпустили на каникулы одну гимназистку раньше по слабости здоровья, и непривычно провела она всю весну дома.

Сидит в начале мая гимназисточка на бревне у заброшенной фермы, встают дыбом от ветра дранки на крыше, давно растаскан на дрова коровник. Гимназисточка разогрелась на припеке, соскользнула с бревна и разлеглась на сырой еще, теплой земле, сосив глаз на трясогузку, которая прыгала возле нее, подбираясь все ближе. Что такое развалилось?

У трясогузки черные крылья, светло-серое брюхо, белая головка; на шее что? Черный галстук? Повязанная салфетка? Перед-

ничек? Крутилась, крутилась трясогузка, пока гимназисточка не переменяла затекшую руку и не села.

Трясогузка отбежала, но недалеко. Начала подходить снова. Ничего не ела, а все гуляла.

Если бы молодая корова тут развалилась; вот ты кто: корова. Смотри, трясогузка: я молодая корова. Я, знаешь ли, первый раз здесь после зимы в темном стойле, я неопытная корова, нас только что выпустили.

- Да ты просто корова, много хребтов, шерсти, неопрятная груда, вон ты опять развалилась.

Трясогузка вспорхнула и нагло пролетела прямо над гимназисткой: вон ты кто, и скрылась с этого луга. Кого тронула неопытность коровы?

Еще холодны были лужи, не зароилась в них жизнь, но уже пожелтели цыплячьи пуховки на ракетах, стали высыпать подснежники и желтые мать-и-мачеха. Каждая водомоина, лужа - пока еще чистоты холодной горной речки. Даже пруд у свинарника - леживали боровы, ворочались на середине - синее, как горное озеро.

Встретился в парке сын управляющего, студент, и сказал: "Вчера мне сказали про вас гадость".

- Меня это не интересует, - ответила гимназисточка.

- Вы все же послушайте. Будто вы в пять утра ходите смотреть тетеревиное спаривание.

- Да я... Да только как поют, издали, - смутилась она.

- Слушаете как поют, - не унимался студент, - и мечтаете о любви. (Будто это какие-то курицы).

Это легкое бульканье из глубин их гортаней, непрерывное, за несколько верст слышное; шумит лес, плюхают волны на озере, тает снег и высыхают лужи, а они - на рассвете и на закате, из года в год: токуют, бормочут, чуфыкают. Какое это легчайшее песнопение! Если не остановишься, не попридержишь дыхания, не отвернешь края платка - то не услышишь. Дальний собачий лай? Звон в ушах? Журчание ручейка? - Если не то и не то, и не кажется, то - они.

А студент: спаривание.

Бекас - небесный барашек - дребезжит в небе, утки снялись и перелетели на другой конец озера, вальдшнеп прохрюкал над вершинами берез на лесной дороге, а они все плещут свое влажное бормотанье. Они везде и нигде. Туда пойдешь и сюда пойдешь - слышно не громче и не тише.

Какие-то другие время от времени вскрикивают - кто такие - вон две сели, а сзади встает солнце - простой красный круг - встает в неожиданном месте, совсем не в том, откуда ждали. Какие-то сели мягких очертаний, что делать Ольге. Как стояла, так и не шевелиться - может это такой сучок, крючок в лесу, но они посидели, осмотрелись и улетели.

Дома: Брем, отцовские журналы. Кто это были? Кто скажет? Как тогда - с барашком. То по одну сторону болота, то по другую - не на земле, а в небе - над всей ясной луговиной - вот он взлетает и падает. Дома лишать: кроншнеп - как будто дребезжанье деревянного колеса у телеги; бекас - бляянье барашка.

Вот оказывается кто, выбирай сравнение, конечно барашек, а Ольге там у ручья и сравнения-то было не подобрать - странная птица.

Также и с жерлянками.

Барский пруд. Муравлянская плотина. Усадьба. Темный пруд. А в пруду поет многочисленными голосами всё одновременно.

Уйдешь бродить далеко по полям после захода солнца. Выберешься оврагом мимо одного места - "овечий верх" - и пойдешь мимо старых скирд соломы - огромных, степных; пригнанная скотина мычит в ближней деревне, долетают отдельные бряки, дергач кричит; перепел: спать-пора, спать-пора, а из пруда орет, орет, и парка-то почти не видно, на краю которого этот пруд, а гремит он, звенит.

Лягушки? Да кто же лягушек не знает! Жабы? "В саду раздавались томные крики жаб"? Позвольте-ка... тритоны. Кто их знает. Это и вовсе занятие для Базарова.

А ночью! В полночь на Муравлянской плотине. Бывали? (Стояли темных лип аллеи) - вдруг обрываясь, крича, цепляясь, обламываясь, что-то страшное перед тобой шарахается, ты обмираешь, а это птенец грача во сне сорвался из гнезда - вот это что, ты светишь фонариком, по морщинистому стволу убегает луч, задирается в звезды, бессильный; звезд много, возможна и луна, но в аллеях темно, светлее над прудом - какие мертвые морщинистые стволы, одеревеневшие складки, мертвая кора. А эти в пруду - кричат, кричат - все разом, да кто они такие - никто не знает.

Вот и полночь. Муравлянская плотина.

Старый барин Лыковинов здесь похаживал. А баранчик: бяша, бяша.

Что же полночь? Перешла, сдвинулась. А соловьи? Соловьи заливались. Особенно одно колено: та-та, та-та.

А Сережа Прочасов? Посвечивал фонариком, шел рядом, потом спустился к плотине. А сейчас мы лягушек вызовем. Заквакал Сережа Прочасов. Заквакал. Обо всем забыл. Не надо, Сережа, уж очень получается. Страшно. Куда там. Квакает Сережа. То самцом, то самкой. Выпрямился над прудом, слился темной фигурой с чем-то. Светло над прудом. Самая лучшая звезда дрожит в воде. Спуститься, что ли, к нему?

- Отвечает! - закричал Сережа. - Слышишь, отвечает.

Вот он - второй голос. Приближается, дрожит уа-а-а-а.

Склоняется Сережа все ниже, вглядывается в прудовые мути, выплывает оттуда, выплывает больше ротое: уа-а-а-а. Раскричались они, глядясь друг в друга. Пропавший человек Сережа. Не упади, Сережа, в омут.

- Вон как я умею, - оторвался, выпрямился, - пой теперь одна, дура. - Отошли, а там надрывалось.

А соловей? И соловей катил свои колеса. Что же со всем этим делать? Обнять Сережу Прочасова?

А Прочасов щелкает фонариком, тычет своим слабым светом в звезды - теряются его лучи, Прочасов передергивает луч под ноги - мостик, бревнышки, перильца. Белеет Ольгино платье, холодно тебе - вот плащ, ах бедные, бедные, нечего нам делать со всем этим.

Конец мая. Скоро кончатся соловьи и жерлянки. Еще раз обойти весь парк - теперь снаружи, вдоль ограды - лугами - ну и что? Снова у пруда. А если выдернуть одну из них - как она кричит, ну хотя бы с чем сравнить?

Из глубины вытягивается печальный звук, бежит вверх и лопается на поверхности. Здесь и там, и по всему пруду тоненьким жалобным голоском - унк... унк...

Почему их не слышно в соседнем деревенском пруду, за усадебной оградой? Скотину туда гоняют на водопой - вот почему.

После того как доели глухаря - перестали гореть щеки, появилась мнительность - представился черед дней - и остывание, остывание. Появилась торопливость - скорее убедиться, обогнать события, подтвердить подозрения.

Все сразу прошло - как подошла к окну - здесь моя крепость, кроме того, во всей моей окрестности распространилось столько меня, что запас этот тотчас мне был возвращен, и мне снова есть что распространять. Как он верно здесь сохранялся!

Сообщение наше здесь безотказно - если у меня плохо, пусто, ничего нет - мне нечего послать; но если мне есть что сказать, как благодарно они возвращают мне себя, как внятно говорят о себе.

Как верны мне мои дали!

А я-то обижалась, плакала - как будто их не было! Главное, никогда их не забывать, ведь они, милые, меня помнят!

Часто я делаю вид, что их забыла, - тогда начинается подделка под обиженные чужие судьбы. Разве может их что-нибудь оскорбить?

Что может их оскорбить?

У них своя жизнь - каждое мгновение они уже другие. Попробуй-ка, отвлекись от своего хозяйства, когда снова повернешься к нему или хотя искоса глянешь - все переменялось. Вот сейчас: стало темнее, размылись границы светлого и темного неба, зажглись новые огни деревень, но светлы поля, видны крыши парников, звезд еще нет, а если посмотреть на север, - там небо вовсе светлое. Я буду смотреть на север - сказала мне дочка лесника васильевского помещика, которая помнит Бунина, а что, появись здесь Иван Алексеич, я бы его сразу узнала. - Прощай, прощай, приезжай к нам, а я буду смотреть на север, небо там светлое, видны ваши белые ленинградские ночи.

Что может оскорбить самодовлеющую жизнь - то, что течет по своим законам, менее всего зависит от чужого и преходящего.

Однако как легко оскорбить, нарушить. Прежде всего заслонить небо можно даже совсем небольшим. Поля застроить, ближние ели срубить, озеро окружить дачами, а перед домом - тьфу, тьфу - как бы и вправду не накликать великих преобразований природы.

Значит, просто. Ты меняй свое освещение и зеленей в положенные сроки, неважно, что запасы розового бессмысленно истратились на эту унылую бело-серую стену. В положенный срок и ее чужая плоскость окрасится без толку растраченным на эти убогие поверхности закатом.

Пока мои дали живы и не обезображены, буду и я как они.

Однако буду помнить, что вторжение возможно, угроза существует. Что мне за дело до чужой несправедливой жизни? Это все равно, что обижаться на дальнюю электричку или свинооткормочную фабрику на двести пятьдесят тысяч голов, которая строится по ту сторону от Романовки.

Я перешла на чужую территорию, где чувствую себя не в своей тарелке. Пора мне убираться восвояси. Навязанные мне способы существования, которые я пыталась терпеливо сносить, подорвали мою веру в то, что у меня вообще есть свои земли.

Сегодня вечером я прошла по своему обычному кольцу и удостоверилась - по-прежнему светлеет длинное озеро, холодная заря с севера постепенно тускнеет, и легкая луна отражается в каждой луже. Прислонившись к стволу, посидела над озером. Интересно, когда три наших озера - Бездонное, Длинное и Круглое, вытянутые в один ряд - были одной большой водой?

В чем моя вина? Нельзя прибавлять фамильярных суффиксов к тому, у чего нет имени. Метафизическая вина.

Соседи поставили чучело гороховое в красной шапке, оно еще не выгорело на солнце, не вымокло под дождями - кафтан на нем еще черный.

Весь день идет весенний мокрый снег. Тускнеет гороховое чучело. Гудит электродойка. Замерзают цветы ягодников. Запойное чтение приличествует более подростку. Липкие от сгущенного какао губы, сонливость, нет сил встать и оторваться.

Побег в чужом платье, ночное озеро, скачка на коне двадцатипятилетней королевы, старомодное красноречие австрийского фрейдиста. Завоевание или провал, успех или поражение?

Окрестности посветлели в преддверии ночных заморозков. Смирный вечер. Сороки разгуливают по дороге. Безлюдье. Закуковала кукушка. Какой покой!

Тысячу раз благословенно высказывание перед молчанием, пусть оно косноязычно и выдает себя, но оно выпущено в мир, оно существует - только что его не было, а вот уже оно есть - оно незащищено - каждый из молчащих может осмеять, - однако оно существует, и чьи-то души вздохнут вместе - им даны слова, их скрытое названо, они могут входить в незамкнутое пространство вещи, хотя на самом деле вещь замкнута, ограничена и едина.

Действительность испытывает зависть к романной наполненности неважно какими событиями. Главное, чтобы происходило что-то, а время было насыщено. Я поняла, что действительность радуется тогда, когда дарит насыщенными днями. Соответствия, их совпадения, случайности, да и просто как можно больше переплетений. Если перебрать эти события, проверяя их значительность, наступает сомнение, однако кто посмеет осудить мнимую деятельность минувшего дня? Ты причастен к жизни, возможно даже часть ее,

ты даже сам заплетаешь и там и тут и готов расхлебывать тобою созданные коллизии. (Тут налетели и зазвенели комары, над лугом опустился? поднялся? лег? туман, телят угнали, а на их место выпустили лошадей, с криком носятся ласточки? Стрижи? Одиннадцать часов вечера).

В "Униженных и оскорбленных" - прелестное начало - город - таинственная событийность, одинокий мечтатель - что скрыто за стенами капитальных домов. Потом нарастание событий, беготня. Злодей радуется, так же как и автор, что закручивает, заводит, провоцирует действительность, угадывает ее возможности и играет последствиями, но в то же время злодей - поэт, его увлекает сам процесс - он рад тому, что что-то происходит - и он - виновник происходящего, провокатор события. Его увлекает сама игра, а не только цель. Еще и неизвестно, что больше.

Жизнь мечтателя - короткая буйная событийность и дальнейшее восстановление час за часом случившегося.

Как Тобольская невеста (спрыгивая с широкого провинциального подоконника и напевая): "Я его снова увидела - вот я его и увидела, теперь мне хватит: май - июнь - июль - август - сентябрь".

Писала-писала Тобольскую невесту, застряла намертво, пошла на кухню, ткнула вилкой в капусту, пожевала и сказала вслух: ничего у меня не выйдет, да вдруг так прикусила язык, что взвыла, оказалось в кровь. Значит не наводи на себя напраслину, или наоборот: истинная правда!

Что делать с чужим сознанием? Или томасманновская многозначительность, или командировочная очерковая скороговорка.

Если первое, то высокомерное удивление чужому сознанию; если второе, то журналистское похлопывание по плечу, мол, знаем, и сами вели дневник, молодо-зелено и т.д., прыщи на лбу.

Благословенно место первой встречи, вот план, видишь крестик, где он тогда стоял.

С появлением листвы дали призакрылись. Давно замолчали терева. Высохли последние талые ручьи. По-летнему запылили дороги. Чибисовые поля вспаханы и засеяны. Стало скучно. Но поднялся и завыл холодный ветер, и пространство снова расширилось.

После дождя лиловые тяжелые слизняки качаются на молодом пушистом укропе.

Час ночи. Пишу без света, сижу перед окном. За такую ночь - сколько сил накапливается, сколько уверенности. Глаз вмещает мерцающий между деревьями пруд, поля, лес, огни дальних деревень, мягкие синие холмы на горизонте, зеленеющее небо с розовым севером, жемчужные облачка.

От долгого сидения дали впитываются, я насыщена, но оторваться не могу.

Огни деревень жирные - можно сосчитать - по одну сторону дороги шесть, по другую шесть, а в Романовке только один. Воет ветер, перебирает паучьи лапы ближних елей.

В клубе праздник. Расходятся пары. Холодно.  
Белые ночи кончаются - пора осмыслить.

Высшая повествовательная правда (а она выше жизни) - в краткосрочности и значительности. Чахлые девицы умирают от оскорблений, любовники находят смерть в гибельной любви, подлецы делают свою главную подлость.

Что же получается в нашем случае? Жизнь продолжается, хотя по всем законам сюжетосложения и смысла ей давно следовало пресечься. Но мы наращиваем этот здоровенный ледник, каждую зиму прибавляя новые толщи, за лето слегка подтаиваем и сползаем в каком-то направлении. Однако самодовольствию накопления нет пределов. Теперь я знаю то и это, мне полезно разбираться в вашем деле, теперь у меня будет опыт... А для чего?

О тряпочке на проезжей части, взлетающей навстречу каждому автобусу, а больше ни о чем.

Зависть молодого Достоевского - одинокого мечтателя - к событийности, к жизни, которая развивается помимо него, - отсюда нагромождение событий в его романах, мечта об участии в них.

Если вы гуляете в хорошую погоду по городу - заглядывайте в подвалы. Теперь они чаще всего нежилые, зато там тоже идет своя жизнь.

Не имея возможности уехать из города и оказываясь среди бела дня на улице в это жаркое время, я стала особенно остро замечать приметы разнообразных трудов.

Вот на солнечную сторону высыпали легко одетые люди, некоторые из них что-то кричат в раскрытые окна дома напротив, другие отвернулись к воде, склонились над перилами набережной. Это последние минуты обеденного перерыва в конструкторском бюро.

Дневные прогулки обнажают многообразие форм парадоксальной деятельности. Вот пример всеобщего разделения труда, доведенного до абсурда: род деятельности, пристроившийся к одной маленькой частице человека, даже не к частице, а так, к кожице. Эта кожица имеет способность расти тем быстрее, чем ее чаще срезают. И вот десяток сытых женщин, довольных своей судьбой, весело болтая, делают свое дело, изредка сетуя на качество кожи в особенных случаях и рассчитывая, через сколько минут они побегут есть. Отлучившись, они возвращаются, садятся, придвигаются поближе, встряхивают салфеткой, бросают быстрый взгляд на клиентку и весело принимаются за дело, втягивая и ее в ощущения зрелой женщины, только что поевшей сливок с булочкой. Вот к своему рабочему месту, заглядывая на себя в каждое зеркало, бредет молодая девушка в коротком халате и шлепанцах без задников. Вдруг она как будто что-то замечает, не отрываясь приближает лицо вплотную к зеркалу, косит глазом к носу, отстраняется, берет расческу, поправляет локон у уха и, не поворачиваясь, говорит: "Что бы такое съесть?"

Выйдем оттуда из раскрытых прямо на улицу дверей и не будем их жалеть, они счастливы и не нуждаются в сожалении, и вернемся отсюда на Разъезжую.

В эти жаркие часы здесь безлюдно, все окна открыты, и жизнь, протекающая за толстыми стенами старых капитальных домов, чуть приоткрылась, слегка вывернулась наружу.

Окно первого этажа. Отдернутые занавески открывают сокровенные задние планы бедной комнаты, из прохладной темноты к цветочным горшкам тянется рука хозяйки с банкой воды, за рукой выдвигается и фигура, но мы уже прошли, явление застыло в своей определенности и законченности.

Жарко. Из подворотен и окон вровень с землей обдает холодной гнилью. Вот окно какой-то конторы. Глубоко внизу различаются плотно друг к другу поставленные столы, из полуоткрытой двери в коридор мерцает стекло доски почета, доносится треск машинок.

Блеснуло ли сразу из темного конторского коридора или сложилось так в напеченной солнцем голове, не могу сказать, но горечь протянутой к жалким горшкам руки, блеск почетной доски (вероятно, так ярко ударила в глаза серебряная фольга, подложенная под стекло) уже давно не дают мне покоя.

Ах, история ворона.

- Ну, Федька, скажи что-нибудь. Откроем мы музей к сроку?

- Кар-р-р!

Его карканье несло из-под земли будто из самой преисподней. Прохожие останавливались, прислушивались, оглядывались.

Пыльная дорога, по которой только что прошло стадо. Еще рано, но уже жарко. Такие дороги бывают только в середине лета. Я бы сказала, стояло зрелое жаркое июльское лето. Пустынное в эту пору озеро. Стайка рыб у купальни. Днем я узнала, что поражающая утренняя полновесность, наводящая на мысль о переломе, - и есть перелом: сегодня и есть перелом (Петр и Павел дней убавил...) - и считается серединой лета.

Жалко и больно. Решительно все происходит без меня. Мне удастся урвать лишь намек разгара...

Жалобы турка. Оставшись в подвале одна, закрыв дверь на ключ, я уселась лицом к окну. Голова, не получая необходимого количества свежего воздуха, тяжелеет, ноги стынют от нижнего холода, перетекающего и гуляющего по всем закоулкам обширного подвала. За окном грохочут трамваи и грузовики, сообщая письменному столу, который находится много ниже мостовой, вибрацию.

Среда, склонившая мою голову и заставившая захлопнуть книгу, здесь имеет недвусмысленно-биологическое влияние. Жалоба "среда заела" приобретает в данном случае банальный смысл в виде пробегающих по голым ногам особым тараканам, имеющим крылья и название "нарывничков".

Проступающая на стенах сырость, вонь, щекотание "нарывничков", обрывки разговоров с улицы, грохочущая ругань где-то на



лестнице. Ну что ж, углубившись на два метра, можно пожалеть только о своей временно тяжелеющей голове.

Сидение за письменным столом перед окном, забранным решеткой, и взгляд на улицу лишает многих иллюзий.

Видимое многообразие сводится к простейшим вещам. Въедливое топание поношенных башмаков с железными набойками говорит о близости рынка, хозяйки идут мимо по одной, – шаги устремленные, озабоченные, и попарно – тогда подвал обдается обрывком их разговора – всегда только одной фразой, но непременно поражающей своей убогой многозначительностью и удивительной характерностью.

Вслушайтесь: хлопанье приближающихся разношенных туфель, сверкнувшие на солнце кудряшки – притаившийся прямо под тротуаром охотник, наострим форточку-сачок, сейчас мы прихлопнем впорхнувшее слово.

Выудим из потока речи ничего не подозревающий лепет, он врежется в сознание, он будет последним словом не сознающей себя щедрой действительности, разбрасывающей свои восхитительные явления щедро и как будто без смысла.

Выделим из потока последнее слово, оно будет любим, только бы оно залетело в нашу единственную ловушку. Можно раскрыть и другие окна, но я привыкла ловить только на одну удочку.

Грохочут трамваи, мертво чернеют кажущиеся только что вымытыми окна напротив, несется жизнь, вытянутая в линейку, в глубине сидит собиратель бабочек. Он не ждет диковинной, он ждет залетевшей.

Вывеска "МОЛОКО" белеет напротив – символом текучей бессмысленной густой жизни. Если напротив ее целиком, всю, механически разливают по посуде и живо растаскивают, то мы также втягиваем, всасываем происходящее перед нами прямолинейное движение, терпеливо ожидая, когда оно назовет себя само, своими силами, из своих, так сказать, линейных недр.

– А я люблю вареную картошку...

Дурацкий коллекционер, твое сердце зашло, чего же ты ждал от косного мертвого потока, который любит сам себя, гордится собой, он вам сразу укажет, где продается самый лучший молодой картофель, он любит быструю езду, радуется летнему дню в своем вымытом окне и молочному магазину в этом же доме.

– Как солнышко греет...

– Если подашь заявление о том, что...

– А ты скажи ему, что так мол и так...

Шел август того года, который в будущем войдет в историю как холерный. Это слово все чаще стало запутываться в нашем, теперь зараженном сачке.

Я с отвращением выкидываю этот репейник.

Восьмого августа брела по краю леса вдоль овсяного поля и вдруг слышу, как говорю: "Подойдите сюда все!". Это был образ смерти.

Меня тянет за ноги груз всего прежде написанного, всех неоконченных Тобольских невест, зверств в Корее и прозрачных

глав, глав, текучих обращений; как бы все разом закончить, потому что и здесь тянет, и здесь поднимаются пузыри на поверхность, и тут что-то затонуло и дает о себе знать. Здесь торчит бревно, глубоко в иле есть снаряды с войны, а посередине затонула целая солдатская купальня. Расчистить бы все наше Бездонное озеро, положить перед собой чистый лист, перевернуться на спину и покачиваться на поверхности, радуясь своему умению лежать на воде. Пускай нас сносит куда угодно, из-под воды нам больше ничего не грозит.

А скрюченная утопленница того несчастного лета? Вон там она, на той стороне узкого залива, которым кончается озеро, — и мы переворачиваемся на живот и круто гребем прочь с того места. Пора и вылезать, холодно, да и на работу скоро.

Слишком взбаламучена вода в этом обжитом водоеме.

Как я заметила, говорят и пишут только о том несчастливом состоянии, которое тебе еще только грозит, еще только наступит, говорят вслух об этом, ожидая, что тебя прервут: "да что вы, это совсем не так!", "да вам ли думать об этом!".

Вот повесть о старости, старички на даче, здоровые европейские завтраки — что можно и нельзя, еще мы любили поджаренные хлебцы с абрикосовым джемом, крепкий китайский жасминовый чай, правильный режим. Старик, сидя в шезлонге, разглядывает непристойные пчелиные глубины цветов, услужливо вьющихся у подлюкотников. Его только что усадили, поправили подушку, укрыли пледом, разговор шел о литературе, и вот уже он дремлет, раскрыв рот. Московские гости смущенно поднимаются, но от движения старичок вздрагивает, заглатывает легкие слюнки и поражает гостей верностью суждений.

Прибегает деятельная пожилая жена (новая элегантность, присущая даме ее возраста), и приглашает всех в дом.

После этой повести наш писатель старится на десять лет, становится несомненным глубоким старцем, за это время выходит не один его роман, но больше мы уже не встретим кокетливых сетований нового образа жизни. Останется и превратится в единственную куцую ноту — удивление: я-то жив, а они давно умерли, и маленький братик Петя Бачей, и Гаврик, но это будут знаки заматерелости нашего старца, переступившего некий порог и окрепшего, научившегося собирать урожай, разогнавшегося, если можно так сказать, в своей старости.

Как Блок — поэт юности, и даже его юноша стареющий — все же юноша, не муж, так и Катаев — прозаик старости, выгоняющий из нее все, что она может дать. (Как отец у нас гонит ягодное вино из всего, что растет в огороде, и когда не хватает крыжовника, смородины, черной рябины, дома вдруг начинают исчезать банки с залежалым вареньем — они тоже пригодны к перегонке).

В прозе писателей возрастной литературы иногда вскользь блеснут несколько седых волосин на голове молодого героя и вздохнут три женщины: мать, жена и девушка в красной юбке.

Итак о седой голове молчат, интересны только первые проблески. Так же и с одиночеством. Воет и жалуется оно только

вначале, но значит оно еще не настоящее. Оно еще только определило себя: "один я остался на свете". Возможно, оно уже подыскало замену. Полное и давнее одиночество заматерело, оно обросло повадками, попробуй-ка поставь туда свой чемодан, вы заметили, что для него никогда нет места, ты-то еще надеешься, что спасаешь и утепляешь, разворачиваешься пуще, хлопчешь и улучшаешь, но вдруг посреди своей деятельной запальчивости встречаешь нежелание перемен, ты уже начинаешь оправдываться, но ведь так лучше, разумнее, но нет, оказывается, давно следовало выметаться со своим хозяйством.

У В-ной. Что это был за открытый урок. Вот вам мои полдня. Проходите, пожалуйста, да-да, ко мне семь звонков, садитесь, чтобы всем было видно, вот пятая тарелка, я как раз писала слово (какой длины), молодой жены нет дома, вернется поздно. Вот так и живу, пока дом не сломали.

Вы говорите разложить по конвертикам - конечно, так просто: почему не попробовать - разложили, отправили и забыли. Занялись другим, прозой например, и вдруг из "Работницы", "Крестьянки", "Сельской молодежи", "Человека - закона" и "Доброго утрачка" - замечательные гонорары и нежные ответы.

Сначала мы мягко отказываемся от больших фирменных конвертов, но уговоры крепнут - вот мы уже все вместе за столом с ножницами, клеем, сантиметром; облизываем марки, ласкаем желтые уголки, кипит веселая работа, и самый преданный бежит на почту, рассчитывая на обратном пути успеть к последней раздаче спиртного.

И когда всем казалось, что так и будет, а как же иначе, пришлось оборвать и даже кое-что объяснить. Сначала объяснила вам, потом сказала себе, потом еще сказала себе и незаметно оторвалась, уже давно плыву, выговаривая свою единственную правду, слушая свою подъемную силу - вот он, главный урок - еще со всеми, но уже одна, в своей холодной? горячей? высоте.

Поздний час, пора уходить, гости отодвигают стулья, но ты не снижаешься, не снисходишь - ровно и правильно режут двигатели - уже ушли и хорошо, ты продолжаешь прерванное, какой длины? слово.

Альбиносы. Снова перетаскивали из одного подвала в другой музейное старье, как семь лет назад. Крысиный помет в креслах (любят мягкое), изнанка жизни, задние дворы, брошенные помещения. Стоит только покинуть жилье, как быстро придет оно в запустение - плесень, сухие пауки, сырость, вонь. Две кошки, потерявшие цвет грязные альбиносы, ждали в стороне, пока мы перестанем ходить взад-вперед, переноса с места на место потревоженный скарб с вылезшим волосом, хлопающими дверцами, с пустыми ящиками письменных столов, в которых перекатывались ключи и засунутые наспех куски деревянной резьбы. Жизнь вывернулась изнанкой.

А эти кухни за занавесками! Старые дома такие же, как эти кресла, куда шлепнулась усталая старая карга в рабочем халате хранителя фондов.

Здесь только зады, кладовые, лестницы, кухни, но где же живут эти старухи, которые иногда показываются в своем окне? Ведь у каждой только одно окно, и смотрит она из него всю жизнь; вряд ли ей успеют дать другое. Сколько сил надо тратить, чтобы запустение отогнать хотя бы в угол, расчистить хоть середину!

А шкафы, а углы, а корзины, а коридоры – как страшно туда углубляться! Нет ничего страшнее нежилых помещений: эти покинутые к ремонту дома, вытащенная мебель – мне противно подойти к задней стенке телевизора или будильника (непонятная изнанка), а здесь километры хаоса.

Есть старушечьи сферы – специально из их мира, то, что их волнует и задевает. Стоял наш грузовик, из которого мы разгружали рухлядь, прохожие терпеливо ждали, пока освободится дорога, и только старух задевал этот жалкий скарб.

Так в разное время своей жизни мы замечаем разное. То собак, когда сами вывели щенков, то нарядных счастливых женщин, когда сами подавлены и разбиты.

Старухи протирают свое окно, бесстрашно взлезают на подоконники, смело тянутся вверх, еще не пора.

– Ну, навезли! Давно пора этой рухляди на свалку, – ворча рифмуют они свою жизнь с увиденным.

Неужели мы видим только то, что видим, и не видим того, что еще рано?

Еще рано: трамвай без пересадок, достоинства черноплодной рябины, порошок "Лотос".

– Тебе рано читать роман "Жизнь", – было сказано нашей шестнадцатилетней Наде, домработнице.

Собаки видят на улице только кошек и других собак; обратите внимание, как беспокоен и непрост бывает маленький ребенок, когда рядом с ним где-нибудь в метро оказывается его ровесник; красавица мгновенно разглядит и оценит другую в противоположном конце вагона, взволнуется, если найдет, что та лучше, или успокоится, если первенство останется при ней.

Неужели мы так и толчемся в пустых дребезжащих рифмах своей жизни?

Но так обстоит дело только в искусственной среде.

Заброшенное негородское жилье нам не страшно.

Бывшие фундаменты мы быстро определим по густым березнякам, мать-и-мачехе, которые скрывают от глаз груды щебня; бывшие шторы нет-нет да и проглянут одичавшей хилой маргариткой; стоят фрагменты липовых аллей, укороченных, ведущих из никуда в никуда, перегороженных часто какой-нибудь свежей спортивной трибуной, а вот и часовня, в которую прямо из господского дома был зачем-то прорыт подземный ход. (Эх, разминулись мы с тобой однажды в этом парке, я прибежала, а ты не подождала).

Но почему нам так приятны маргаритки и неприятны эти грязные альбиносы?

Вот я в который раз волокусь мимо этих стен, мне из них не выбраться, как и этим соседям, иногда забрезжит на солнце чистое окно, ну и что, прошло семь лет, и пройдет еще семь и семь, а "приметы жалких каждодневных трудов" (цитата) все те же и рифмуются с запустением и смертью.

Иногда выпадали ясные дни, да сколько их, да все они наперечет, вот и нам улыбнулась жизнь, вот и у нас высветлились дали, но прошли выходные, отдрезало радостное возбуждение, и снова покрыты копотью наши поверхности, снова покраснел нос от холода, сырости и малокровия.

Каждая стенка с Марата лезет в товарищи, но я не хочу, не хочу я с вами знаться. Я теперь не ваша.

А этот милый братик с деревянной змеей у Кузнечного - ты его не забыла, - мимо которого я опаздываю каждый день. Он рифмуется с тобой, каждый день я бегу мимо твоей рифмы, твоего покинутого сизомордого приятеля. Каждое утро посылает он тебе привет своей кистью, усердно разрабатывая ее от отложения солей.

Бегу мимо твердой ногой - сменяются цветы вдоль рядов: только что была сирень, а теперь уже, смотришь, и хризантемы появились, не успели мы нажарить корюшки, а уже и грибы отошли, остались одни разложенные кучками вдоль ограды Владимирской церкви подмерзшие солоники - все это мои утренние разговоры с тобой вдоль затянувшейся метафоры.

Одинаковыми байковыми одеялами снабжены мы были в самостоятельную жизнь. (Тайпи давно уже глядит на меня со своего места, теперь она угрожающе встряхнула ушами и встала за спиной. Надо идти, а холодно, темно, заморозки).

Начало октября, а пруд замерз. Холодина зверющий - как любил говорить Ремизов. Пока гуляли, представилось, что все мои дальнейшие письма, сколько бы их ни было, будут повторением одной и той же цепи: стены, фонды, старец со змеей, Тайпи, Марди, Дик - сколько их потом ни будет - собаки сменяются быстро - их век короткий. Нельзя безнаказанно бегать туда и обратно вдоль метафоры длиной в жизнь.

Когда теплоход встал в Сердоликовой бухте, кто-то вдруг полез на нависающую над пляжем скалу: все замерли. С ума сошел, остановите его, да что он делает! Но как легки были его движения, как нежно прикивал он к скале; вот, достигнув вершины, он уже спускается. Спокойно. Его левая нога что-то уж очень пружинисто раскачивается, пока отыскивает опору - от такой чрезмерности можно и поморщиться, но вот мягкий прыжок - и он, слава Богу, на земле.

Однако артистизма и изящества тут не отнимешь.

Неплохо добиться такой красоты и легкости в своих упражнениях.

Вот он тренировался в странных, никому не нужных занятиях - одолевать скалы. Да к чему вообще эти скалы, вон, большинство человечества живет себе и не подозревает, что есть такие уродливые нагромождения (а у нас тут хорошо, ничего такого - землетрясения, наводнения - не бывает, у нас, слава Богу, от гор и моря далеко, земля ровная, - сказала мне старуха, дочь лесника - 'центральные губернии России, "Жизнь Арсеньева"').

И вот около этих гротескных образований формируется редкое искусство на них взлезать. На потухшем вулкане поселяются колонии этих стажеров и совершенствуются вдали от посторонних глаз.

Но для чего расцветает это странное искусство - наверху пусто и нет ничего интересного.

И вот один из них, не стерпев герметичности своих занятий, спускается в пустынную бухту, куда раз в день приходит пароход с репродукторами, буфетом, экскурсией по радио, и дождавшись, когда туристы, искупавшись, набрав кучи камней, переодевшись в сухое, соберутся снова на палубе и будут ждать отправки, начинает демонстрировать свой смертельный трюк.

Итак, вначале захвати дух своей гибельной решимостью (да куда он, да с ума сошел), а потом заставь любоваться своим рискованным искусством на большой высоте.

Интересно бы только узнать, новичок он, недавно научившийся кое-чему, или опытный альпинист-скалолаз.

Отчего так волнует всякое проявление легкости, свежести, искренности, но не там в прежние времена, а здесь, рядом; как благотворны эти свидетельства среди выцветающей обесцвеченной жизни, значит, еще что-то может случиться, значит, не исчерпаны вытопанные, засыпанные битым стеклом пустыри. И наоборот, обычно сверстники и современники тоже не безучастно вмешиваются своими неудачными худ. текстами в мою жизнь. Да мне-то какое дело, да я-то причем, а при том, что вот тут похоже, и я могла бы написать такую гадость, неужели могла бы? И уже начинает казаться, что могла; и вот уже не подняться с дивана, отсыпаюсь целый день около кулька обгрызанных сухофруктов, а завтра на работу, вот и прошли благословенные долгожданные выходные.

Теперь не так, давно не так. Мои ранние утра теперь никому не отдам.

Да что же я сижу, когда такая музыка по части сорваться с места, да задать жару всем на удивление (чья это такая выискалась, раздайся народ, меня пляска берет)?

Тут, конечно, можно быть поосмотрительнее, эка невидаль - сорваться с места.

Не велика заслуга потреблять черные консервы воспламенения. Что завестись от поп-музыки, что от поп-книжки.

Конечно, следует шагать под музыку собственного оркестра (Торо), и что уж тут хорошего - воспламеняться от чужих ударников или пустых дачных бочек нового любимого писателя.

Однако ничего не поделаешь; независимость и самостоятельность, - твердим мы. Но что бы мы делали без этих счастливых опор, вовремя случившихся предзнаменований; однако не похоже ли это на горох без опоры; как он, бедный, начинает раскачиваться даже в безветрие, как шевелит он своими усиками, а то вдруг ухватится за сочную травку мокрицу, поползет за ней по земле и пропадет, если не натолкнется на что-нибудь более подходящее.

Жизнь разложилась на аргументы: все плохо - все пропало, или: не так уж и плохо - еще можно что-то сделать, еще может появиться нечто живое и новое, а значит, и я не пропала.

Но нельзя же так поддаваться внешним событиям, скажете вы. К черту среду, доказано, что среда ничего не значит, но если речь идет всегда лишь о заглохшем одеревеневшем овоще, а не всеволожском дубе.

Тут приехал родной отец, увидел на столе письмо от милой подруги, скомкал его и пригрозил, что пойдет к ее бедным родителям и скажет, чтобы она не смела больше писать. И тут стало не до танцев, любимая книжоночка лежит себе сама по себе, жалко и отца, и окончательно ясно - пропала, пропала жизнь, это просто до поры до времени оставили меня в покое, а осенью возьмутся и допекут, пойдет все по ихнему образцу.

Ладно. И не такое бывало. Мы встаем, утираем полотенцем лицо и выходим на улицу. Пора закрывать на ночь огурцы. Пока обрабатывался поучительный гороховый пример, цыганская корова вломилась в огород (наш с краю) и объела весь цветущий горох на грядке. Уцелело немного.

Зато рядом пышно разрослась кавказская кудрявая трава кинза (кориандр).

Первую неделю после ухода из музея я как будто приходила в себя после тяжелой болезни, по нескольку раз на дню спала, потом, укутанная в зимнее, вылезала из дома, плелась в сторону леса, садилась на первом же пне или поваленном дереве и часами грелась на апрельском солнце, с сочувствием смотрела на синиц (теперь я знаю, что синицы для санаторных окошек и аллей), потом, вздыхая, поднималась и тащилась домой - какое счастье, неужели все позади - так идут домой довольные своей жизнью одинокие старухи, вспомнив, что в подарочной коробке еще кое-что осталось, и потом долго и с удовольствием пьют хорошо заваренный чай, всегда из одной и той же чашки.

Однако пора вылезать из укрытия.

В деревне Румболово на Нагорной улице поднимаем капюшон и глядим на все четыре стороны.

Вчера был выметен мусор из служебного стола и было покончено с позорной арифметикой "семь и еще раз семь", и пускай эта еще одна школа остается и производит новые наборы. Когда-нибудь мы туда забредем, в этот переулочек.

Вот здесь, на проезжей части, был вырван клочок заячьей шерсти из шубки толстомордой Сталинки, она вылетела из дверей школы и бросилась наперерез автобусу номер шесть к дому напротив (счастливая, живет ближе всех), благополучно оторвалась от преследователей и была такова.

Завернем-ка на минутку в этот подъезд. Мне нужно проверить одну вещь. Так и есть. Мемориальной доски нет. То, что было написано золотыми буквами, оказалось ложью.

Нельзя сказать, чтобы мы учились читать по этой доске, но некоторым удавалось, зная ее наизусть, втереть очки ожидающим в вестибюле взрослым. Такой болван, прежде чем на него натянут цигейковую шапку со шнурком под подбородком, успевал вернуть свою голову и, как будто впервые увидев эту огромную доску, застывал перед ней и начинал громко читать. Так наша Тайпи, когда ее зовут, чтобы взять на сворку, и она знает это, вдруг делает вид, что на этом болоте еще не все потеряно. Она снова выводит потяжку к давно известной сидке, будто не она полчаса назад спорила с этой кочки бекаса.

Это был чей-то младший брат, Филиппок, но в нашу школу его бы не взяли. Наша школа была женская.

Интересно, что теперь там. А неинтересно.

Расчищаем письменный стол, убираем лишние книги, стираем пыль с бумаги, локтем отодвигаем прочие предметки. Расчищаем время, подготавливаем поляну, вырубам подрост.

Готово. Ничего не мешает.

Широкий прокос в судьбе.

Голая хозяйка хутора входит по колено в воду и выкашивает узкую дорожку в прибрежном густом тростнике, вот она уже по пояс в воде, можно выплывать на середину озера.

Ленинград  
1979

Белла Улановская принадлежит к молодому поколению ленинградских писателей, которое, впрочем, тоже приближается к своему сорокалетию. Участник литературных объединений при Детгизе и при библиотеке им. Маяковского, игравших в 60-е годы заметную роль в литературной жизни города. По профессии филолог, специалист по Достоевскому, один из организаторов музея Достоевского и его многолетняя сотрудница. Живет в Ленинграде.



Анри Волохонский

# ЛИРИКА В ОКТЯБРЕ

## К МУЗЕ

Привет, Полигимния! Старое время ушло  
Нынче в вечности мы наступаем ногами на струны и пляшем  
Мы под Ветхий Завет положили его под седло и в дупло  
И забыли его, позабыли его, знать не знаем его и не  
нашим его и не пашем и вашим.  
Ну а сзади-то пропасть чего благодати  
И дать что ни взять и плясать - и...  
...плясали по краешку соли насыпали в борозду в бороду роду  
Кум кумы свояку плутовского родства заплясали  
гражданством в свободу  
И заплесневели гвоздями на косяках  
Уперлись в маковки и стоя метим в дети  
С петлей в руках, с зубами на замках  
С костями на руках чтоб к выси вздеть их.

Сколько струн столько строк на высоком орудьи твоём и моём  
То что будет - то спереди с грохотом лезет, что было -  
то сзади бесшумно сползает  
Обернись! - или нехотя нет, или тщетное - вот, но бежит  
водоём

Только квакает местная сила окрестных хозяек  
Да еще - по-старинному пьян  
Под державой другого рожденья  
Наливающий сокол в полета стакан  
Светлоструйным движеньем.

## ПУСТОЙ СОНЕТ

Отдадим должное миру и славе  
Поставим на свои места латы и митры  
Предположим, что все привилегии неимущим  
Не сто́ят выеденного яйца.

В сущности, так оно и есть,  
Но за неимением лучшего  
Противоположное мнение  
Принято в качестве временной полумеры.

Поэтому умрем стоя.  
Стоило ли всю жизнь воровать  
Чтобы на закате дней  
Оказаться лицом к лицу  
Перед необходимостью  
Искать справедливости  
У первого встречного?

## ПЛАЧ

Скажите, не умер ли плач?  
Ах зачем мы хороним его при огромном стеченьи народа?  
Да не вышло бы хуже лепить его серый калач  
Потрясая об яблоко грозную твердь небосвода -  
Наше правое дело собрало на зрелище тучу ворон,  
Так скажите - не умер ли он?

Если так - не по жести чернила  
Или невидаль - вдаль запустить искусительный винт  
В гибких лентах, - и вот он живет и бежит  
Обернувшись не надо ли было  
По металлу из легкого льда;  
Говорите: забыли иль да?

О веселая память! Но дерево тенью улыбки  
Покрывает ветвями готовую падать росу,  
Только листья висят, да роняют слезу  
Бледных туч серебристые рыбки,  
Поливая сады неудач.  
Так скажите - не умер ли плач?

## ФЛЕЙТА

Чистые формы содержат в природе лазурь:  
Девушка пляшет, а старец дрожащей рукою  
Плачет старухе добравшись клюкою  
Покуда юношей спел поводырь.

Честные люди редки, а нечестные и подавно -  
Где бы мне слово такое найти, чтобы спрятать его и  
сказать:

- Кажется стоило б знать  
Да случилось недавно.

Силится в небо родить, трудится мать  
А сказать - почему?

- Мы дети света, мы рожаем тьму  
На грани голубой.

"Рос бы я деревом, тек бы я речкой,  
Ветром бы дул" - но не в этом труд:  
Светлые формы из зеркала падают в пруд  
Синяя лебедь людской ковыляет на берег за свечкой.

Что же мы скачем так долго за нею мелким галопом?  
Что нам, казалось бы, честность и нрав доброхотных  
старух, скакунов, стариков и плясуний,  
Что нам их чистота - и вдаль провожает который слепого  
под ручку на берег лазурный -  
Плетеный ковер, да огней погорелая копоть?

Что нам, что им и что им до нас, если в аквамашиновой  
чаше

Разве поставят весы или смерят никелированным метром:  
"Тек бы я деревцем, дул бы я речкой иль ветром" -  
Что им, что нам до чудес в улетающем нашем?

## КОРАБЛЬ

Он то он тонет-тонет то нет-нет  
Со всем стоячим и бегучим такелажем  
.....  
Что станет с золотом, что будет с экипажем?..

Сломалась мачта и в пробоинах борта...

\*\*\*

Призрачен вид этой постройки  
Ибо только непосредственное прикосновение  
Успело убедить нас  
В том, что преграда между воздухом и водою  
Не может нести человеческое тело,  
Но разве только фигуру.  
Значило ли это  
Что ее следовало распилить вдоль  
И пустить на обшивку?..

\*\*\*

А волны гуляют по палубе.  
Иные останавливаются на углу

Затем поворачиваются и качая бедрами  
Шествуют в противоположном направлении  
Там их встречают другие прохожие  
Они обмениваются приветствиями  
И вдруг растекаются как блины

\* \* \*

Ужасное бедствие!  
Мы спасаемся на полупорожних бочках!  
Хвала Дионису!

## **ВИД НА ОЗЕРО**

Стоит гора, по ней течет река  
Кого благодарить за эти танцы  
Кто с нею вниз хватая за бока  
По чьим кустам трепещут оборванцы?

Течет река, гора стоит под ней  
Толкая воду неподвижным телом  
Кто дал ей быть, расставив скалы пней  
По простоте искусством неумелым?

Над обнаженной мимикой горы  
Река пиликает еще одной музыкой -  
Кому ж это пришло еще игры  
Добавить врозь с пейзажем двуязыким?

Чья мысль была, однако, столь тонка?  
Стоит гора. По ней течет река.

1980

Владимир Губин  
**ИЛЛАРИОН И КАРЛИК**

Сказано на Руси в-4-х частях  
доверительно  
Михаилу Эфросу

**часть первая**  
**КАРЛИК**

**1**

Я должен сделать признание о собственной смерти.

...Меня не устроит внезапная смерть ради подвига либо еще для чего-то, чему поклоняются многие глупые люди, - меня не утешат ни траур, который по мне кто-то будет носить, ни рассказы о том, кем я был.

Я полагаюсь целиком на сладкую смерть. Верую в мифы, что ее главное благо заключается именно в том, что она не коснется меня слишком скоро. Приемлю наличие собственной будущей смерти, но только такой отдаленной от этой минуты, когда, закурив, я пишу эти строчки, что нет основания для беспокойства.

Я смертен не хуже других, но пока я живу, запрещаю меня убивать.

**2**

Дорога неподвижно ползла вперед.

Карлик не чувствовал разницы жребия - шел и не шел машинально по лужам по ней прямо к башне, а свежесть просторного летнего утра творила прохладу за шиворот и разгоняла озноб вдоль спины, вызывая желание быть без причины стыдливым. На этой дороге за ним незаметно следили какие-то внешние силы, проникшие в пульс. Невидимки. Карлик шагал наобум и куда-то незнамо куда, повинуюсь их векторам. Карлик был счастлив, и в этом языческом счастье он был к себе жаден. Конечно, травинку, растущую нежно и низко у ног, или птицу, летящую к дереву клю-

нуть на завтрак червя, он относил, наряду с непросохшими лужами, к мелким предметам в своем понимании счастья. Травинке у ног или птице на дереве не изменить его жизни по-другому. Зато несусветное нужное нечто на каждом шагу с удовольствием встретиться может; мечтал он о подлинном счастье.

Издали черная башня с горбами похожа на ветхий старинный корабль на суше. Просился сюжет, как пираты похитили на берегу чью-то фамильную шхуну в надежде на выкуп, но вскоре, когда надоело, таскаясь, возиться с ней, бросили, чтобы не стать от нее бурлаками.

Близ башни сушилось на длинной веревке белье, как близ прачечной. Это белье создавало дурацкий обман относительно неба. Казалось, все небо скандально увешано точно таким же бельем, потому что над башней сегодня виднелась, как сказано в сводке прогноза погоды, нечеткая белая пена клочками по синему фону. Белье на веревке, как пена, и пена с небес, как белье, впечатляли. Карлик поежился - будет обидно за принципы, коли заставят на улице несколько раз сверху донизу переодеться теперь во все чистое.

### 3

Карлик набрал уже сорок лет отроду с гаком на случай внезапной кончины. Карлик имеет мужскую мужицкую внешность в уменьшенном виде, как степень подвоха на случай внезапной анкеты, когда посему тебя могут схватить за загривок. Карлик озлоблен своей шевелюрой, которая чешется. Волосы Карлика жалят уродца в башку хоботками, скрипят под гребенкой до влажных царапин и портятся к вечеру, напоминая обрывки сухой побледневшей травы близ публичных сортиров, где домик за домиком, рядышком эти светлицы построены гражданам в знак одобрения массовых скопищ по части конфуза. Карлик беспомощно беден, украшен в дешевые постные кольца на потных руках, одевается как-то излишне тепло даже летом, по-ватному, по-шерстяному, хотя не боится простуды, ничем отродясь не хвораю, а врагом его был в нашем городе Илларион.

Карлик зачислен чиновником в Башню. Владея таинственным почерком лучшего писаря, Карлик обязан быть вовремя ловок без права прибавки к окладу, равно и без права обиды на это. Карлик поставлен вносить ювелирными буквами в книгу подсказки великих ученых, цитаты героев, слова корифеев, экспертов, чьи звездные головы собраны в башне, откуда исходят важнейшие рекомендации для государства - дабы ни одной завалящей мысли титанов пропасть у казны никуда не посмело. Карлик устал на работе, не раз уже пробовал кинуть, как вызов, к шутам эту должность и кануть в изгнание - ночью, без корочки черного черствого хлеба, за тридевять гор и планет, - но врагом его значился Илларион.

Карлик содержит семью и квартиру с балконами в сторону моря. Народу в семье только два человека, он сам да родная сестра - это все, что осталось на свете от папы и мамы. Наверное, кто-то сестру переврал на восточный манер при крестинах. Вместо

нормального женского имени - Валя, Виктория либо Наталья с Надеждой - сестра носит в метрике фразу в четыре затейливых слова, которые пишутся через тире. Поцелуй-Меня-За-Ножку. Родители то признавали такое красивое имя букетом - его можно петь, говорили они, - то, хлебнув алкоголя, бранились, когда было самое время для пения, а не для плача, бранились, зачем дали дочку в обиду. Сестру ее имя совсем не тревожит, конечно. Сестра - малохольная, то есть она вовсе дурочка. Так на нее согласилась природа. Дурочка эта зато проявила строптивый характер на счет наготы. В детстве она выползала наружу сама из пеленок. Напрасно ее зашивали в них нитками накрепко, чтобы не выползла. Был у нее несомненный талант против этой помехи. Позже она научилась выказывать приступ истерики, стоило только велеть ей одеться, кусалась и пряталась в темных уголках и под лавки, а жили в деревне. Соседи и знахари брались привадить к нарядам дурочку, но затем, отступив от нее, подивились: не можем, глаза просят милости - этак не сладишь. И местный священник не сладил, заметив: пуцай будет голой, как свечка, в чем фокус. Она не любила домашних животных, которые тыкались мордами нюхать ее неодетое тело, но вдруг полюбила корову. Корова не раз подавалась доить ей. Карлик однажды в хлеву наблюдал, как забавно гуляли лопатки под кожей у сгорбленной в позе на корточках дуры, смотрел, как блестели живые молочные капли на длинных коленках, развернутых врозь, и отдал бы сейчас все за эту картину, смелее которой не помнит, не знает. В городе нынче сестра совершенно пропала на воле. Неделями нет ее дома. Летает по небу подобно большой белой птице, чему неизвестно когда наострилась. А Карлику в душу пролезло предчувствие близкой беды у нее - не сорвалась бы с голу, как сослепу, дурочка в море. Чтобы прогнать по ночам беспокойство, Карлик рассерженно держит балконы открытыми настезь. Нередко сестра с облаков прокричит что-нибудь и опять прокричит на большом расстоянии. Карлик вступает в беседу с ней вплоть до утра, и разносятся в городе странные крики. Карлик при этом не думает скрыть от сестры, что врагом его бесится Илларион.

## 4

Я не осилю сравнить Графаилла с Гомером - не вижу, за что зацепиться у них в биографиях, чтобы немного приблизить читателя к мысли, что если стихи Графаилла не слишком по-гречески вовремя писаны, то и Гомер не писал свои вовсе. Это не жалоба на непролазную мглу в пустыре, не предлог отказаться продолжить работу - это лишь реплика к слову за скудностью фактов. История не обеспечила мне вероятной поддержки в архивах. Больше того, потерялись в истории обе провинции, где находились к птерки указанных наших поэтов.

В стихах Графаилла... Чего там в стихах Графаилла, бедняга дотошный читатель формально не выяснит сроду. Во-первых, поэт Графаилл не успел разобраться в них сам, потому что, пока разбирался, едва не ослеп от кошмара, когда попеременно с огнями

возникших по комнате свечек и спичек забегали тощие белые мыши в глазах, откровенные злюки. Те мыши полезли тотчас же к нему в постель, побежали по стенам, отгрызли с одежды большое количество пуговиц, чтобы катать их со стуком по полу, разбили бутылку спиртного, напились, нажрались и сели грозить на него кулачками, но утром он вынес их спящих за хвостики в мусор. Молва утверждает про этих мышей, что с обдуманной целью он вынес их спящих за хвостики в мусор, а сам повязался платочком. Вернувшись, они бы его не узнали в платочке, они, вероятно, решили бы сдуру, что это какой-нибудь практик. И во-вторых. Во-вторых, я не стану скрывать, что из хаоса взятых обыденно порознь слов Графаилл день и ночь сочинял свои новые фразы, выискивал, мучая каждое слово, надменные новые рифмы всю жизнь напролет и выдумывал новые образы, как образа, но всего сочинил таким способом еле заметную в обществе долю коротких лирических песен и то ни одну, говорят, не закончил по сути, натыкал побольше туда многоточий; пригоршни точек сгущались, как сумерки.

Может быть, не было вовсе и этих стихов, но люди поверили в них, полюбив эту веру в себе.

А что было в-третьих-в-четвертых - давайте отстанем касаться.

О каждом из нас можно просто сказать: жил один положительный тип дядя Вася. Петров, Иванов или кто-то другой. Нигде о поэте так просто не скажешь. Поэту чудинка нужна в некролог. Дескать, творил он. И, дескать, ходил он в журналы. Помнится, в день накануне его водворения в башню лежали в карманах поэта заявки в столичный журнал кое-что пропечатать на первой странице. Однако в редакции данного органа два мужика прицепились к его бороде, а его борода - словно это снаружи торчит фонарем в сочетании с крупной зубастой улыбкой душа - привлекала при жизни к себе любопытных и пьяных, как самая рыжая штука на свете. И вот, позабыв обо всем, эти двое устроили массовый праздник с его бородой, потому что им было начхать на такие заявки. Они взяли бороду на руки, чтобы показывать всем эту редкую вещь в лучшем виде, ссылаясь на то, что Гомер устно тоже оставил потомкам труды.

"О, нравы! Хватают и носят за бороду, не обращая внимания на интересы лица, - записал Графаилл в дневнике. - Возмутительно долго взад-вперед носят по мере асфальта..."

В общем-то, в день накануне его водворения в башню поэт Графаилл, утверждает молва, пребывал в Олимпийских горах своей творческой зрелости. Маялся там у последней строки. Не мог окончательно выбрать ее варианта полегче.

Горные складки и выступы гор отрешенно смотрели на это.

Словно гигантские вещие книги, стояли они, расставленные по сторонам.

А когда на него одного, как огромный кулак, чтобы разом повергнуть на землю, свалился приличный кусок от ближайшей скалы, Графаилл заорал:

- Все, теперь не желаю творить эту строчку плашмя!..



## 5

Странная это комиссия - мысленно видеть сквозь время, то бишь феномен интуиции. Вроде бы нет ничего интереснее в плане житейских успехов, чем эта возможность заранее знать обо всем предстоящем, - казалось бы, что тебе, помни, какой ты везучий, казалось бы, можно спокойно хранить наготове любое надежное средство защиты от всякой стихийной напасти, от всякой заразы, которой тебя не застигнуть врасплох, и, казалось бы, вот где твоя поборола, взяла свое, - но именно в плане житейских успехов он изо дня в день при такой синекуре записывал впрок чистоганом породистый шиш в свою пользу. Карлик находчиво не признавал в себе этой возможности мысленно видеть что-либо сквозь время, возможности, не подходившей у Карлика ни под какое разумное определение, всячески пробовал скрыть ее от себя. Для этого Карлик нарочно растрчивал силы в пространстве на постороннюю, в сущности, спорную практику - он, хоть бы хны, мог уже перечислить у вас барахлишко в закрытом секретно на гвоздь сундуке, безошибочно пересказать, не читая, любую страницу из книги, которую видел впервые. Когда было больно без повода, Карлик страдал, объясняя себе это тем, что поблизости кто-то страдает, имея в избытке на то свое личное горе, которое Карлику с ним надлежит разделить, горевать. Правда, название этой способности Карлика видеть что-либо внутренним зрением, то бишь опять феномен интуиции, было условным.

## 6

Карлик разгадывал тайны не сам. В Карлике жил вездесущий двойник, сообщавший ему эти тайны. Двойник наводдал собой все и хватался за все без разбору - мастак на все руки и ноги, двойник то и дело подсказывал Карлику, где в ожидании праведной кары трусливо скрывались в энный конкретный момент его обидчики, ежели Карлик тужил, что они уже вымерли, спятили. Этот двойник без оглядки на красный сигнал светофора по-барски во-дил на больших скоростях поезда по железным дорогам планеты, ни разу не сделав аварии, он принимал основное участие в освободительных войнах племен и колоний, куда приглашался под видом чинить старикам патефоны, а сам в это время вытаскивал в качестве голого негра шифровки из пасти зверей и домашних животных противника, взятого в плен, и еще был готов подсобить слабой женщине в родах - двойник наводдал собой все, если даже не двигался с теплого места на драной домашней кушетке в предутренней дреме, светать двойнику не хотелось.

Когда беспощадная бедность хватала за горло и брюки, двойник вместо Карлика шествовал тошно к базару выпрашивать лишние мелкие деньги у сытых прохожих. Другой бы поспорил, а этот по-ложенным образом сетовал молча на график. Был график составлен - кому в какой день с приближением случая бедности будет черед промышлять, и по этому графику лишь двойнику выпадали плохие дежурства.

Двойник норовил осторожно прокрасться к базару, как зверь. Добыв себе горстку монеток, двойник торопился к прилавкам. По обе руки от него собиралась толпа любопытных смотреть на картину, где сытые граждане будут при нем издевательски долго вершить по порядку свои торговые сделки. Сытые медленно медлили, чтобы унижить его своим видом и весом, заняв себе первое место. Они погружали свои волосатые сытые руки по локоть в кошелек, в серебро, ковырялись там сколько хотели, куражились и напоказ шантрапе покупали товар наконец на полушку, чего посрамленный двойник себе вдоволь позволить не смел, потому что, робея, брал больше, спешил и выкладывал полностью собранный куш.

## 7

КАРЛИК-СУДЬЯ. Продолжаю допрос по делу Наполеона.

ДВОЙНИК. По делу Наполеона могу показать следующее. Способности Наполеона были рассчитаны на большее. Для них не хватило в истории уровня. Практически после того, как он все перестроил по-своему, эти способности гения скоро остались без дела в пустыне порядка.

КАРЛИК-ИСТОРИК. Но есть и другой взгляд на это. Наполеон изнурил себя нечеловечески тяжелой работой, устал, надорвался, иссяк, и пошла полоса бесконечных ошибок и промахов.

ДВОЙНИК. А я тебе что говорю? Я тебе говорю то же самое.

КАРЛИК-СКЕПТИК. Ой ли?

ДВОЙНИК. Я тебе говорю то же самое так. Ты мне говоришь то же самое иначе. Суть остается в любом варианте одна, только термины разные. Термин - момент состояния сути. Писатели лучше других это поняли. Каждому слову, какое они написали, хотят роли термина, чтобы оно выражало момент состояния сути.

КАРЛИК-ИНЖЕНЕР. Но скоро статьи и стихи мы доверим писать электронным машинам.

ДВОЙНИК. Кто делает эти машины?

КАРЛИК-ХОЗЯИН. Кто? Люди, конечно.

ДВОЙНИК. Зачем они сами не пишут?

КАРЛИК-ФИЛОСОФ. Во избежание путаницы. Машины точнее, логичнее их.

ДВОЙНИК. Логичнее их и глупее. Сам принятый стереотип отношений между людьми при создании чудо-машины всегда обусловлен в границах не всех, а отдельных, довольно конкретных понятий, как цель, сверх которой в машину ничто не заложишь. Машина по этой причине гораздо давать информацию типа "да-нет" или "минус-плюс", но спасует, когда попадается задачка, в которой простых, однозначно конечных решений не будет, а будет лишь только момент состояния сути. Ну, словом, у нас есть порог интеллекта. За этот порог не проникнет машина.

КАРЛИК. Боюсь, что машина во все наши дыры души когда-нибудь ухитрится проникнуть.

ДВОЙНИК. Нет, машина не сможет смеяться.

КАРЛИК. Научим, заставим.

ДВОЙНИК. Начнешь щекотать ее?

С ключом наготове Карлик помедлил у двери, не отпирая ее, - так медлят несмелые люди у двери, которая им не знакома, так церемонно у двери начальника мучаются бледные низшие сошки, надеясь, что можно, авось, им туда не входить, да и ключ имел форму ножа - ни зубцов, ни бородок.

КАРЛИК. Входи же! Чего ты набычился?

ДВОЙНИК. Нет, ныряй туда сам.

КАРЛИК. Спасаясь, значит? Не понимаю, зачем это.

Сколько бы Карлик ни медлил у двери, двойник-побирушка стоял на своем - не хотел в эту башню.

## 8

Тсс! За дверью внутри помещения был оборудован актовый зал, как большая игрушка. По стенам в прозрачных панелях таинственно медленно двигалась жидкость и ровно шумела система, название коей скрывали, а врать от себя в этой книжке у автора мало терпения. Между панелями, мигая, располагались кружочки контроля от импульсных трубок, и жилисто щурилась сложная сеть проводков с проводками. Вся эта веселая иллюминация-коммуникация знавала эффект раздвоения вас к восприятию звука. Вы вроде бы слышите все - шум системы, шаги, различая свои и шаги посторонних, слова, голоса, понимаете их - и при этом находите, будто сейчас на одной непомерно растянутой ноте в зале строжайше блюдетя стерильная тишина. Вдоль стен по периметру зала...

Но стоп - осторожно! Читатель напрасно торопится встретиться с новенькой хохмой вдоль стен по периметру зала. Вы можете встретиться с хохмой, как с хамкой.

Скажите, какие глаза у вареной вороны?

Позвольте расширить у вас представление, что значит актовый зал, как большая игрушка. Это вместилище смеси музея античной скульптуры с больницей и цирком, куда не советую брать с собой ребятишек. Вдоль стен по периметру зала в строгом порядке стоят на фигурных подставках-протезах мужские и женские головы без продолжения тела и тщательно наголо бритые. У них поголовно нет спеси в глазах. Синие, серые, карие в прошлом, эти глаза постепенно состарились в белые: белые, как у вареной вороны. Вялыми струпьями на роговицах висят лохмотки - это ныне их бывшие веки. На черепа, чтобы знать, кто таков, и не путать с другими, поставили каждому номер арабскими цифрами по трафарету.

- Все лучшее снится актрисе, - грустит голова Графаилла.

- Той кукле?

- Мне дарят понюхать чеснок, - уточняет свой сон голова от актрисы.

- Как дарят понюхать? - не верит в чеснок голова Графаилла.

- Как, девкина ты перепонка? - не верит в чеснок голова номер восемь.

- Карл, прикажите хамью извиниться! - требует голова Графаилла.

- А в чем, колбаса ты стервячья? С какой это новенькой стати? - кричит голова номер восемь ответ голове Графаилла.

- Ни в чем, ни с какой. - Голова Графаилла робеет. - А что-бы чего-нибудь было. Ты извиняешься, я извиняюсь, оно так и начнется.

- Каменоломня! - кричит голова номер восемь ответ голове Графаилла. - Вот я пожую для размеса харчок и как шлепну тебя в оба уха!...

- Не справишься правильно харкнуть.

- Асимметричный картофельный шар, я не справлюсь? Я памятно харкал. Бывало, мокрота летела на землю, как будто кусок от мозгов оторвался.

- Пожалуйста, я извиняюсь, - зеваает остаток актрисы.

- Нельзя вам, вы дама, а я без штанов, - говорит голова Графаилла, подумав. - Оно неудобно получится.

- Хотите сказать, что у вас видно грязную талию, папа? Я угадала?

- Грязную? Ладно. Годится. По мне лишь бы что-нибудь было.

- Мул мысли, я вел разговор не с тобой, а беседовал... как ее... с этой, которая вся косоротая, понял? - кричит голова номер восемь ответ голове Графаилла. - Впрочем, с кем именно, это тебя не касается.

- Не буду мешать вам, - вздыхает голова Графаилла. - Спою.

- Я, дорогая, носил в свое время две талии сразу. Одна была после свидания с дамами - скользкая талия, как у селедки.

- Жаль, нету фиги с собой, - пожалела, вздохнув, голова Графаилла. - Дал бы понюхать ей фигу.

- Вы, папочка, с фигой - пошляк.

- Я фигами смахивал слезы.

Карлик в обед наловчился питаться ржаными краяхами с морем - вычерпывал новеньким ковшиком в море сардины, а просто водой сыт оттуда не будешь.

- Не двигайся! - вдруг закричал на него номер восемь.

- Тише вы! - Карлик выбрасывал рыбные рваные кости в кулечке в отхожее место.

- Кого мне всучили помощником, гады? - Восьмерка вошла в состояние ража во гневе.

- Согласна, - завыл сквознячком отставной голосочек актрисы. - Согласна, мальчишка ужасно мешает покою. Нет у него благородных манер. Я спала.

- Спала! А я думал за вас, отдувался, - сообщил номер восемь. - Один за всех что-то, кажется, думал.

- Думал? - Карлик опешил от удивления. - Как думал? О чем же?

- О рыбах. Теперь о чем думать, не знаю. Загрыз ты их.

- Карл, когдаходишь, - повторно возник просквозить голосок величайшей актрисы, - стучать надо не сапогами по доскам, а в дверь перстеньком перед тем, как войти. Я спала, и меня сапоги сбили с толку.

- Но Карл не вошел, а напротив, - сказал Графаилл. - Собирался покинуть.

- Когда он собрался, мне, может быть, резались мысли, что рыбы голые и без ушей, а теперь что? Он хищник. Я видел, по

штучке загрыз и собрался. За эти проделки ему надлежит увольнение. Сам сообщу куда следует.

- Ах, перестаньте грозить малышу увольнением, - скользил, как опаздывал в залу на бис, голосочек актрисы. - Давайте примерно накажем, а там станет видно. Карл, из какой вы среды? Оставайтесь.

- А то распустился! - пыхтел номер восемь. - Такое, такое дадим наказание! Кару!..

- Но я уже склонна простить его.

- Дамские жидкие слюнки.

- Не слюнки, а милость, башка номер восемь, - вмешалась опять голова Графаилла.

- Пусть он расцелует меня для начала, - решила актриса.

- Поди, Карл, сюда! - требовал номер восемь. - Прокушу тебе ухо.

## 9

Давеча Карлик успел притвориться нейтрально глухим к ахинее своих подопечных. Он, игнорируя их вопиеш, прошмыгнул сквозь игрушечный актовый зал в боковую служебную келью, которую выбрал себе, так сказать, под солярий. В келье впотьмах он с порога зажег электричество, чтобы пройти безопасно к столу, не наткнуться на прочную прочую мебель и средства пожаротушения, не оступиться, прищурился. Вспыхнувший свет щекотал воровато глаза. Грубая теплая келья зияла утробой под стать первобытной пещере с неровными грязными сводами на потолке. По стенам скользили насмешливо на пол отдельные черные пятна и черные жидкие звезды. Иные случайные стены считаются все негодными под заселение - не всяк добровольно согласен устроить свое бюро в яме, - но Карлик не брезговал этой пещерой без окон, где было тепло до костей, как в парилке, и где телогрейка на нем и портки промокали от пота, царапая кожу. Карлик пробрался в конторское жесткое кресло за стол осмотреть за столом коренасто-крестьянские руки, которые он у себя по бокам замечал только в башне, стыдясь их, что каждая чем-то похожа на плуг, - замечал как спросонок, внезапно, - а после того, как заметит, осматривал эти живые куски с интересом привыкнуть к ним снова. Без ведома Карлика руки частенько сорили в пещере. Они хватали без ведома Карлика второстепенные мелкие вещи, напильники, сучья, флаконы, которые Карлик не знал куда деть и держал при себе, пока вещь надоеет или вдруг приспособится к месту, а руки хватали другую, а руки брались самовольно вычерчивать рожи и буквы на чистой бумаге, выскивать блох у него под рубашкой.

Карлик боялся погибнуть от собственных рук в повседневной текучке.

Кстати, конторское жесткое кресло...

Впрочем, не надо - не надо бахвальства по поводу этого кресла.

В табеле здешней хозяйственной части не числилось этого кресла по смете. Вместо конторского кресла в пещере стоит на

карачках железное нечто со свалки. Ранее этот старинный предмет назывался, небось, тарантасом, куда полагалось входить высоко по ступенькам, и был на рессорах - в дорогу для длительной качки по кочкам.

Карлику в руки попался пакет от какого-то Общества Первых.

- Это еще что за общество? Надо же, Первых! - задумался Карлик в рабочем порядке. - Ни разу не слышал о нем.

Общество Первых ему сообщало, что здравствует. В славное Общество Первых, куда допускаются граждане строго по признаку личного первенства - первый глашатай-босяк или первый гончар-хлебороб, безразлично, - сегодня по конкурсу принято более кругленькой цифры действительных членов сверх плана. Лидеры-люди на днях соберутся на первый конгресс и впервые окажутся бок о бок вместе. Общество Первых не в силах, однако, составить программу конгресса толково само. Пока что конгрессу закуплена разная рыба икра всухомятку. Желательно в целях престижа придумать новехонький способ ее поглотить на солидной основе. От первого вора-тихони в масштабах страны вплоть до первого деда-радиота, включая сюда одного чистоплюя-солдата, который пока в своем роде был первым, все Общество просит у Башни совета, просит пожертвовать парочку руководящих идей, а то нависает угроза пленарно сожрать всю икру не по делу...

Карлику ясно: бесстыжие лысые головы Башни не поведут в направлении помощи Обществу Первых ни ухом, ни рылом с фигурных подставок. Во всем государстве никто не знал их подноготную. Многим казалось, что лысые заняты в Башне мышлением сутки по суткам и сутки по суткам готовят с позиций новейших научных теорий запасы добротных практических мер на пути процветания нации аж на сто лет наперед, работают яко машины, а лысые тратили все свое в сущности лишнее время на склоки и свары, подобно тиранам в плохой коммунальной квартире. Их мозг обленился - не ведал никак срама смерти. Да разве теперь это мозг у них? Весь этот груз разве прииск ума?

- Мозг у меня стал никчем, как воск, - заводил иногда Графаилл что-то вроде начала сонета.

Карлик жалел их и брал на себя их работу.

Карлик не мог объяснить себе верно причину, зачем это делал.

Причина, скорее всего, была та же банальная, общая - сила инерции при заблуждении, случай, когда человек выбирает однажды себе непроторенный путь, не подумав, насколько он делает правильный выбор. Когда же затем он окажется глупо на ложном пути, эта сила инерции не позволяет ему воротиться. Бывает, что мы - далеко в незнакомых местах, как на крыше. Карлик сначала замыслил спасти от позора знамена своих подопечных, и только. Владея пронзительным слогом, он составлял за них документы на фирменных бланках от имени Башни развесистым почерком, как виноградные гроздья, - готовил кому-то советы, присяги, прогнозы, проекты, кого-то заочно за что-то судил и кого-то заочно чему-то учил, и терпел неудобства, когда за такие услуги положены почести. Сытые граждане скопом обычно теснили его на газон при

посадке в общественный транспорт-автобус, куда залезали, как в мякиш, толкались, не зная о том, что затисканный Карлик инкогнито правит страной, нелегально командует армией. Впрочем, возможности Карлика были смешными на деле. Все новшества и начинания Карлика нравились Карлику лишь на бумаге, в зародыше. Далее в разных дальнейших инстанциях и канцеляриях их, как всегда, доводили до степени крайности. Их толковали по-своему вольно в газетной пустой болтовне, превращали в чудовищно глупые жесты, а следом за тем, исказив, умножала толпа. Трудно сказать, почему первородная истина, добрая в наших руках, получает нередко иные черты на практической службе и может опасно работать во зло. Помнится, Карлик боролся за право людей на слова, полагая добиться им полной свободы, - иначе, твердил он, достатка не видно, - в итоге был принят Закон обязательной гласности, то есть закон думать вслух, а не молча. По городу бегают сплошь говорящие люди, не смея скрывать, какой вздор тебе в голову лезет. Я, старый, пошел за капустой. Я бедная, стыдно рожать еще двойню. А я иностранец, а я иностранец, у нас в Иностраннии думать публично не модно и, должен признаться, живется не столь интересно. Порой в говорящей лавине мелькали немые. Немыми в законе объявлены все, кто тугой на мозги, нелюдим по причине отсутствия в черепе нужных извилин, о чем полагается оповещать языком по-другому. Высовывать надо язык, раз дурак. Нет, не дразниться оранжевым кончиком, а благодарно высовывать бóльшую часть языка изо рта по-собачьи на ветер. В этом виде язык по своей беззащитности может быть равен какой-нибудь слишком интимной срамной части нашего тела. Карлик однако не знал, что в ближайшие дни он увидит язык в самом гадостном смысле - то будет особенно страшный язык, непохожий на все остальные, побольше иной рукавицы и черный. Но это в ближайшие дни. Пока что, желая не выдать себя надзирателям службы контроля, Карлик пошел горевать в дураки и носил свой язык на виду, как они, даже лучше любого из них, набекрень, отчего при достаточно длительном акте обмана лицо деревенело, душили позывы на рвоту.

## 10

Голова номер восемь когда-то была ничего себе цаца. При жизни она представляла известного физика из академии, где она стучалась лбом в капитальную стену, шатая науку. Выстукал физик медаль, и на этой медали оставил потомкам свой пламенный профиль, с которым теперь у него ни малейшего сходства.

Дома однажды спросили его сыновья: хорошо ли быть физиком? Или богатым раджой все же лучше?

- Главное в жизни - познание. Вы набирайтесь побольше ума, а как станете мудрыми, сами спросите себя, хорошо ли радже? Полагаю, богатый дурак и дикарь одинаковы. И тот, и другой непрерывно скучают по мясу.

Дай теперь этому физика заново тело, - конечно, не всякое тело, которое в материальном значении только считается телом, тогда как само никакое не тело, а камень, железка, пластмассо-

вый лед или что-то другое, чего никому не покажешь похвастать, - дай в руки физику собственность, где он останется вновь за-всегдаем! Конечно, тут надо вернуть еще руки - желательно длинные обе. И ноги - пусть будут кривыми, нелепыми, лишь бы шагали, когда он пойдет бедокурить, а физик тотчас же пойдет бедокурить. Физик потребует мяса в желудок - самую сильную порцию самого бычьего мяса. Физик и впредь будет требовать полностью мяса. Съедая по курице либо по свежему кролику залпом за каждый присест натошак без гарнира, которому надо в кишках много лишнего места, физик найдет заведовать мясом на складе продуктов, дабы ублажать и беречь свое новое прежнее тело, как собственный спортивный инвентарь, потому что с одной головой налегке не до физики молодцу было.

## 11

Карлик спасался в пещере. Обиды от хаоса внешнего мира, заботы постичь и простить сумасшедших, детали и спорные факты, которые нужно расставить по датам и рангам, найти для них общий порядок и связи, придумать названия, все это суетно-сиюминутное не проникало в пещеру, в тепло. В пещере ничто не мешало не двигаться сколько угодно. Мысли у Карлика в этой пещере строились складно в законченную картину, точнее которой нельзя было выразить сущность явлений, - Карлик не думал в пещере, а знал наизусть каждый штрих на картине, которую мысленно видел всю сразу, - и даже не знал и не видел - он сам в ней участвовал, в этой картине, - он был в состоянии блажи, когда окружающий мир до мельчайших подробностей чувствуешь, словно себя самого. Карлик один изначально был семенем этого мира. Возникнув из Карлика, мир почерпнул в нем свою очевидность.

Вообще-то, мы все самозванцы где-либо.

## 12

А вот на посмертном собрании в Башне висит на шнурке голова-новичок от хирурга. При жизни хирург потрясал головой перед стадом послушных зевак, признавался кумиром у них за решительный жест подбородка, был вспыльчив. В клинику, где он работал, к нему привозили возами больных без дальнейшего вида на жительство так или этак. Хирург их брал в пай на запчасти, из коих затем по кускам конструировал целое новое, где у него выходил гражданин-ассорти, у которого были свои только шрамы. Сборные монстры годились в дальнейшем на мелкие должности мойщиков окон, ворочали тяжести, но бесконечно распущены были в быту, потому что на каждого претендовало по несколько жен, из которых ни одна не считала себя вдовой. По жалобам женщин хирург прекратил свою практику по трансплантации органов. Сосредоточил усилия на человеческом мозге. Считал, что спасти надлежит исключительно мозг, а не мускулы, мозг, а не жилы и кишки с костями. Хирург разработал идею создания этой особенной Башни, куда головой водворился со временем сам.



Неделю назад по стране состоялась охота-потеха с участием юных нахалов.

Короткое тело хирурга забавно затем погребли на погосте - взамен головы трупу в гроб одолжили муляж и заполнили лишнее место.

На свежей могиле, на камне, составили надпись о том, что хирург не успел улизнуть, упирался, кричал, идиот, и стоял на коленях, моля о пощаде.

Пока для нее изготовят подставку, висит голова-новичок на шнурке, как плафон. Эта штука моргает. В часы, когда лысые в Башне должны получать удовольствие, то есть в часы, когда вся обстановка меняется в актовом зале, как в сказке, а стены то кажутся вычурно пестрыми, то голубыми, зелеными, то пропадают в молочном тумане и слышится разная бойкая музыка, в эти часы голова-новичок отрешенно таращит в пространство глазища. Все лысые спят на этюдах, она отрешенно таращит глазища. Карлик подходит ее приласкать, зажигает ей спички, которые держит на уровне губ у нее, - голова на них дует и гасит.

## 13

Ни голод, ни долг не могли его выгнать за двери пещеры. И если бывала пора, что ему не терпелось исчезнуть отсюда, то все объясняется тем, что великий затворник не мог отказать себе также в другом удовольствии: вечером вдруг на него нападала стихия шалить.

Карлик шалил на широкой поляне в березовой роще, где падал в траву, кувыркался, свистел, а по дереву полз вертикально на брюхе.

Вчера, когда он имел честь раскачаться верхом на сучке березы, он почувствовал чью-то засаду от края поляны, внезапно поймал на себе чей-то пристальный взгляд. Карлик решил, что от края поляны, откуда за ним наблюдали, завидуют, как он играет. Он подбоченился выдать какой-нибудь редкостный номер для смеха, но тут изменило ему вдохновение.

- Слезай, ушибешься, - сказал ему кто-то от края поляны.

Голос был женским. Карлик, висевший сейчас на руках на березе, о женщинах ведал по голой сестре, на которую, кстати, последнее время почти не глядел, опуская пониже глаза. При женщинах Карлик не мог ни попить, ни поесть спокойно, боялся, что ценная их нагота назначается в гости к нему за здорово живешь, он боялся того, что последует за наготой, не желая обидеть их этим. Ему было жалко сестру, хотя та не имела сюда отношения, он обижал не ее, а другую.

- Хочешь, сейчас подсоблю тебе слезть, - предложила она, приближаясь. - Нагнусь, и валяй, становись мне на спину.

Но Карлик молчал и, пока не стемнело, висел на руках на березе.

Лишь в темноте он сорвался на землю, стремясь косолапо домой.

Женщина скоро догнала его на опушке.

- Больно тебе? - ловкая женская ручка взобралась, как белка, к нему на плечо.

## 14

- Если, зажмурясь, напрячь наше зрение, можно увидеть себя, - продолжал разговор Графаилл. - Прodelайте маленький фокус.

- Bravo, это прекрасная мысль, - согласилась актриса. - Я помню носик от чайника.

- Чушь какая, - сказал физик. - Нас не было, нет и не будет на свете.

- O, тоже прекрасная зрелая мысль, - согласилась актриса.

- Еще бы не тоже! Она мне пришла на досуге в порядке затмения солнца.

- Ха-ха, что нас нет! Отсутствие так интересно.

- Но если стараться напрячь наше зрение, все-таки можно увидеть себя, например, в ботаническом плане хотя бы полынью в Тобольске, - пристал Графаилл.

- А зачем нам расти в неизвестном Тобольске? - не согласилась актриса. - У нас как-никак преимущество перед полынью, все были, потели, хворали, потели на свете, а нас и не надо!..

- Пожалуй, - сказал Графаилл. - Но тогда, если снова напрячь наше зрение, можно увидеть брыгайлу.

- Брыгайлу?

- Какая такая брыгайла?

- А пес ее знает, какая брыгайла пришла мне на ум, ничего не сказала.

В игрушечном актовом зале царилa бессонница несколько суток подряд.

Минуло несколько суток с тех пор, как у лысых исчезло желание спать, не оставив у них никакого последствия в памяти, головы просто не знали беды насчет сна, потеряли о нем представление, не понимая, была ли когда-нибудь в прошлом такая потребность у них или нет.

Бесцельное длинное бдение не беспокоит их тоже.

- O той синей двери напротив? Она никакая не синяя. Все синее - это зеленое. Приматы, которые жили, в отличие от неимевшихся сроду собратьев, еще не достигли такой глубины понимания цвета и вряд ли достигнут. Их недоразвитость я объясняю их склочной любовью к порядку. Зеленое, только зеленое! Это название синему больше подходит, хотя не имеет к нему никакого касательства. Но разве сейчас перед нами зеленое что-то? Я вас пытаю, мы видим зеленую дверь? Нет, не видим. Поэтому синяя дверь и не может быть синей. Повесить ее вверх тормашками, чтобы сюда не входили пешие.

- Не будет висеть вверх тормашками эта хвороба. Она по моей геометрии круглая напропалую.

- Чу, кыш, оно здесь, оно ходит, оно появилось вредить! - заметили головы в актовом зале Карлика. - Давайте рычать, белениться, пока не исчезнет... Чу! Кыш! Вон оно!..

- Спокойно, спокойно, я вам не оно, а на службе, - доказывал Карлик. - Согласен, что красное можно считать голубым или даже каким-то другим вариантом цветного, когда надоест одно красное...

- Чу! Кыш! Как оно постарело!..

С утра в голове номер сто восемнадцать, которая числилась в Башне за крупным когда-то хирургом, прорезался в деснах еще один зуб.

## **часть вторая ПОЦЕЛУЙ-МЕНЯ-ЗА-НОЖКУ**

*...они тотчас же с криком будут поносить меня и такие мнения. Однако не до такой уж степени мне нравятся мои произведения, чтобы не обращать внимания на суждения других людей.*

*...не письменно, а из рук в руки, и только родным и друзьям.*

*Когда я все это взвешивал в своем уме, то боязнь презрения за новизну и бессмысленность моих мнений чуть было не побудила меня отказаться от продолжения задуманного произведения.*

*Николай Коперник*

### **1**

.....  
.....  
..... и так далее.

## **часть третья ИЛЛАРИОН**

### **1**

Селение Колверти расположено в самой глуши планеты за пределами географических наших понятий. Солнце туда появлялось в последнюю очередь, если вообще оно там появлялось, а то были тучи и тучи - ползали, словно огромные синие мухи, по небу, не пропуская на крыши тропический климат.

Грамотных в этом селении не было - жили одни мужики здоровенные с бабами и ребятами. Избы стояли высокие. По чердакам, погребам и амбарам лежало, висело, сушилось, солилось полно всяческой снеди. Кормили себя мужики без подмоги от внешнего рынка, который до них не дошел конъюнктурой. Лен, редьку, пшеницу и прочее сеяли сами себе по потребности. Дрова брали рядом из леса. Огонь и железо для кузниц таскали тайком у вулкана - вулкан завалился случайно на сопках и был не ахти какой видный, а так себе, но не потухший. Шкуры животных, естественно, шли на гармони.

Стояла грибная пора и пора сенокоса. С утра мужики с узелками вареной картошки и сала спешили на запах июльского ведра облысить артельно просторы. Трудились, конечно, до мокрых рубашек, до боли в спине и коленках, и косы сверкали, как молнии, на черенках - косы летели с размаха в пушистую гриву травы, поднимались и снова летели в траву, оставляя широкие полосы сена, где следом за ними по ровному месту могла бы проехать большая телега, ничто не задев по бокам. Точеные косы шуршали по стеблям, как будто хитрили составить какое-то слово, и вроде бы что-то у них получалось. Прислушаться "любит - не любит" у них получалось. Любит - не любит, любит - не любит. Затем полудни была передышка. Тогда узелки убывали у всех, как положено им при тяжелой работе. И снова мужик, отдохнув, поднимался косить и потеть, и снова коса говорила про бабу, любит - не любит, любит - не любит.

Растормошенная той ворожкой не по делу, артель возвращается на ночь домой сама не своя, и мужик тут велик убедиться нахрапом, что все-таки любит, и ночь ему в том потакает. Видно, что любит, и как еще любит, с каким понимающим шепотом или без шепота любит - век не захочешь остыть от нее, пока ночь-серебро не уходит за хмурые сопки.

Вдруг ночью однажды в селении Колверти жутко раздался во все страны света нечеловеческий рев из избы старика Балалайкина Борьки.

## 2

Людишки-то, ай-ай-ай, смертны в природе...

Пусть будет черно тебе это! И пусть моя первая непобедимая заповедь тяжестью туго ложится на плечи твои. Я рано вцепился в нее молодыми зубами. Вцепившись, статью написал, дескать, раз оно так, нету смысла терпеть, ожидая. Сознание будущей собственной смерти противно. Живешь и скорбишь по себе шаг от шагу.

Статью напечатали в траурной рамке с портретом.

Вторая статья получилась весьма лучше первой. В ней я затеял научный понос, что досрочно берусь помереть и желаю того же любому другому прохвосту. После нее, после этой статьи, то и дело кто с крыши сорвется, кто газом подохнет, кто выберет в лоб себе острую пулю. Один мой любимый сподвижник усох с голодухи протеста на солнечном пляже, как вобла. Поскольку молва обожает протесты, таких чудаков были целые пачки. Плюс еще шел за меня фанатик. Ах, какой дельный фанатик! Он скрытно поставил в чулане бесследный классический опыт. Отпрянул в пространство без фактов, исчез, растворился - с него не собрали ни праха, ни вони. Наследникам разве что старый рентгеновский снимок его переломов найдется в семейном альбоме. По слухам, сожрал ядовитую ампулу так.

Народу грозила повальная смертность, когда я заквасил тома сочинений. Правительство забеспокоилось этим вопросом, куда девать трупы. В богатой соседней державе наняло оно себе кавалерийские части спасения мощностью в сто пятьдесят лошадиных си-

ленок. Наметило скучную цель - меня вырубить, вытоптать ими. Я вышел навстречу и вынес татаро-колбасной орде на потеху последнее слово. Рубильники, ранняя смерть от насилия - благо! Поэтому мне ваша туча клинков и нагаек до гулькина... Лошади жалобно ржали и падали горько на землю кататься на спинах, поверив. Их пешие всадники шли раскрошить себя саблями - вот до чего впечатлительна конница! Но и министрам в отставку приспичило под впечатлением.

Стал я у власти, а кто такой Гулькин, ей-ей, не имею понятия. Скажи мне про эту персону. Так нет же, ты правды не скажешь. Ты вот говоришь: вечный дух! Где же вечный? Какой же он вечный, когда человек лег на пляже под солнышко навзничь - и духа в нем как не бывало? Сожрешь непотребное зелье, и дух норочит у тебя поскорее покинуть сандалии.

Я за хороший порядок. Ради него насобачил солидную библиотеку страниц, как видишь. Весь род человеческий я разделяю на две половины по признаку страха почить потом в бозе. В одной половинке всегда ошиваются те обреченные, кто понимает последний свой час наказанием за преступление, коего не совершал, и кто хорохорится, чтобы поправить такую ошибку. Но приговор не доступен кассации, но приговор недоступен сознанию. Вот почему им, была не была, остается забота погрязнуть при жизни в грехах, восполняя моральный убыток от смерти. Это развратники, воры, злодеи, палач и толмач палача. Вторая живет половинка - картузники. Диву даешься, какие на них картузы! Но еще больше дивисься тому, это как они кротко надеты на темя и что выражают. Картузники - добрые, силятся выкуп добыть добротой против смерти. Чуть зло проглянуло - щеку под удар подставляют. Но с умыслом будет подставлена ихняя хитрая щечка - авось, ненароком ту чашку судьба пронесет им помимо их рта, размышляют. Одна половина враждует с другой и своего не уступит. Нет у них места порядку. Но я дал учение, которое вышибло на фиг все масло из каши в умах. Объединил половинки на общей основе. Ни-ни им теперь копошиться.

Я вредным на рожу кажусь. Но если позволена мелкая мягкая исповедь, то не советую скоро судить обо мне по одной только роже. Знамо, что рожа моя величава. Походит на крупную связку бананов. Угодников много при мне развелось, потому и бананы. В угодниках эта причина, жалеют они мои пухлые щечки, а сам я душой пресмыкаюсь все больше в картузники - честно! Страдать, как они, не могу, нет досуга, но я пресмыкаюсь. Не веришь мне? Смеешь ли ты мне не верить? Да я отгрызу твою голову грызлом за это...

### 3

Илларион инспектировал в этом году захолустья. С группой нахалов охраны, которая переоделась калекками, он отправлялся инкогнито, чтобы найти себе там приключения, как на охоте. Он думал нагрязнуть врасплох на места - вызвать в штанах обывателя оторопь. В рогожке с бинтами прикинуться сиром плюгавой овечкой,

которую пусть бы обидел обидчик, - тогда объявить, кто я есть, и разграбить зажиточный сад или храм.

Сегодня нахалы-инспекторы двигались медленно по некультурному волглому лесу. В лесу только черт-те чего не росло вперемежку с крапивой. Нахалы от скуки считали деревья и спорили между собой, кто был прав на семнадцатой тысяче. Одни говорили - шестнадцать, четыреста десять. Другие кричали - семнадцать, пятьсот девяносто. Илларион матерился на пни под ногами и сучья и охал, когда самый близкий по штату к босому монарху нахал наступал ему больно когтями на пятки.

- Рвешь мясо, апостол, - шипел Илларион, не оборачиваясь. - Повешу!..

Нахал на ходу падал ниц виновато зализывать раны кормильца, спеша не отстать на карачках.

Илларион же боялся щекотки, за что и лягал того в бритую морду холодной пятой.

Пята в голом виде имела размер кирпича.

Илларион уже несколько дней находился не в духе.

Во-первых, его удручало количество этих убогих окраин, бедных поселков барачного типа, кривых на отшибе ненужных застав или просто домишек на скорую нитку и свалок. Он понял, что числился здесь властелином условно. Никак в один день, в один год, в одну жизнь не поспеть во все норы державы нагряться с бедой, кто есть я! Он владел тем, чего не имел.

А во-вторых, вопреки намерению, не удавалось войти в населенные пункты негласно. Иллариона повсюду встречали народные пьянки с кулачными играми в честь дорогого любимого гостя, тащили на суд ему шлюх и подарки.

Пришлось поменять срочно тактику - выбрать окольно тропу по болотам, шагать по оврагам. Илларион приказал и позволил разуть себя для конспирации. В столице его сапоги вызывали эффект на базарах. Для этого частный лояльный сапожник нарочно когда-то стачал их с таким потрясающим скрипом и треском подошв на заказ, что казалось, железный монарх давит стекла ногами. Теперь на спокойных дорогах провинции он был слышен и страшен в таких сапогах окрест километров на десять и более.

Нахалы-инспекторы тоже зачем-то покорно разулись.

Когда наконец они кое-как одолели препятствия леса, то вдруг обнаружилась штука, что в данный конкретный момент они вовсе нигде не находятся. Местность, куда они вышли, на карте практически не существует. Карта на этом участке земли аккуратно обрывалась, и нужный лоскут был потерян. Пока канителились просто под небом, навстречу возникло селение Колверти с опознавательным дымом из кузниц и кухонь. Селение Колверти не походило на все остальные глухие селения с лужами, на хутора, где обычно инспекцию сразу тянуло ко сну по причине большой безалаберной бедности граждан. В Колверти виделась вовсе иная порода. Куда ни посмотришь - конюшен, конюшен, конюшен! А возле конюшен - станки для вязания платья, и не было сору. Под каждым навесом - крестьянский порядок в хозяйстве. А если для вас не годятся навесы, у каждого дома - лужайка без лужи. В домах жили местные жители разного пола.

- Позвольте узнать, почему? - закричал, зашипел и затопал на них Илларион. - Почему нет восторга? Зачем вы напрасно таращите круглые бельма?

Аборигены как будто не слышали это шипение.

Аборигены собрались кольцом возле странно приبلудших людей и гадали, а что теперь будет.

- Ну да, почему-то таращат, учитель, - сказали нахалы. - Настроить им точек над *i*, или как?

- Они обалдели, - ответил Илларион. - Пора начать митинг.

Главнейший нахал из охраны помялся-помялся и вышел, бедняга, вперед с первой речью на митинге. Затем, тоже после разминки, за ним выступали другие бедняги нахалы. Дословно они целиком повторили весь текст первой речи, которую им было велено знать наизусть на потребу хозяйственных сделок, торжественных актов и праздничных елок. Их общая речь посвящалась великому Иллариону. Он выглядел в ней молодцом, как прожектор в потемках. Он был в ней прожектором и, в то же время, доверчивой баней для грязных. Его называли кувалдой, стропилой, палатой - но нет, не больничной палатой, а, кажется, мер и весов, - наконец, он являлся еще дирижером в оркестре слепых музыкантов.

Прожектор-кувалда посматривал в публику: мол, каково впечатление. В пестрой толпе дирижеру-стропиле не нравилась тетка Матрена, которая не отводила свой карий и востренький взгляд от доверчивой бани. "Тошнотик! - подумал Илларион о Матрене и повернулся к ней в профиль. - Она больше всех жалит меня зрачками. Накликает черных болячек мне полную лысину, это как пить..."

Нахалы закончили речь...

Объявили, сейчас притаимся...

Черед говорить перед вами самой благодати...

И расстелили коврик...

Под неразборчивый смех инородцев монарх, уже в темных защитных очках, наступил на него, как на крошечный пляжик. Исподволь долгие годы Илларион обучался искусству использовать в благо себе зубоскальство толпы. Он под шумок одарял своим праведным именем улицы, стрельбища, почты, конторы, колодцы, пока зубоскалы толпы поливали на головы юмор. Был зоопарк его имени, был даже месяц в году, был зубной порошок, и фактически в этой стране все носило теперь его имя. В конце концов он ухитрился присвоить себе еще раз свое имя. Нахалы сейчас объявили, что слово к толпе имеет Илларион имени Иллариона...

- Дикари, для начального лада хотите конфеток? - Илларион против собственной воли опять посмотрел на тетку Матрену. - Но, правда, на всех у меня их не хватит. Лохматый старик, подойди сюда ты. Как зовут?

- Борька, - ответил старик Балалайкин, покинув толпу и смущенно приблизившись.

- Что - Борька, а далее как? Далее как тебя, помнишь?

- Наверное, далее также, - сообразил Балалайкин. - Не знаю.

- Подумай - неплохо получишь.

- А как - Борька имени Борьки? - спросил, просияв, Балалайкин.

- Для этого ты еще мал и лохмат. На, проверь, тут находится восемь горошин.

- А я не могу, не учен. - Балалайкин держал монпансье на ладони, не зная, вернуть их назад или спрятать за пазуху и воротиться к своим.

- Дикарь, а дурак - не умеешь считать! Смотри, вот одна, вот вторая и третья конфеты. Запомнил? А эти четвертая с пятой. Далее будут шестая, седьмая, восьмая. В уме повтори, сколько их, пока я запишу исторический факт в свой блокнотик, что ездил сюда с просветительной целью.

Тетка Матрена в толпе между тем размышляла. Вишь, добренький странник, сам ходит по миру босой, а кормит ораву здоровых парней, так они и признались. А Борьке лекарства` дает облегчиться от кашля...

- Ты где? Не забыл арифметики? - Илларион записал исторический факт и опять был готов на дела с просветительной целью. - Что мы проходили на прошлом уроке? Послушаем, как ты усвоил программу, лохматый. Докладывай.

- Одна, - доложил Балалайкин, считая конфеты. - Вторая, четвертая, пятая. Эта шестая, восьмая...

- Ты все перепутал! А где же седьмая и третья? Седьмую и третью забыл.

- Я съел их, - сказал Балалайкин, краснея. - Седьмую и третью, а были.

- И сплыли! Безмозглый, примкни к остальным дикарям и послушай.

- Мы все здесь такие неловкие, - пытался старик Балалайкин искать оправдание в массе.

- Примкни и послушай... Беру вас отныне к себе, дикари! Запомните эту минуту крещения в новую веру, а что до мозгов, то мозги человека есть тайна печати. Иные мозги нецензурны, поэтому их человека редактор в печать не пускает. Однако мозги человека, который, положим, ошибся, лишил себя вовремя жизни, вполне, например, еще могут всю шевелиться, вертеться, оставшись без бравого брэнного тела, когда медициной создать им на это условия, - так утверждает наука. Что значит наука? Наука дала жернова человеку, она приспособила к жизни паяльник и поезд. Без поезда мы бы пропали. Ты, Борька, прикинь, сколько лет по железной дороге пешком до Парижа... Вот я и подумал, что польза большая, а перхоти нету. Вокруг пропадает навалом отличных мозгов академиков и самородков. Им надо создать, сказал я! И создал, и построил такую консервную Башню мозгам. Теперь в ней лишённые тела мозги подсобляют порядку в моем государстве, куда вас беру на поруки. Вам не придется неволить себя математикой или же химией, что еще хуже. Химицит за вас пушай Башня. Запомните эту минуту! Прекрасная, дескать, стояла на флангах погода, звенел упоительно воздух, как пчелка, а баба-старуха... - нахмурился Илларион, вновь увидев Матрену. - А баба-старуха зачем здесь?

- Я по грудям! - закричала Матрена. - Кашель меня не ломает, меня окаянные груди.



- Мы хотим жрать, а не тискаться. - Илларион посмотрел на часы.

- Жрать хотим, - согласились нахалы.

- Но прежде потеха. - Илларион строго посмотрел на нахалов, и те, вобрав животы, подтянулись по струнке на цыпочки. - Есть еще время...Есть время...Порядок потехи у нас в государстве... На тощий желудок порядок...

- Возьмите порядок, учитель. - Главнейший нахал попытался вложить в его руки бумагу.

- Нет, сам объясни им, - доверил нахалу Илларион. - В торбе Указ провонял твоим телом.

Главнейший нахал развернул и понюхал бумагу, потряс, отряхнул ее, словно пеленку, подул на нее и вторично понюхал.

- Три дня в полугодии, - начал нахал по бумаге.

- Вам же для первого раза даю минут сорок, - заметил Илларион толпе. - Все безнаказанно будет. Народу нельзя без потехи. Вот я и позволил.

- Закон в эти дни разрешает плевать на законы, - продолжил нахал по бумаге. - Вы можете смело скандалить, ругаться, лезть в долги, портить чужое имущество, гадить...

- Можно напасть на соседа, - вспомнил Илларион. - Обрушиться из-за угла.

- Ага, это вписано в пункте четвертом! Внезапно напасть на соседа либо прохожего, либо соседа прохожего, либо туриста, которые тоже имеют права на амбицию в этом вопросе. Пункт пятый. Насилие скромных гражданок в корыте...

- Хватит пока им, - остановил Илларион. - Кого здесь? Вон ту, что ли? Смех! Не успеют за сорок минут. Убери документы.

- Обойдетесь без пятого пункта, - закончил нахал; пряча в торбу бумагу. - Айда измываться!..

Однако толпа не поняла призыва. Не то чтобы аборигены не верили этой вонючей бумаге, не то чтобы шибко стеснялись полезть на рожон без последствий, но просто практично не знали, зачем им плевать на законы, какая же это потеха? Имущество может еще пригодиться. Сосед не заслуживал взбучки. А тетка Матрена имела супруга.

Без малого двадцать минут простояли они неподвижно.

Илларион и нахалы, конечно, могли применить принуждение.

Старик Балалайкин тогда, понимая, что дело не хочет окончиться миром, вздохнул:

- Не побрезгуйте выслушать...

- Что ты мне скажешь, бациллоноситель?

- А мы, Ваша Светлость, голубчик-начальник, мы тут с мужиками подумали просьбу подать вам...

- В чем просьба твоя, людоед? - нахмурилась Светлость.

- Покушать у нас можно легче, без драки. Понятно, ученые люди стыдятся отсутствовать долго от харча. Вот мы и придумали просьбу. Баранчик упреп в чугуночке...

- А ежели я на диете?

- На травке? - спросил Балалайкин. - Такое пузцо накопили, не в каждый сундук поместить ухитримся, а сами на травке?

В избе старика Балалайкина Борьки начальник показывал свой аппетит на баране. Он был за столом вдохновенен, как скульптор-атлет, колдовавший над каменной глыбой. На смену барану пришлось разложить запеченную в тесто свинью, что недавно на выпасе хрюкала, как племенная. Илларион без оглядки обтесывал новую тушу зубами. При виде довольно большой композиции крупных и мелких ажурно торчащих костей филигранной работы старик Балалайкин хотел закричать мужикам, что его разорили, глядите, куда же, мол, все это влезло, но духа, чтобы кричать, у него во рту не хватило, и он простонал:

- Мать честна...

Нахалы стояли на страже снаружи избы.

Илларион сквозь открытые окна выкидывал им пищевые отходы.

- Эй, вы, диапедики, будьте любезны - хорал!..

Нахалы завывали какое-то гнусное тихое пение.

Илларион обсосал поросячью шею, попил ежевичного кислого кваса, икнул благородной отрыжкой в котенка:

- Кто это?

- А так себе, кошка, - признался старик Балалайкин.

- От кошки в хозяйстве одни только мыши. Ты научи ее знаешь чему? Ты научи отдавать тебе лапами честь.

- Шкодливая тварь, Ваша Светлость.

- Кто, я или кошка? Что значит "škodливая тварь Ваша Светлость"? Тут разве понятно, кто кошка, кто я?

- Про кошку подумал. Чуть ночь - шасть на стол по кастрюлям и кринкам.

- Учи!..

- Я учу.

- Как вошла, сразу честь тебе, понял?

- А я беру на ночь ремень под подушку на случай огреть, не слезая с кровати.

- Ты лучше с ней вот что проделай. Порви ее, Борька, живую на мелкие шкурки, меха ныне стали в цене. Пришлю тебе пса, коли сам не сумеешь.

- Подарок пришлете? - спросил Балалайкин. - Пес нужен в деревне, особенно если большой он.

- Огромный! С хвостом. Хочешь орден министра впридачу?

Илларион, отдохнув разговором, напал на свиную лодыжку. На стены летели тяжелые сальные брызги, квадратная нижняя челюсть монарха стучала по верхней. До самых ушей, проникая за шиворот, были размазаны слюни и слезы. Он ел и рыдал. Остервенело рыдал, так рыдал, что министр старик Балалайкин чуть было не помер со страху.

Трапеза кончилась в полночь цыпленком.

Огонь в керосиновой лампе погас, и монарха покрыли пуховой периной.

Старик Балалайкин, отпущенный на ночь на печку, дремал и уже был на подступах к первому сну с орденами. Вначале привиделись не ордена. На месте избы перед ним очутилась огромная серая клизма с большим мундштуком, указующим в небо. Старик у нее для чего-то разыскивал хвост, не то хлястик. И вдруг уло-

вил наконец перезвон орденов. Старик Балалайкин очнулся, когда перезвон повторился. Звенели тарелки с оставленной пищей, где блудит шkodливая кошка. Старик Балалайкин подкрался тихонько к столу и ошпарил ремнем промышлявшего зверя. Раздался непрошенный нечеловеческий вопль во все стороны белого света.

Не кошка - шукавший впотьмах по тарелкам Илларион подскокил от удара ремнем по голой красивой спине, говорят, на полметра от пола - монарх подскокил, как пружина, в которой сломался фиксатор.

- Мятеж! - завопил он в окно сторожившим нахалам.

## 4

Он окопался за сопками, где из постели в траншее смотрел в перископ.

В столице монарх коротал вечера у камина. В горящем камине мелькала несметная прорва забавных абстрактных событий, подвижных фигурок, цвели фантастичные краски и прыгала прочая ересь, как голытьба. "Вот где ералаша на фоне совсем непонятого замысла с бредом сознания и подсознания не оберешься", - думал Илларион у камина. "Но что любопытно, - думал Илларион, - это когда мы позволим себе рассуждать о родстве живописцев с огнем не в обычном порядке того, что огонь - прародитель шедевров искусства, а повернемся в обратную сторону мыслями. То есть шедевры легко могут сами явиться причиной пожара. М-да. Вот почему живописцев-нахлебников надобно бить костью по мозгам, не давая им шага сказать на полотнах. Отравой калечить опасных таких дармоедов. Лишать кислорода. Беда только прячется в том, что любой гениальный творитель шедевров живучее, чем заурядный пачкун, - на первый взгляд гений покажется нам уязвимее, чем заурядный пачкун, и обманет, конечно. Заметь пачкуну, что он плохо напачкал картину, - обидится и не поверит совету не пачкать, пойдет хлопотать, защищаться, выказывать глупость. Как плохо? Нельзя было лучше напачкать! И; правда, нельзя было лучше. За деньги мерзавец истратил силенки до дна, чтобы выжить, и выжил. А мастер шедевров поверит критике, он скажет - сам вижу, что можно бы лучше. Мастер шедевров, закончив работу, оставил что-то себе от нее, чтобы мучиться. Словом, не высыхает и после шедевра."

Илларион из постели в траншее смотрел в перископ на пожар.

Монарх при различных карательных акциях не доверял ни холере, ни бойне вручную, не признавал их за высшую меру и ставил на первое место в природе огонь. Утром в селении Колверти с разных сторон огнеметы-форсунки швырнули на крыши построек горящий раствор неизвестной химической бяки - какая-то жидкая сера с добавкой чего-то другого.

Не уцелели ни дети, ни камни.

В картине огня бесновались, как синие бесы, лохматые синие птицы, когда перископ на одном из последних участков пожара наткнулся на странную синюю глыбу с чертами лица старика Балалайкина Борьки довольно большого размера. Под ливнем цветного

разгула стихии лицо старика появилось из огненной пены анфас и себе на уме.

Илларион погодил, чтобы не было жара и не было дыма, затем приказал принести полководческий плед заграничного кроя, подать сапоги с потрясающим скрипом и трость.

Прогулку по черной, еще не остывшей равнине монарх не назвал бы везучей. Прикосновение кончика трости пугало пассивные облачка пыли поверх пепелища. Он тыкал в остывшие углы в канавах ее наконечником без толку - тут ничего интересного не было. Когда наконечник, однако, нашел подозрительный тлен под ногами, монарх без труда догадался, что это: два сморщенных темных мешочка, которые он сейчас видел в золе прикорнувшими набок, есть бывшая грудь упокойницы тетки Матрены. Монарх наблюдал, не таится ли в этих неловких печеных кисетах какое-нибудь для него удивление. В них ничего не таилось. Зато рядом с теткой грудью внезапно возникла та борькина кошка - живая стояла, паскуда, без шерсти, словно без маски. На кошке шел пар от змеиной лоснящейся шкурки. Была эта кошка, как видно, не прочь увязаться за ним, потому что нуждалась по-прежнему в людях. Монарху пришлось уносить поскорей свои адски скрипучие ноги.

## 5

Стол, за который не стыдно садиться в президиум, был изготовлен когда-то вручную в пожарном порядке по случаю митинга с флагом. В это же спешное время по воле монарха, опять же в нормальном пожарном порядке, все митинги перенесли на другие века, потому что монарху понравился стол и понравился флаг в интерьер своего кабинета. С плохим самочувствием после инспекции, не оправдавшей надежды на отдых, монарх изнывал от безделья, сидя сейчас за широким столом, а по правую руку в углу стоял флаг. Когда кто-нибудь из нахалов охраны входил сюда с целью угождать перед начальством, с целью посплетничать, оклеветать сослуживца, с целью сказать анекдот, пошустрить, чтобы выманить милость кормильца, монарх моментально менял за столом свою вялую ватную позу на римскую позу величия и моментально протягивал руку за флагом.

При флаге - нахалам на нем не заметны морщинки.

Дежурный нахал не был встречен, однако, подобным салютом - монарху наскучило дергаться этак все время за флагом и ставить его восвояси.

- В чем дело? - заметил нахала монарх. - Плохо кормлю?

- По службе просить послабление...

- Что?

- Занедужилось...

- Мыслит мое стариковское темя, зазнался! - Илларион испытующе ласково щупал нахала глазами, приставив к ресницам лорнет. - Лопаешь только яичный желток, где зародыш, а зад у тебя не луна, ступай прочь!..

За этим столом на монарха напала какая-то странная немощь, какая-то лень и сорочья тоска, пустота. Он будто бы плыл за

столом, как в особой тяжелой магнитной среде притяжения. Что это есть - никому не известно. Но стол изводил шириной, от которой монарх, созерцая ее, уставал, словно кто-то тяжелый катался на нем, приспособив уздечку.

Похоже на заговор скрипнула дверь.

Костлявый дежурный нахал появился вторично.

Костлявый дежурный нахал во дворце был известен своей непохожестью на остальных добровольцев угодничать перед монархом. Опытный, битый. Сморгался в тряпицу. На роже носил примитивные длинные челюсти, словно толкал впереди себя тачку соли. Ходил с громом-шумом, поэтому тихая дверь и скрипела, когда он проходит. Он вечно чего-то ронял из карманов, чего-то неловко ломал по дороге ногами, притом неестественно горбился, крючился, не выпрямлялся, за все задевая соплями. Глаза у него на лице перевернуты низом наверх. Только так я могу объяснить их бессмысленный взор во все стороны сразу.

Костлявый нахал не ценил своего положения и не хотел быть монарху дежурным нахалом, но дома его окружала большая семья, а в семье были дети, которых он звал короедками, были старухи слепые - для каждого надо поспеть заработать копейку, - поэтому он и держался за место нахала, надеясь, что скоро получит себе послабление в службе. Он очень робел короедкам, которым когда-то придется услышать о нем, кем работал папаша. Знал, этого дети ему не простят, когда вырастут, станут жестокими. Но именно ради детей и старух не ловил он себе куска хлеба полегче начальником станции или кассиром в любительском тире.

Сейчас он вошел в шутовском снаряжении, в туфельках, в дамских до бедер чулках на резинках, а сам подпоясанный лифчиком по волосатой ключице.

- Пришел показать геморроя.

- Когда я тебя примерял, его не было! - вспомнил, воскликнув, монарх. - Не было, не было!..

- Не было, - вспомнил спокойно нахал, повернувшись к монарху спиной. - А как стало, помазал зеленкой.

- Ужас, какую фантазию выкрасил! Как ты посмел допустить, не спросив разрешения власти?

- Вы уезжали, а он раскусался.

- Брысь с этой гадостью! В каменный карцер.

- Слушаюсь.

День обещал перепутать привычный порядок занятий, чего допускаться не часто, а лишь при условии необходимости перенести основные дела на другое число. Илларион закурил сигарету, которая сразу погасла. Монарх посмотрел на нее и швырнул ее в сад за открытым окном, за которым в саду бегал с урной способный нахал, специально ловивший окурки. Монарх взял из пачки еще сигарету, которая тоже никак не могла раскуриться. Лишенный тогда удовольствия в куреве, он пододвинул поближе к себе календарь. На открытом листке начертал "Перевешаю завтра табачную фабрику всю с упоением!"... Вдруг воротился костлявый дежурный нахал.

- Учитель, а тут еще девку ловили, какая народ испугала...

- Веселая, справная девка?

- С грудями. Капроновой сетью на небе поймали. Кому-то из нас от нее был за это под глазом синяк, а другому оторванный палец по локоть.

- По локоть? Не врал бы.

- Учитель, мне так не соврать. Коллега калека родился уродом, имел на обеих руках всего-навсего лишь указательный палец.

- Не густо. Чего же он ранее думал?

- Что этого хватит.

- В носу ковырять?

- И указывать - тоже.

- С калекой забавно - но дальше про девку! С грудями?

- По пояс. Я так полагаю про девку, что девка вам лучше.

- Учти, я ханжа в отношении женского пола. Мне в бурсе приснилась на память от бабы полбока, на чем и попался.

- Как это полбока? - не понял нахал.

- Очень просто, - сказал монарх. - Как наглядное пособие по молодой раскладухе.

- Полбока? - переспросил нахал. - Это сколько же в принципе будет налично?

- Это окорок будет торчать.

- Это грыжа, - заверил нахал.

- Может, и грыжа, не помню, с тех пор я ханжа, признаю обнаженных красавиц опасной приметой, чураюсь их даже во тьме, потому что открытое полностью женское тело - к несчастью.

- Оно сплошь и рядом, - заметил нахал. - Я тоже был двоечник в школе.

- То ты, а то я, - рассердился монарх. - А то - девка!..

- В закрытом бассейне находится девка, ныряет, хохочет, прикажете вынуть? - не дожидаясь ответа, нахал прыгнул за дверь гиеной с коротким зеленым хвостом.

## 6

Когда опрокинулся на плечи огненный шквал, старик Балалайкин стоял у колодца и мог бы спастись в нем. От первой волны старику был ущерб курам на смех - сгорела махорка в кармане, и полностью ступка пустая исчезла из правой руки, словно птица. Но старика в этот миг удивила совсем несуразная глупая мысль в голове при других неудобствах кончины. Что это за смерть, у которой так быстро и бешено все происходит? Так быстро прощаешься с жизнью, что галстука даже не нужно! А ранее Борька на то покупал у цыгана поношенный шелковый галстук в полоску. Ранее Борька считал свою смерть обстоятельным делом: зима, и стоит колокольня, на смертном одре Борька в галстукѣ значитѣсь мертвым и главным предметом в озябшей без шапок деревне. Когда опрокинулся огненный шквал, Балалайкин озлился на смерть, почему заставляет его помирать по-другому.

Вторая волна прекратила последок сознания.

- А ты нагишом не боишься? Не стыдно тебе нагишом-то?

- А мне хорошо, когда стыдно, - обняла она свою голую грудь, словно голую двойню. - Знобить начинает, как только почувствую чей-нибудь взгляд, всю знобит и не гриппом знобит.

Сперва нагота его пленницы все подстрекала монарха пойти на дурную затею. Хотелось руками забраться к ней глубже под мышку, дабы обнаружить похабщину в недрах подмышечных впадин. Но грязные руки - монарх не помыл их с утра - мешали достичь этой цели открыто. "Будь эта женщина простенькой барынькой в кофте, за мной оставалось бы право прибегнуть к любому насилию, - думал монарх. - Тогда можно было бы сначала заставить ее побеситься, а там баш на баш обменять за кривое ружье у заморского князя по пьянке - пусть князь обалдеет от зависти, какой благородный стоит у меня беспорядок в хозяйстве. Но нет на ней кофты, и голую женщину жалко отдать за бесценнок."

Монарх смотрел в оба.

В душе у него помутилось.

Во всем его теле возникла какая-то пробка, а в голове - по камням застучали телеги.

- Имя твое, - закудахтал монарх. - Имя скажи мне.

- Помезаной меня сокращенно зовут, удивляйтесь, - ответила девушка.

- Ты полностью мне напиши его на бумаге, - казалось, монарх издавал эти звуки не сам, а хватал перекошенным ртом из пространства слова, без которых боялся сейчас задохнуться в молчании.

- Учитель, закройте окошко, - костлявый дежурный нахал держал мокрую голую девушку за ухо. - Взмоет, она у нас шимра... Куда бы ее поместить, укажите. На ровное видное место, где будет сидеть, не скучая, но и не дрыгаясь. Можно на стол? Ничего что с ногами? И надо же было вам так хорошо указать!..

Лениво и долго писала она в календарном листке свое полное, видимо, длинное имя, писала поверх раскоряченных строчек, в которых монарх обещал перевешать за толстые шеи табачную фабрику, где завелись бракоделы. В смешной гимнастической позе она приспособилась вниз животом на столе, опираясь на локти. Монарх, не моргая, разглядывал спину и прочие разные женские горки и ямки, каких у нее было много на теле. Ее озорная спина выгибалась лисой перед ним, а подвижные длинные ноги меняли свое положение дважды. Монарх ненароком вильнул было бедрами тоже, но ментально осекся. Жест у него получился не столь выразительным, чтобы кому-то понравиться с первого взгляда. Вдобавок в портках поломался и хрустнул какой-то доселе ему неизвестный сухарь.

- Записка готова. - Помезана подала монарху листок и свернулась калачиком набок. - До скорого!..

- Спит, фря! - прошамкал губами нахал. - Уже спит. По спине ее вдарить?

- Кого по спине? - оглянулся монарх. - Я те вдарю! Спалю...

Илларион тихонечко вышел на цыпочках в зал для парадных приемов. Иголками в кончики пальцев и щеки монарха колот электрический ток, подведенный туда непонятно зачем изнутри организма. На все лады в зале монарх повторял себе мысленно имя девушки. Поцелуй-Меня-За-Ножку. Поцелуй-Меня-За-Ножку. Поцелуй-Меня-За-Ножку. Монарху казалось, оно повествует о детском капризе, когда избалованный лаской ребенок еще не умеет красиво поставить слова в своей просьбе, а хочет с тобой подружиться. Ребенок зовет поцелуй меня в ножку, то бишь поцелуй мою теплую ножку. В другом толковании были у этого имени вовсе другие замашки и полная женская власть - поцелуй благодарно меня за вольготные сильные ноги, которые видишь! А кстати, мы рядом неплохо звучим целиком, волновался монарх. Илларион имени Иллариона и Поцелуй-Меня-За-Ножку.

Монарх находился в раздумье донельзя.

На правой стене от монарха висел его рыцарский щит, и монарх разбежался от левой стены, чтобы врезаться для укрепления нервной системы в серебряный щит головой - это часто ему помогало в былые года.

Следом за ним разбежался нахал - тоже врезался в щит головой и потрогал больную макушку.

- Ты что, пустозвон! - замахнулся монарх на нахала запиской. - Хозяйку разбудишь!..

- Я чуть не промазал, - признался нахал. - Мне бы памятно рубль компенсации.

- На водку? Полтинника много!..

- На капитальный ремонт головы.

- Ступай прочь, от тебя на нее могут блохи сигать.

"Вся она движется, движется, - думал монарх, воротясь к Помезане. - Для постороннего общего взгляда вся непрерывно загадочно движется, словно расплавленный слиток с подвохом, движется - даже когда остается спокойно на месте во сне. В каждом движении вся превращается снова в себя, но уже лучше той, что была в предыдущем движении. Чуть от нее отлучишься куда по делам государства за шишкой для укрепления нервной системы, так день тебе кажется черен, как ночь или грязь."

- Вы, милая, что же со мной не гутарите? - всхлипнул монарх неожиданно голосом, полным тоскующей жалобной лести.

- С неба упала звезда, - еле слышно шепнула во сне Помезана.

- Плевать, - встрепенулся монарх. - Поспорила с более сильной небесной подругой, а та ее наземь оттуда пинком!..

- Где эта звездочка? - вслух продолжала свои беспокойства во сне Помезана. - Неужто пропала она?

- Это которая звездочка? Та, что ловчее по части пинков, или вы про другую, которая склочная? Тысячу раз в своей жизни я видел, как падают звезды, и тысячу раз не старался проникнуть сознанием в тонкости небьего мира. Впрочем, равно как и рыбьего мира и жабьего мира. Но если звезда подложила такую собаку под ваш интерес, я берусь вам помочь. Подарю вам ее на игрушки. На поиски брошу несметные тонны живого мужского и жен-



ского мяса. Направлю их силы на то, чтобы шарить по всем закоулкам и группами ползать в болотах, которые войско оцепит цепями. Не бойтесь, глупышка... Чего вам бояться, найдется! Чего вы боитесь?

- А того и боюсь, - призналась во сне Помезана. - Что буду от вас пороситься.

## **часть четвертая**

# **И НА СМЕХ, И НА СМЕРТЬ**

### **1**

Уличные фонари круглосуточно погибали. Вторую неделю подряд шел черный снег - вкривь и вкось. Время от времени снегопад превращался в черную вьюгу, в кипящую черную кашу. Тогда, подобно разбойной орде неслыханных насекомых из бездны, мокрые грязные хлопья снега, почуяв где-либо вдали огонек или ржавый осколок луча, летели к нему глумиться над этой жертвой, которую прежде, чем доканают ее, понуждали потрафить насильникам пляской с ними. Стихия перемешала день с ночью. Она творила такую мазню перед глазами прохожих, что в ряде районов у жителей города были отмечены факты оцепенения и случаи слепоты. Карлик не выходил из дома и даже боялся зажмуриться, чтобы не оказаться в потемках. Он отродясь не был трусом, но в темноте... Не умея хитрить, он насовал в темноте на каждом шагу буквально. Кутаясь в дым сигареты, словно в дырявую деревенскую шубу с чужого плеча, Карлик хандрил на кушетке, когда неожиданно кто-то проник в квартиру. Тайком пискнула, кажется, дверь в прихожей. Низом оттуда сюда прошмыгнул сквознячок, прячась под Карликом. Карлик вскочил опознать очередную накладку судьбы. Вспомнилось детство, галлюцинации детства, гиппопотам: в детстве гиппопотам ночами высовывал открытый рот из-под койки, под которой жил, как большая мозоль, на карачках. Высунет рот, предлагает устроить во рту ручной мойник. Карлик вскочил опознать, небось, гиппопотама, но круто на этот раз обмишурился. В прихожей, стоя к нему спиной, разувался незнакомый субъект, облепленный черным снегом на манер негритянского Деда Мороза, с которого капало. Скинув тяжелые вонючие сапоги, субъект обернулся навстречу и весело щелкнул Карлика по носу.

- Шутка, - сказал он. - Смутитесь, пожалуйста.

- Это за что вы? Что все это значит? - Карлик охрип, еще не кричавши.

- Для церемонии, - незнакомец ощерился на половине улыбки. - Не волокитьте.

- Ошиблись дверьми, гражданин! - Карлик вспотел препираться с ним. - И домом ошиблись, конечно, и улицей тоже. В такую погоду немудрено.

- Еще сочините, что я на Марсе! - сказал незнакомец, с которого продолжало капать черное. - Нет, я шел сюда, и я - здесь. Прямехонько шел без бумажного адреса, но и без риска. Я не люблю писанины вручную.

- Вы здесь - а зачем? - притих и расстроился Карлик. - Подозреваете что?

- Не подозреваю, а говорю, - пояснил незнакомец. - Я говорю все, что думаю. Это ни много, ни мало, но если не надо, пойду выпить водки.

- Вот оно что, - догадался Карлик. - Водка вас привела.

- Не водка, а шутка, а шутка - не водка. Не валяйте со мной дурака, серьезно. Вас просят, смутитесь, пожалуйста, вы и смутитесь, пожалуйста. Принципы требуют этого. Высокие принципы требуют, чтобы мы оба смутились по очереди. Вначале смущаетесь вы, потому что для вас моя шутка не в кость. Я смущаюсь за вами своей неудаче, а там оно так и пойдет по инерции, не остановится, не прекратится, а вырастет в дружбу. По правилам так начинается всякая честная дружба, согласны?

- Однако, - Карлик прикрыл обиженный нос ладошкой. - Эдак разве подружишься скоро?

- Наконец-то! - незнакомец, оказывается, только и ждал от Карлика этого жеста ладошкой, ждал, как сигнала к новому действию. - Вступаем в союз.

- Но объясните, по крайней мере...

- Дружище! - вопил незнакомец, теряя по комнате грязные брызги.

- Позвольте, позвольте, может быть не пожелаю, - протестовал Карлик. - Не пожелаю с вами в одну компанию. Кто вы такой, беспомощно неизвестно... Сперва расскажите, а там будет видно.

- Дружище! - радостно вопил незнакомец, хватая Карлика за плечи скользкими пальцами. - Вы не танцуете блюза? Я тоже, давайте учиться... Назначим комиссию...

- Сядьте, послушаем вас, - посторонился Карлик. - Туда, по ту сторону сядьте. Запачкали.

- Умоюсь, я весь, как в чернилах, - не сел незнакомец.

Умытый, он вышел из ванны пить кофе - достал шар в кармане пальто.

Карлик не сразу сообразил насчет шара, что это не бомба, а термос.

Прежде, чем юркнуть за стол, незнакомец аккуратно повесил на гвоздик на стенке дешевую демисезонную шляпу с эмалевой плоской птичкой сбоку, как мультипликация, поставил в угол комнаты штатский дохленький посох, нижний конец у которого был, точно каблук странника, порядочно стоптан в пути. Затем незнакомец бросил пальто на кушетку, а зубы взяли сахар вприкуску. Карлик за ним наблюдал и сердился. Это проблема людей и вещей, понял Карлик, задумавшись. Несоответствие. Многие люди на свете почти всегда ошибаются в выборе необходимых для них в обиходе вещей. Трудно тогда бывает судить - кто таков - о владельце по этим вещам. Поспешный неправильный выбор нередко приводит к обилию лгущих вещей. Мы среди них выгладим не по-своему, а точно такими же, как эти вещи. Вот, например, незнакомец, возможно, нутром не пижон их поэмы. Он тоже имеет нормальные шансы быть вовремя понятым в споре, но термос, где налит кофе, неуловимо противится этому, плоская птичка на шляпе тоже проти-

вится этому, и палка кривая в углу заодно с ними противится тоже о двух концах сразу. Все эти вещи мешали ясности при восприятии, будто бы краденые, чужие. Впрочем, что вещи? Гораздо большей помехой к взаимосогласию было рябое лицо незнакомца. Похоже, что тот попадал с ним уже не в одну передрагу, и лицо шибко грызли. Карлику долго казалось ужасно плохим освещение в комнате, что затрудняло рассматривать это лицо хорошенько. Но нет, освещение как освещение, в норме. Лентяй-незнакомец, поди-ка, небрежно умылся, воды на себя пожалел, а уважь он лицо полосканием вдвое и втрое дороже, то здесь получилась бы вовсе иная картина, не как муравейник.

- Эй, вы! - незнакомец уже сидел за столом. - Эй, если вы до сих пор еще почему-либо не догадались, что я инженер, то сейчас догадаетесь быстро, и вам некуда будет деться от этой резонной догадки. О, да! Инженер и конструктор машин, а среди моих детищ каких только нету... Жаль, не могу показать вам...

- Много придумано? - полюбопытствовал Карлик.

- Придумано много, задумано - больше.

- Хотелось бы знать ваше имя, - польстил ему Карлик.

- Брат меня кличет Процентом, а что? Не похож?

- Определенно ваш голос я уже где-то слышал, - вспомнил Карлик.

- По радио слышали, это не я говорил, не пугайтесь. Я за свои за машины скитался в провинциях, как за большие грехи. В ссылке был.

"Важные это, должно быть, устройства, коли за них наказывают", - подумал Карлик.

- Это техника горизонтальных систем. Бывает, но редко, не брезгую и вертикалью, в столбик.

- Не понял. Нельзя ли про все еще раз другими словами, попроще.

- Словами? Чего захотел! Нет, нельзя, не получится проще. Я начинаю с нуля в своих работах. Машины мои не имеют пока названия. Истинные идеи, дружище, мы за собой ведем сами. Этим идеям не сразу находишь названия. Неистинные идеи, наоборот, водят нас за нос и захватили во всех словарях все названия...

- Но ваши машины военные или для быта? Какое у них назначение?

- У них интересно крутить колесики.

Незнакомец пил кофе захлеб из блюдечка. Всего таким способом он использовал на свои потребности две оловянные плошки напитка благополучно две оловянные плошки размером в солдатскую пригоршню каждая, - а третья плошка сокрушила его сама. Над ней незнакомец опростоволосился подчистую, жадно вдохнул окружающий воздух ноздрями и на обратном его пути сделал в блюдечко ветер при помощи сложенных ромбиком губ. Кофейная жидкость пролилась на скатерть, образовав на столе несуразный слой лужи под хлебные крошки, которые плавали там, ни за что не тонули. Далее гость продолжал разговор уже на кушетке - навзничь залег на нее в пиджаке и брюках. Собственно, как продолжал разговор? Говорил он один. Карлик лишь изредка со своей сторо-

ны впихивал нужные реплики в беглую, без передышки речь незнакомца, да кое-где притормаживал ее шустрый темп, требуя в особо важных местах повторить сказанное.

Незнакомец назвался брательником Иллариона. Ба, интонация голоса та же! Действительно, Карлик некогда слышал по радио точно такой же фальцет главы государства, теперь это вспомнил. Но незнакомец был тощ и не гнулся в поясе, будто бы разные мелкие кости и косточки в отдельных частях организма ему заменила одна монолитная общая кость на все мускулы тела – а монарх на портретах был славно пузаст! После оспы у незнакомца на бледном челе остались кружочки, на них ничего не росло, не поймешь, что растет – а лицо монарха сияло музыкой! Монарх во всех отношениях теснил незнакомца на задний план, и незнакомец терпел это. В прошлые ранние годы юный монарх упражнялся на нем в своих низких замашках и ставил мерзкие опыты по руководству другими людьми – благо, затюканный брат всегда находился под боком и брюхом монарха. Как-то монарх подглядел, что затюканный брат сам вкушает свой ужин. Исправить, сказал, непорядок. Впредь было велено эти харчи приносить целиком для собаки, посредством которой братья здоровались. Собака сидела в ногах у монарха, как секретарь-собака. Затюканный брат заходил в кабинет, отдавая монарху салют и паек. Если монарх соизволит ответить кивком головы на салют, пес, живо взглянув на вошедшего, протягивал умную лапу к пожатию. А если монарх почему-либо промедлит кивнуть, пес не подает своей лапы. "Это Процент называется, не возражаешь? – однажды заметил собаке монарх относительно брата. – Нулики видишь на рыле? А черточки диагональные тоже? Из них и возникла идея на кличку. И впрямь, он какой-то процент человечества в математическом выражении. Лохматые пять на прощание дай ему. Пусть убирается прочь, нужник!" Вскоре монарх повернул свое любопытство к машинам, которые за спиной у начальства строил нужник Процент. Детали в машинах были подобраны цепко. Фигурка примкнута к фигурке. Целыми днями, не уставая, монарх ошалело вертел колесики этих машин: одно повернешь – все другие завертятся тоже, как от щекотки. Но в основном не давала монарху покоя загадка в машинах насчет того, как они получились такими. Послал за процентом ученого пса. "Послушай, колесник Процент, – рек монарх. – Ты разбойник, родимец тебя изломай! Почему не спросился указа? Я дал бы указ приспособить колеса бить холки, а так они тут крамола. Придется тебе объясниться, колесник. Попробуй такими словами... Э... Мда... Дескать, Илларион, ты у меня в груди! Понял?"... "Ил-ла-ла-рион", – повторил затюканный брат, став заикой. "Смелее! Где я нахожусь у тебя, не забыл?"... "Ты-ты-ты..." "Не в затылке?..." "Илла-арион!..." "Продолжай, что споткнулся?"... "Т-ты..." "Ну делай, делай ноги словам!"... "Ты у меня в груди, в груди..." "Вот и спасибо тебе, чума." "Ты у меня в груди, торчишь там, как нож!" – вдруг добавил затюканный брат, перестав заикаться. Процента связали и по суду опечатали между лопаток на острова. В таком опечатанном официально виде нельзя было скоро передвигаться на своих двоих в путях. Нельзя было также руками распугивать мух или

куриц. Правда, доселе на тех островах по условиям климата была только флора, а фауны - мух или куриц и прочего - не было. Пусть археологи не волнуются, если когда-нибудь в зрелых столетиях там обнаружат следы подозрительной, все-таки, фауны. Это колесник Процент рвал грибы пропитания восемь лет кряду. Не инженеришко, а инженер с большой буквы печатными знаками. Монарх иногда подсылал к нему соглядатаев - не бастует ли братка? Нет, говорят, не бастует, скучает по воле и дому родному. Монарх объявил амнистию. Процент воротился к своим машинам, которые тихо ржавели. Эти машины нужны были нынче монарху для охмурения дамы.

- Он вашу сестру охмуряет, - пояснил Илларионов брат. - Втрескался в ее белые локоны, точно студент.

- Помезану? - Карлик едва-едва не свалился со стула, как от удара по голове.

- Да, львица девица у вас Помезана, - Илларионов брат Процент не скрывал своего восхищения сестрой Карлика Помезаной. - Недавно она холодными волнами из бассейна сбила с ног старика-монарха, соблазнявшего выйти к нему.

- Помезана? - Карлика властно качала какая-то сила в разные стороны. - Я думал, она улетела... Я думал, она уже в теплых краях...

- Погода нелетная, - Илларионов брат повернулся к окну. - Фу!..

- С ума сойти можно, - Карлик бессмысленно следом за ним тоже посмотрел в окно, за которым ворочался черный снег, словно черный лес в потемках.

- Это как же с ума? Протестую! Как же вас угораздит на это, когда вы нужны мне? Нет, вас не должно угораздить. И, кстати, пожалуйста, не заглушайте меня...

- Она его любит! Она его любит?..

- Полноте, кто его может любить? Не дребезжите зубами. Пожалуйста... Скулы бы, что ли, немножко свело вам, пока говорю, а то мысль ускользает, кривляется...

- Я вас не заглушаю, я иду к нему, иду за ней, - Карлик, бегая, что-то искал по квартире и что-то разбрасывал. - Я вас несколько не заглушаю, это сестра у меня в опасности, поняли?

- Понял, дружище! И хорошо, что вы тоже поняли, а не обрадовались. Я рассчитывал верно - споемся, спляшемся. Но только робел приступить.

- А я? - спросил Карлик, остановившись перед ним. - Я тоже рассчитывал. Вы проведете меня во дворец к ним?

- Вас туда пустят без провожатых. Монарх уже несколько дней поджидает вас под прожекторами. Броню самоходную посылал за вами, но шофер обозлился на все четыре примитивных колеса и не поехал мараться в эту погоду. Я же пришел вам сказать и просить вас о том, чтобы ни за какие лимонные ломтики с сахаром вы не появлялись в поганом дворце. Вы такой жалкий. Вы как в лаптях, такой жалкий: Вам добровольно не выстоять под прожекторами. Спрячьтесь, заройтесь куда-нибудь в прелое сено! Есть у вас прелое сено? Хотите скафандр одолжу вам надеть? В прелом сене

и в нем вас никто не найдет, пока все не устроится по-хорошему. Должно все устроиться, образоваться. Кумекаю маленький план вызволения... Подумайте сами, какой вы спаситель? Чем можете вы помешать самодержцу?

- Дратся вызову на дуэль! Будьте моим секундантом...

- На пистолетах? Глупо сказали, дружище. Не побоится, не попадете. У вас характерный дефект очень старой пилы. Вы дребезжите зубами. Вы сами-то слышите, как дребезжите зубами? Железные зубы? Как зубья? Пожуйте чего-нибудь липкое...

- А вдруг попаду! - упорствовал Карлик.

- Нет, вы промажете пулей, которая дура.

- Попаду, не промажу!..

- Пустая надежда. Он вызов не примет и вашу сестру не отдаст. Заманит, обманет, посадит вас в штольню на цепь. Запишет ваше дыхание на магнитофон шантажировать и тормозить ее: либо иди за меня, либо Карлик, как кролик, подохнет в цепях... Сейчас Помезана держится, не поддается, наша. Но если вы будете кашлять и плохо дышать, покорится монарху, она вас в жертву не принесет. Поэтому ни за какие лимонные...

- Нет, нет - не согласен!..

- Как нет? Вы мне друг или черт?

- Держится! Где гарантия, что она выдержит?

- Ваша сестрица великая женщина. Любая великая женщина пусть всего бережет свою честь в своих будущих детях. Ее не заставить рожать от кого попало кого попало - зачем ей такие? У которых один глаз китайский, а другой - соломой заткнут... Хочется крикнуть всем женщинам... Бабоньки, будьте великими, не обижайте народ нечестивцами в ваших подолах на устрашение слабых его людей!..

- Ох! Это все декларации!..

- Что вы, какие здесь декларации? Помезана только себе подобных будет рожать от себе подобного мужа. По части же этой гармонии с Илларионом пикантный скандалчик. Он влопался в вашу сестру вне условий породы.

- Возьмет ее силой.

- У, тогда это будет банкротство. Нет, ему надобно именно то, чем является ваша сестрица, и по той же, по красной цене.

- Вам хочется говорить еще? - спросил Карлик устало.

- Да, про штольню. Дескать - в штольне сидеть - это вам не зубами трещать спозаранок.

- Как будем поддерживать связь? - спросил Карлик, превозмогая боль в горле.

Не дождавшись ответа, Карлик стал падать - проваливаться рывками вовнутрь себя, и не помнит, когда ушел гость.

## 2

- Там на моем иждивении боль, - монарх разевал скособоченно челюсти, требуя отклика у подчиненных. - Смотри, как страдаю, не ведая злобы на ваши дрязги.

Зубная железная боль завелась у монарха во рту перед самой лаптой в ателье гимнастических игр пополудни, когда заболели гнилые коренья задних клыков. Сперва эта боль была болью вновинку, прикинувшись так себе крошечной болью без надлежащей нагрузки на организм. Монарху даже почудилось в ней что-то лестное собственному авторитету. Вдруг боль обнаглела. Пытаясь принизить его, принудить стать хуже того, каким был до ее нападения, боль навалилась испортить монарха по-окаянному. Одновременно в обеих скулах она пошла в рост. Монарх подозвал массажистов немедленно сделать ему против боли щекотку, которая не могла. Тогда перекошенный болью монарх повелел сотрясти небеса мощным залпом из тысячи пушек на ветер. Однако и после удара орудий та боль не оттаяла, а продолжала свое. Мучительная, нетерпеливая, она, казалось, висела во рту, как отрава для пробы на вкус, но поймать языком это бедствие - чтобы избавиться, сплюнув, - было слишком не просто. Монарх воспротивился адской мерзавке целебными каплями, но боль, раздирая скулы, швырнула монарха лицом под подушку, откуда, стараясь запутать следы, он полз вспять.

- Ох, и боль!..

- Тут ничего нет, учитель, - дежурный нахал посветил в рот монарха фонариком для интереса. - Вижу одну вашу полость.

- Нет, а где? Лицемер, так болит, - монарх крючковато сел на пол скончаться, притих, засопел и ужасно соскучился по самому себе.

Умоляя нахалов не мешкать, спасти, он со страху велел, чтобы те, у которых свободные руки, схватили его и держали, не смея покинуть, а те, у кого руки заняты, бросив занятия, пусть помогают держать.

### 3

Сантехник Эн считал себя сыном века.

Эн один на один многолетие вел схватку со всей клиентурой.

В своих коммунальных окопах его клиентура чуждалась визитов полезного специалиста по части водопроводного дела - мол, слишком недешево ей обходился этот водопроводчик, - не дать чаевых ему было нельзя, а давать было жалко. Но Эн был настойчив и приставал к населению микрорайона с починкой домашних кранов, унитазов и моек, идейно желая народу побольше добра в окружении этих исправных удобств. Эн требовал крайне высокую мзду за свои трудовые успехи на том основании, что, мол, не смеет никак огорчить клиентуру своим подозрением в ее нищенстве - он возвеличивал вас, когда бил по карману.

Не схватка, а пытка с обеих сторон.

Однажды сантехник шагал налегке мимо Башни.

Эн решил заглянуть на часок в это странное заведение по профилактике трубопроводов, якобы, - там поживлюсь, чем пошлют. При входе сантехник не встретил препятствия, Башня стояла незапертой вот уже несколько дней. Эн пролез в элеваторный узел, помазал техническим жиром штурвалы задвижек для плавного пуска,

пошел искать кассу внештатного фонда... На всякий спорный случай, дабы не артачилась эта касса, сантехник Эн оставил в подвале крошечную протечку пресной водички в трубе отопления. Труба грустно булькала. Ежели касса хорошая, сильная касса, трубу можно будет заткнуть. А ежели в кассе у них одни воры - то пусть их труба остается с дырой под вопросом и назидает.

В игрушечном актовом зале сантехник набрел на старинную свалку скульптурных изделий, сокровищ в чехлах паутины и списанных, видимо, в бой, как ему тогда показалось. Сантехник практично наметил изъять себе на комод скульптурку какого-нибудь вождишки без крена. Пусть гости подумают, что у него за вождишко завелся, когда придут, видя. Умеет Эн жить, вот и нажил, подумают. Хотя, конечно, хорошим гостям будет мало вождишки числом в одну штуку. В коллекцию надо брать больше вождей на комод, потому раз такие дела и никто из охраны при сем не присутствует спорить.

Эн разорвал на ближайшей к нему голове паутину, и вдруг на него посмотрели глаза экспоната, неведомо что повествуя... Два желвака - как замазка. Нет, где как замазка? Улитки сидели в глазницах - обе задвигались в ложном движении, словно бы лезли наружу, но в то же время и пятились вглубь.

- Ах, Карл, это ты или кто? - спросила голова по-женски. - Долго не появлялся...

- Маманя, а где у вас касса пособия? - окаменел сантехник Эн. - Мне треху должны - вот курьез!..

Оживились тогда в своих паутинах и прочие головы, как пауки, - неумело чихая в сантехника пылью, начали перехихикиваться между собой. Эн пожалел, что нет палки в руках для защиты. Без помощи палки было немыслимо уйти просто так, ковыряя в носу. Вряд ли поверят и вряд ли отпустят. Эн сделал себе потерпевшую рожу, изобразил там вполне идиотскую физиономию, какие сейчас наблюдал у остальных экспонатов, и, не выкручиваясь, встал рядом с ними к стене, как свой в доску чужак, чтобы подольше не опознали.

## 4

Карлик очнулся в момент погрома. Вся мягкая мебель в его квартире, разваливаясь, похабно валялась пружинами вверх. Какие-то шустрые люди настойчиво маршировали в комнатах по его дневникам, по фотографиям, брошенным наземь, и стучались в стены плевками.

- Наша семья ищет ножницы! - пели они в неистовстве от удовольствия, что к их сапогам прилипают в осколках стекла на полу расчехленные хлопья перины.

То были скопом хмельные соседи-соседки с других этажей, обормоты в складчину с обормотками, которые вовсе не ведали срама в своем алкоголе. Для них что ни стопка - то хитрость интрижки, и что ни застолье - то кум к юбилею. Небось, всякий встречный в природе горшок им содержит спиртную наличность, их жалко.



Посмотришь, чего только нет среди общепризнанных наших несчастий, среди таких неприятностей, например, как нужда, опоздания, хворь, клевета или глупость и фи́га, с которыми рядом стоят одиночество старости, чувства вины, муки творчества, праздная лень, передряга по службе и хворь еще раз! В этом списке не видно конца. Однако хмельные соседи-соседки в нем значатся сверху за номером... В общем, пожалуй, не зря социологи в новых научных статьях шибко ставят на первое место несчастье глушить безалаберно горькую при дефиците закуски.

Но и срам сраму рознь - иной горше горшка.

Понятно, что Карлику было не до соседей. Невыносимо позорной была для него сама крайняя мысль о сестре, попавшей теперь в плен к монарху. Эта мысль о сестре заслонила Карлику все остальные. Конечно, возможность какой-нибудь сделки с монархом - а тем более добровольной какой-либо связи и близости с ним - Карлик отверг и логически не допускал. Но так или иначе этот монарх уже преуспел. Прикоснувшись к судьбе Помезаны и Карлика, он уже осквернил их своим прикосновением, поставил скандальные клейма на их репутации.

В прошлом, покуда монарх тихой сапой глумился над ним заочно, Карлик тоже боялся монарха инкогнито. В этом смысле в стихии толпы Карлику для себя оставалось из личностных собственных качеств лишь страх потерять уцененную шкуру с костей. Теперь же, когда монарх случайно выделил Карлика в общей толпе и поставил у всех на виду под огласку, Карлик проникся еще и брезгливостью, от которой не знал, как избавиться, - брезгливостью к самому себе. Почувствовав эту брезгливость к себе, Карлик считал справедливым тот неприятный факт, что такую же точно брезгливость за то, что он жил в это високосное время, к нему непременно когда-нибудь станут испытывать многие люди следующих поколений.

Очнувшись в момент погрома, Карлик не помнил, какой был час окрест - стенные часы в этом смысле бездельничали, тикали-такали громче обычного, но почему-то бездействовали. У них почему-то не обнаружилось на циферблате стрелок. Но Карлик не проявил интереса к соседям с подобным вопросом.

- Ножницы где-то пропали, - пели соседи. - Мы с обыском...

Не проявил интереса он к ним и тогда, когда те пеленали его с головой в одеяло, как вещь на дорогу. Пригрозив, унесли этот сверток на улицу за поворот.

## 5

В холле сидел сенбернар в окружении свиты мелких собачек с медалями, как старичков на политинформации. Сильными лапами спереди сенбернар упирался в паркет пола - он давил на паркет и, казалось, толкал его прочь от себя. Лапы стояли угрюмо, твердо, незыблемо, как будто бы весь этот холл, подчиняясь им, движется в том направлении, как того хочется псу. Карлик упал аккуратно в полуметре от лап сенбернара, выскользнув из одеяла вслепую. Тотчас же хмельные соседи-соседки, похитившие его,

бросились к Карлику, чтобы поставить его перед псом вертикально, готовя товар напоказ в лучшем виде. Соседи-соседки поспешно поправили Карлику воротничок, отряхнули с одежды соринку; пес ждал, когда кончат.

Строгий задумчивый взгляд сенбернара в пространство был правильно понят всей свитой. Лязгая наперегонки медалями за безупречную службу, собаки свиты напали на пьяных и подняли хай.

Пьяные люди, не огрызаясь, нарочно хромя, покинули холл вперемежку друг с другом. Затем сенбернар, очевидно всецело довольный таким поворотом событий, бесшумно исчез в боковые стеклянные двери. Туда же за ним - соблюдая дистанцию на расстоянии запаха шефа - устремились другие собаки. Карлик остался один. Вдруг вошла Помезана.

- Здравствуй! - С первого взгляда Карлик открыл одну важную в ней перемену. Сестра выразительно вся похудела. Внешне теперь она кажется несколько меньше себя самой - видимо, за этот прошедший в тревогах период она ухитрилась так складно уменьшиться, что худоба без ущерба здоровью теперь придает ей особую женскую детскость. Лицо Помезаны и мускулы спелого тела сейчас обозначены были по-новому, более ярко, смелее. Карлик подумал, что хорошо это. В прошлом он сильно страдал от нескрытой ее наготы, уязвимой публично. Считал это фактом большого несчастья. Не осуждая ни в чем сестру, он любил и жалел ее так же ранимо, как жалеют убогих сирот и как сами убогие жалеют бездомных. В нем не было мужества. Это безвыходность только была, и был стон - жалость, любовь и страдание слились в душе в один стон безголосый, лишенный границ и сюжета. Был стон и весь вышел сейчас. Карлик не помнил уже прежних мук за сестру и не знал, как понять их. Сейчас самый близкий по крови, родной для него на земле человек достоверно в уместной своей наготе находился с ним рядом. Карлик еще раз подумал, что все хорошо это. Иначе он сам захотел бы раздеть ее так. После ужасных тревог за нее, после тоски, после стона в душе - он сам все равно захотел бы раздеть ее так, но, пожалуй, не смог бы на это осмелиться, чтобы ее не обидеть каким-нибудь грубым и стыдным намеком а значит, не смог бы попасть в этот праздник.

Ее нагота была крайне условной. Все то, что естественно и настояще, замаскировано в этой условности. Все то, что, казалось бы, здесь пребывает снаружи на самом виду, это самое *то* нас дурачит. Оно, вопреки вероломному здравому смыслу, остается непознаваемым. Нам не постичь его полностью. Тайны, лишь их обнаружил, скрываются в большие тайны, которые также скрываются в новые большие тайны, которым не будет конца, покуда сама не захочет, чтобы они перестали быть тайнами.

- Здравствуй! - Сестра зажмурилась для поцелуя.

Обычно Карлик целовал ее простенько в щечку, при этом всегда был готов на попятную в случае надобности, а тут откровенно он замер губами на влажных ее губах и не дрогнул. Она, еще больше зажмурясь, легонько раздвинула губы, и Карлик своими губами проник в эту щель.

Доселе она никогда не выказывала перед ним своей радости таким способом - жмуриться при поцелуе, - а знай Карлик раньше про эту ее склонность, он целовал бы ее только в губы и в зубы.

- Слышу, залаяли, стервы! - жутко сказал возле них чужой человеческий голос, приплясывая. - Ну, я с первым лаем насто-рожился и бац - сюда к вам!..

Этот голос возник неожиданно из пустоты.

Но сам по себе, из ничего, он, конечно, возникнуть не мог и возник из рта того места, где он до сих пор находился. Таким пристанищем этого голоса был шут гороховый в тоге римлянина. Но шут ничего не значил, был бос и плешив и босыми ногами приплясывал, точно по снегу, - а нервничал в нем натуральный живой человеческий голос. Этот шут заходил то с одной, то с другой стороны поудобнее, чтобы попасть на глаза Помезане.

- Зять, - поклонился шут Карлику.

- Чего прискакал-то? - строго спросила шута Помезана. - Тебя нешто звали сюда?

- Я тоже хочу целоваться, - шут был капризен и часто дышал, скорчив сиротскую рожу заплакать. - Когда мы начнем наше дело?

Сперва Карлик никак не мог определиться, не мог убедить себя, кто перед ним, хотя внутренне давно готовился к этой встрече. Не мог он привыкнуть к нему такому. Не верилось Карлику, что это приплясывает Илларион имени Иллариона. Слишком смешным, безобидным смешным плясуном показался Карлику этот неряшливый полупомешанный тип, слишком был бестолковым. Его несвирепый облик с миниатюрными ушками на голове-бульжнике совершенно не соответствовал тому представлению о грозном монархе, которое имелось о нем у Карлика загодя. Особенно Карликом не принимались серьезно в монархе в расчет его мальчишеские уши. Самое большее, на что мог рассчитывать Илларион с такими ушами, так это на скромный успех быть вахтером - и в тоге, и в шапке.

Вот так история - ну, и монарх! Как же так?..

Этот забавный монарх столько врал и столько же много на старте своей необычной карьеры вертелся на сценах-экранах клоуном без достоинства, стараясь заставить расслабленных подданных верить, мол, перед ними доступный простому понятию олух, который, возможно, внесет оживление в публику и оправдает ее затраты, что своим беспардонным тогда кривлянием виртуоза-кривляки сбил весь народ с панталыку. Отчасти сработало в обществе чувство боязни попасть незаметно за рамки примера. Благочестивое общество сентиментально на первых порах, устыдясь, пожалело монарха, сказало - достаточно нам его слез и претензий на власть в такой форме. Пусть берет вожди истории. Но когда современники Иллариона впоследствии поняли мало-помалу, что новый монарх не справляется с этой работой, которую он себе выбрал, не может наладить разумный порядок в стране, то, увы, было поздно размахивать шляпой протеста. Все те, которые носят шляпы, были уже перепутаны и перемешаны между собой в одну общую кучу-малу, где каждый из них был всеми другими потерян во всех остальных. Возникла большая потребность в интимных поступ-

ках: кто пил, кто мытарил жену, кто пошел воровать, а кто - нет. Общие дети - с отцами росли без отцов. Но жизнь, где пришлось второпях приспособиться жить, как тебя заставляет нахлебник, она не давала морального счастья, поэтому пили и крали не весело, а апатично. Иные, считаясь по табелю рангов довольно комолой скотиной, стыдились такой своей жизни, стыдились признаться в ней, не признавались. Нет, есть, говорили они, уговаривая себя, есть-таки в уме у монарха другая, высокая цель относительно нас, а как же иначе? Иначе мне, правда, никак, отвечал им при помощи массовых средств информации хитрый монарх, чтобы шлейф пустозвонства, которое он распустил по стране, застил народу погуце глаза. Вот, отвечал он при помощи средств информации людям, я вижу - построили дом! Это вам, дуракам. Это праздничный случай. Временных трудностей в сфере жилья стало меньше. Эх-ма! Откровенно скажу. Что у нас постоянно, так это сами временные трудности. Это я по секрету себе говорю. И пуцай дуракам невдомек, думал он уже где-то в секретных глубинах души, невдомек им, во что обошлась им такая победа, которая, якобы, дом. Дуракам все равно не понять, что, угробив такое количество денег и сил, было просто физически здесь невозможно совсем ничего не построить. Невдомек и моя настоящая цель - посильнее, покрепче обнять своим задом служебное теплое кресло. Для этого я превратил весь народ в дураков, а затем дураков превратил еще раз в дураков, и они разучились о чем-либо мыслить и спорить, но так-то им лучше, свободного лишнего времени больше у них на жратву остается... Кстати, в заморских и даже в соседних державах картофель исправно растет для жартвы, а у нас почему-то не хочет. Неровен час, буду осмеян за это. Ан, буду показан потомкам с котомками как человек, кто не мог в поле вырастить даже картошку!..

Каков же мой автопортрет, не написанный маслом?

На нем, вижу, бдит совершенно бесцветное полое здание шара.

Внутри совершенно бесцветного полого здания шара вселенной мечется крошечный трус на последней возможности ужаса, как угорелый объект покушения исподтишка или как уголовник. На этой картинке нельзя разгадать, каким образом трусик попался в такую ловушку. Практически стенок и дырок у шара не видно - сиречь пустота и пространство стоят без понятия.

На этом портрете я вышколен страхом того, что однажды нигде меня больше не будет, исчезну.

В монархи пошел обеспечить свою безопасность.

Но раньше, - простому на этой земле человеку, - мне были страшны только дужие силы природы. Не все, а десяток-другой хулиганов и телепатов себе на уме. Теперь у главы государства стоят миллионы врагов с кулаками. Не нравится им моя внешность и власть. Это зря - власть как власть. По-моему, всякая власть хороша, когда ей располагаешь. Это наскальная, а не настольная истина, до которой, в сущности, можно рукой подать, если, конечно, рука у вас длинная.

Особенно пужлив я во сне - вдруг проколят затылок, пока почиваешь.

Несправедливо распорядилась природа живой человеческой болью. Зачем при убийстве всю боль на себя принимает один потерпевший чудак, тот, кому предназначена смерть? Надо не так. Надо, чтобы убийца физически чувствовал сам эту боль, как свою. Дал кому-то по харе - страдай за нечаянно вытекший глаз или вывих, а то слишком жирно живется тебе без позору...

- Твой тазик на стенке? - спросила Помезана впавшего неожиданно в забытие шута.

- Щит, вы хотите сказать? - подбоченился шут. - Принести?

- Нет, ступай позвони в него головой.

- В щит? - Шут засеменил в направлении боковых стеклянных дверей, но по дороге туда босыми ногами запутался на полу в одеяле, в котором соседи-соседки похитили давеча Карлика.

- Что за проклятье, что мне опять за препятствие?

- Дай, - сказала ему Помезана. - Это мое одеяло.

- Какое же тут одеяло? - Шут поднес одеяло к лицу, поводит подбородком по одеялу. - Живое, живое оно! Разомлело, молчит и воняет исчадьем утробы. Люблю этот запах. Давай отолю его нежную статую из туалетного женского мыла, но как там получится пуп - обещать не берусь, потому что премудрости много в тончайших узорах наверчено у повитухи...

- Не смей утираться моим одеялом, сопливый!..

- Но я никогда еще не целовался, а что сплошь я лыс, не волнуйся...

- Сложи, говорю по-хорошему, вчетверо...

- На голой моей голове завтра вырастет мак...

## 6

В Илларионе днем и ночью происходила изнурительная борьба - боролись две разные силы между собой, та и эта.

По ночам на него нападал адский грохот в груди. Сердце, стучавшее как на кузнечном заводе, мешало монарху заснуть, как дубина какому-нибудь замухрыге. Ужо поломаются старые ребра под натиском сердца в этом вертепе, боялся Илларион. Или одним из таких ударов тебя свалит с ног, если вскочишь с постели до ветру: ты метишь пониже присесть, а тебя трахнет оземь.

Монарх по ночам анализировал в хитром уме неуместность текущих событий. Многие прежние лета все граждане были обязаны повиноваться любить его с первого взгляда. Монарх не особенно зло дорожил их любовью, но вовремя требовал, чтобы они отдавали сполна этот долг. Началась благодать не на шутку. Но вот, когда стало известно, что в жизни монарха приблизилась веха конкретной любви для семейного полного счастья, то здесь получилась дыра. Весь титанический труд прошлых лет пошел прахом без адреса в эту дыру. Все привилегии были напрасными, словно козе накомарник. Монарх по ночам отказывался понимать, почему Помезана, в нарушение принятых правил приличия, не восхищается им подобающим образом и почему она не признает в надлежащем законном порядке его преимущества перед людьми бледного сорта, не видит, какую развеселую выгоду он водворит в ее дом. Девчон-

ка не хочет ни славы, ни сказочной лести, ни роскоши, падающих на нее с небес судьбы. Прочие обыкновенные женщины были бы рады по данной высокой цене верещать у него под ногами, а эту особу никак не заманешь торжественным актом почетно на грудь. Несправедливо-то и непонятно-то как! Сознание жестокой несправедливости, учиненной над ним, как над бедным, и одиночество, переходящее в страх и позор, заставляли монарха ночами давать себе клятву, что завтра же он примет строгие жесткие меры к ней, перевернет все по-своему в их отношениях с ней, выложит ей на показ свои крупные козыри, веские факты и верные форы...

От нужды в собеседнике монарх однажды ночью вспомнил про Карлика.

- А ну, приведи-ка мне этот предмет на аудиенцию в библиотеку, - приказал он ученому псу-сенбернару. - Нечего этому Карлику даром зря спать у меня во дворце, как в своем. Я хочу говорить с ним. Пущай он заставит ее покориться.

Ожидая Карлика в библиотеке, монарх обнаружил охальное шоу в камине.

Сивая куча огня набекрень приглашает поежиться с ней в одной ванне. Дразнит и тонко смакует подробности жестами, стерва. Это по виду какая-то родинка-люстра с когтями-ресницами.

Внезапно огонь перестроил в камине порядок греха по другому шаблону. На сей раз - это землетрясение местности вверх тормашками. Скачут и прыгают пестрые жертвы. Имущество их подлежит грабежу вертопрахов. Нейтральная твердая масса и прочая жидкость и дрянь приготовились к гибели. Не разрушились только актеры с гляцевыми актерками в ярких лохмотьях верхом на снопах, на гитарах, на чем попало, да меценаты насилу остались в живых. Вся эта богема собирается подле крошки в избушке, которая расплывчиво видна наискось справа. Но сунься к ним рылом туда, - заподозрил крамолу монарх, - они с высоты своего положения избранных, словно у каждого больше костей на один запрещенный шейный позвонок за шиворотом, враз унизят завьить тебя в мать честную - так огонь тоже подл, пока тепл.

Все мы, теплые, - подлые.

Нам нельзя верить, что дважды два будет четыре.

У нас в бухгалтерии дважды два будет приписка с подвохом, время дважды двум настоящим. У нас иной музыкантишка - как музыкантишка, поглядишь на него - несуразен и прост, что каморный подсвечник, и вдруг - поглядишь на него, бережет сыромятную нитку. Не хочет, пролаза, давиться на ней. Я, говорит, не могу, я всем нужен, и держит во рту несусветную ересь без шепота и запятых. Мол, сотворил, например, благородное, кажется, дело. Хором один спел публично концерт, предположим. Однако возьми наизнанку его благородное дело, устрой благородному делу докопай до главного смысла, найди в этом деле, как ищут прямую кишку, ту причину, зачем он его напроказил, и сразу получишь ответ, что творец был заведомо грешен. Хотел сотворить, отличиться, взять вверх - вот и хрюкнул в концерте один за весь хор, за что сыт покудова, как на поминках.

Зарево смыло в камине душеспасительное зрелище, чтобы показывать новые темы. Огонь крючкотворен. Огонь изворотлив по части картинок, и перед монархом явились крысиной походкой мелкие каторжные чины. Это, - узнал их монарх, - движутся те, кому верха не нужно. Всю жизнь они праведным способом движутся в трюм карантинный страдать супротив конвоя. Это нижние грешники и мастера провокации. При них круговая порука греха согласует события так, что они, страдая вповалку вниз, мнят оттуда назначить тебя виноватым за то, что они тебе вроде подстилки для ног в сапогах. Я гибриды люблю, не подстилки. Скажем, родинка-люстра с когтями. Мне плохо, когда какой-либо редчайший гибрид попадет не ко мне. Плохо также, когда эта вещь причитается мне с кем-нибудь на двоих поровну или надо делиться добычей с семьей, как с собакой, не говоря уже целиком о народе. Поэтому все не мое надлежит уничтожить. Иначе нельзя одолеть ни чужих, ни своих конкурентов, а что до народа - так тут и вообще закоулок.

В камине снова намечена перетасовка всего обезьянника. Вышли срамиться которые мушкой неслышно летают - показались и пригорбатились в лучшем виде своей породы, для коей нигде нет заповя под небом. Осторожные. Приветливые. Святые. В глазах у себя развели васильки, васильки. Но этак слащаво нам подкузьмить голубым огородом на лбу норовит только грешник по-черному. В нашем бедламе людишки рожают друг друга ва-банк, и стоит теснота. Нельзя даже чуточку пошевелиться, чтобы кого-нибудь в нем не поранить. А плюнешь бесцельно вперед - поразил чью-то выставку на голове. Не выставку - значит, плевок твой кому-то в кастрюлю попал на фураж... Сначала поштучно рожают друг друга, потом - убивают друг друга. Жестокие циклы рождать-убивать чередуются между собой непрерывно...

- Я золотое перо века, - заерзал глазами по книжным полкам Илларион, когда Карлик вошел к нему в библиотеку. - Не веришь, на что поспорим?

Спорить с ним попусту Карлик жалел свой язык.

На книжных полках библиотеки стояли только одни сочинения Иллариона - тома и брошюры в цветных переплетах, пропитанных запахом странного клея, вонявшего жженой картошкой, как будто бы этот товар выпускало издательство пайщиков фабрики-кухни на стол едокам общепита, - чужих несущественных сказов монарх во дворце не держал.

- Я не хочу с вами спорить, - сказал ему Карлик.

Лишь редкостно глупые люди, выскочки все доказать на словах и познать все на свете напропалую, - лишь эти красавчики вечера спорят ночами, а Карлик считал, что познать все на свете нельзя, это дело не наше. Всезнание - Божия блажь. Поэтому авторы самых полезных открытий науки почти никогда не спешат их открыть, сомневаясь, а коли открыли, почти никогда не спешат заявить свое имя, дабы не поспорить. Любое открытие нашего разума слишком скромно. С ним следует быть осторожным и бережным. Но выскочка этак не любит. Выскочка требует дать ему в руки это открытие для антуража и куража. С помощью двух-трех

добытых где-то секретов он лезет решать перед вами почти все земные проблемы где надо и где не надо, кричит, что владеет ключом от этих проблем. Не доверяйте ему. Нет такого ключа, а сам выскочка - взломщик с отмычкой. Однако в споре, который у вас, возможно, с выскочкой не состоится, советую вам иной раз уважать доказательства выскочки на слово. Ибо затем у него еще есть кулаки. Выскочка может ими нарушить вашу симметрию. Он то и дело ее нарушает в природе. Конечно, природа не терпит асимметричности. Она стремится восполнить убытки, нанесенные ей чужеродными вставками выскочки. Иногда себе в ущерб она создает двойника чужеродному телу, что и для нас не проходит без тяжелых последствий.

- Что прокис? - спросил Илларион. - Вижу, труды мои обескуражили... Мда, тебе столько не написать...

- Не написать, - согласился Карлик. - Такое количество книг одного человека наводит тоску, потому что не может один человек написать столько без галиматьи...

## 7

Каждое утро монарх просыпался теперь самым первым в стране. Ни свет, ни заря торопился во двор. Несчастливого бил по лицу плотный ветер со всех сторон. "Хамье!" - ворчал по адресу ветра монарх, ожидая выхода Помезаны, хотя знал, что она не появится скоро.

Днем при ней в нем брала верх в борьбе другая правая сила. Тогда сердце монарха, притаившееся где-то в груди, как зайчонок, не проявляло активности, сладко млело. Ночные идеи казались ненужными, козыри были смешными, а его высокое положение в обществе сейчас по своей нелепости уже не годилось к дальнейшему употреблению, но это нисколько не удручало монарха. Наоборот, ему нравилась роль без движения, нравилась эта беспомощность. Илларион ходил следом за Помезаной, глядел на нее в упор и молчал.

Слова были ненужными, они тоже казались смешными и непригодными к употреблению, нерасторопными.

Илларион оставлял без ответа доклады своих подчиненных и жалобы подданных, не понимая, какой суеты и какого рожна им еще не хватает. Немой неумытый старик с двумя неопратно торчащими врозь из губастого полуоткрытого рта гнилыми зубами производил жевательные движения, когда к нему обращались. Монарх на ходу принимал нелепые позы и на мгновение в них застывал на показ, а однажды он шел и уснул - так и преследовал девушку спящим.

Днем монарх наводил на всех ужас того ожидания, когда невозможно представить себе даже в общих примерных чертах катастрофу, которая может случиться, хотя никому неизвестна ее подоплека и цель.

Трудно сказать, когда именно, днем или ночью, созрела в монархе идея, как изловчиться избавиться с честью от груза своих стопудовых страданий.



Монарх воспрял духом, и в животе у него отлегло.

- Ты вот что мне сделай, - велел он дежурному нахалу, покусав горячей еды. - Ты угоди мне. Даю два дня сроку. Пугнешь ее так, как придумаешь сам, только чтобы она затряслась у тебя от испуга, поверила. Пущай она будет на волоске, мол, сейчас ей и крышка. Ты понял, как мне угодить? Враз получишь свое послабление. Ну, а во двор запретим выпускать посторонних, один будешь с ней. Короткого брата ее, чтобы не потерялся, посадим заложником вниз. Много пыли в нем, в брате-то.

Монарх не сомневался в способностях дежурного нахала только выполнить любое мерзкое поручение, но умышленно не растрепал ему полностью все, что железно наметил по плану, в основу которого он положил провокацию, верный расчет на ее благородство и верные средства на выигрыш. Вряд ли тогда Помезана ответит монарху по этому плану обидой взамен благодарности. Нет, не такая она по натуре кривляка. Навяжем ей долг, из которого выход один: согласиться на все, понимая, что даже всего будет мало.

В момент, когда дежурный нахал приступит к работе по напужанию девушки, монарх по этому плану займет себе место в укрытии для наблюдения, сядет в резерве тихо сидеть. А как только ее пронзит страх, Илларион и появится из тайника, чтобы выступить в роли спасителя жизни. Он в ухо пристрелит нахала. Женская логика сделана так, что за каплю обычной любезности баба готова отдать свою ласку, а тут и подавно нельзя отпустить человека с пустыми руками. Монарх ликовал, в животе у него совсем отлегло.

- Куриц и зерен! - спустя сутки потребовал дежурный нахал.

- Гонорар тебе? - Илларион имени Иллариона ласково поглядывал на уши нахала, выбирая, какое наметить под выстрел. - Правильно, без гонорара солдат - как аптека без клизмы.

- Нет, мне на то послабление будет, - ответил нахал, не смутившись. - А куриц и зерен заместо бритья на устройство испуга, учитель.

- Художества, чувствую, ладишь? Склони поощрить твое левое ушко. Дозволь в него выплюнуть слюнку интимно. Слюна накопилась.

## 8

Карлик разгуливал по каземату, куда под амбарный висячий замок он был заперт сосредоточиться перед смертью. Узника переодели во все фабричное не по росту. Затем написали на лбу по-арабски порядковый номер для башни.

Конечно, слова, что разгуливал по каземату, не слишком уместны. Разгуливать тут было негде: оставили только пространство в четыре шага поплутать недалече вперед, и таких же четыре - обратно. Но и этого мизерного пространства на скорую руку сейчас хватало ему для последней прогулки.

Четыре - туда...

Четыре - оттуда...

Без горизонта идешь; все четыре шага нет ландшафта.

Карлик не чувствовал ярости гнева для самозащиты, а чувствовал очень большую усталость во всем своем теле. Карлик устал до того состояния отрешенности ото всего, когда, вопреки всякой логике, не проявлял интереса даже к своей личной смерти. Личная скорая смерть принималась им, как посторонняя очередная шумиха.

Карликом издавна руководили в природе какие-то векторы-невидимки, но теперь он от них отказался. Карлик с большим удовольствием освободился от них и от хаоса тяжести внешнего мира в обмен на покой. В Карлике некогда жил вездесущий двойник, помогавший ему быть и мочь, но на этот раз этот двойник не желал докучать ему лишними сказками о вероятных успехах на поприще здравого смысла каких-нибудь очень смысленных собратьев, которые сами нуждаются в нем, а поэтому надо проникнуться вновь интересом к своим повседневным заботам. Нет, помогая судьбе, Карлик отрекся от этих забот - он отрекся вдобавок от запахов, криков, скандалов, толчков, документов, соблазнов, а также отрекся и от недоумения по существу своего равнодушия к жизни.

Раньше он часто боялся животного страха последовать в небытие. Боялся не смерти, а страха в себе перед ней. Не смерти, а именно страха, как основной неприятности. И вот страха нет. Ибо Карлик отрекся от страха. Правда, у Карлика все-таки что-то болело, скулило, - не то, не поймешь, это ноет притворно под левой лопаткой, не то с опозданием стал воспаляться аппендикс в паху, - но все это было не страхом, а временной болью, которая так и пройдет сама.

Четыре - туда...

Четыре - оттуда...

Почудилось странное. К нему приближается кто-то конспиративно без головы. Силуэт приближающегося человека был искажен и приплюснен, а поступь шагов неразборчива, как у лунатика. Странность продлилась мгновение, после которого эта бессмыслица кончилась фарсом. Тот, кто сюда приближался, спрятал для маскировки свое лицо за приподнятый согнутый локоть, уткнувшись в рукав головой, но Карлик узнал в нем Процента.

- У-у! я пришел возвестить! - Процент неожиданно выщелкнул Карлику в нос указательный палец и засмеялся, - перемешать можно все миллиарды.

- Как вы попали ко мне? - удивился Карлик. - Прошли напролом капитальную стену?

- Зачем стенки портить? - обиделся гость. - Всякий секретный замок доброволен открыться передо мной. Я инженер, а не взломщик, не выдумщик.

- Что с Помезаной? - спросил Карлик на всякий случай.

- Пьет молоко, я парное ношу - она пьет.

- Да скажите мне что-нибудь толком!..

- Затем и пришел, рискуя. Одно из моих гениальных устройств может причудливо сотворить мешанину любого масштаба. Сам не знал этого. Честное слово. Придумывал, комбинировал, пробовал и переделывал вроде бы вовсе без цели, потому что хотелось, но вот вам, пожалуйста, случай, это устройство ныне способно сострять многоступенчатое шарадоподобие в мире. Быр-быр-перебыр-коропо!..

- Что-о? Слов таких нету.

- Вижу, что нет, но наречь по-другому это не догадался. Впрочем, а есть, только не нам их сказать! Ладно. Быр-быр-перебыр-коропо. Так назвал я свою новую машину, услуги которой сейчас предлагаю вам. В машине Быр-быр-перебыр-коропо следует лишь повернуть рычажки с интервалом в синхронном значении кода.

- С интервалом в синхронном значении кода? Чушь это.

- Неважно. Зато моя машина Быр-быр-перебыр-коропо может заставить людей поменяться собой. Вы тогда будете кем-то другим, кто окажется вами.

- Зачем эта путаница нужна? - спросил Карлик.

- Разве не поняли? Чтобы спастись. Спасти вас и спасти Помезану. Вы по Быр-быр-перебыр-коропо не почувствуете, как и когда превратитесь в другую личность - допустим, в меня. Или, хотите, в какого-нибудь Сидоренку? В свою очередь я по Быр-быр-перебыр-коропо превращусь, например, в Помезану, она превратится в монарха, который тогда превращается в вас, как дурак, а какому-нибудь Сидоренке мы тоже найдем его место и должность, в кого-нибудь всунем. Ну как?

- Вы сумасшедший! - не выдержал Карлик. - Вы не имеете права заставить сестру быть монархом. Во, подлость какую затеял! Кощунственно это, преступно!..

- Ладно, я сделаю Иллариона из вас! А сам буду вами, а вы Помезаной, которая станет Процентом, - Процент вынул книжечку с карандашом. - Пересчитаем, согласны? Я - Карлик... Тогда Сидоренку...

- Быр-быр-перебыр, черт возьми, коропо! - Карлик с отвращением вытолкнул изобретателя из каземата.

В лазейке, в которую юркнул Процент, Карлик увидел обилие строгого люминесцентного света на приемных экзаменах. Мальчики - каждый с билетом в руках - отвечали на чьи-то вопросы, робея у желтых столов. Карлик уже догадался, что это были за мальчики. Все мальчики были одним человеком в различные годы своей земной жизни. Карлик узнал себя в том человеке во множестве этих фигурок в различные годы своей земной жизни. Через лазейку из каземата хотелось приблизиться к этой компании, чтобы ответить за них без единой запинки по всем билетам экзаменатору, но равнодушие в нем победило и это желание.

Карлик воротился на четыре шага назад.

Он странствовал по каземату, а мальчики не вылезали из головы - было ясно, что он обманул их.

В жизни он долго копил в себе силу иметь детей. Ненавидел бездетные семьи богатых с удобствами и барышами. Мужчины и женщины в них подчинились режиму противозачаточных средств. Любовь без детей - не любовь, скотоложество. Нечто лишенное начисто чуда.

Дети - наши гости из будущего, они сами граждане будущего.

Наши живые памятники - ходит этак по городу лет через сотню похожий на вас человек.

Карлик подумал еще - хорошо, что он беден.

Дети бедных родителей сильно жалеют отцов.

## 9

Илларион имени Иллариона выбрал себе во дворе порожнюю старую бочку со щелочкой в целях обзора и в целях контроля за ходом пужания. Какой-то забытый старинный философ квартировал в такой бочке в согбенной и скомканной позе, покудова не поперхнулся кобыльим бедром, вспомнил монарх погружаясь в нее. Должно быть, философ умишком с наперсток располагал, коли слопал кобылу, как волк, а такая кобыла сейчас помогла бы мне сделаться всадником, если приспичит на белом коне появиться из бочки героем.

Когда я закончу мороку страдать от любви - а закончу ее в свою пользу, - когда перестану таскаться за ней по пятам, прикажу дать людишкам какой-нибудь патриотический отдых, а то замшевели бедняги. Могу Новый Год им устроить досрочно. Велю срубить елку до неба. Поставлю ее напротив дворца для веселого гульбища. Не пожалею закуски. Надену свои ордена и медали и выйду - пущай поздравляют. Но можно без елки. Я сам недурен в орденах постоять напрокат, потрясая умы: неописуемо весь призовой, а вокруг - хороводы.

Дежурный нахал уже приготовил необходимые приспособления, зачем-то вбил колышки в землю, выпустил из вещевого мешка гадить и вольничать кур во главе с петухом и связал Помезану веревкой крест-накрест. Заткнул кляпом рот ей. Девушка сидела в углу двора - непрерывно мотала головой в обе стороны. Монарх наблюдал, как нахал повалил Помезану навзничь на землю и сел на нее верхом. Ударами кулака по коленкам нахал заставил девушку вытянуть ровно ноги. Накинул на них две веревочных петли, закрепленных на колышках. Точно таким же манером при помощи разных петель к другим колышкам нахал привязал ее руки и голову, чем ограничил возможность ее движений. Слишком часто нахал ее лапает, думал монарх. Я бы мог это сам. А нахал уже достал из кармана горсть риса, насыпал белую горку в конце живота у распятой, разворошил эту горку прутиком. Затем он позвал сюда кур во главе с петухом разговеться, цып-цыпа! Куры пришли и ходили по ней без разбору - скользят, припадая на крылья. Дежурный нахал им потворствовал рисом. "Во гад, как придумал сразить! - удивился монарх, обалдевший в засаде. - Добра не жалеет куда. Вместо бритья, мол, потрава. Куры выщиплют все, что растет, всю совсем оголят по-дурному. Кормушка им."

В это время петух, раззадорясь, зашел на нее с той стороны, где, по мнению Иллариона, ему не положено было присутствовать, зашел и давай раздвигать ее ноги когтистыми сильными лапами, словно мужик. "Это как же осмыслить? - не выдержал Илларион. - Кочет лезет добиться, а мы без понятия в бочке..." Петух между тем продолжал свое гнусное дело и даже побрякивал что-то натужно, словно пощелкивал. От зависти у Иллариона повысилась температура. Монарх, шевельнувшись, почувствовал неравномерную дрожь у себя под рубашкой, сперва была робкая дрожь, которая вдруг превратилась в стремительный вихрь. Боясь не успеть на шабаш, забывая дышать, монарх вырвался зверем из бочки соления. Илла-

рион лягнул на ходу петуха и нахала, которые скуксились и повалились, и сам повалился за ними. Пополз. Долго, крадучись, полз. Карабкаясь на Помезану, монарх оглянулся воинственно по сторонам. Остановился удостовериться - кругом была вседозволенность блуда. Хотелось взглянуть на себя чужим глазом, оттуда, с какой-нибудь стороны, но сползать не хотелось. Монарх вцепился зубами в торчащий у Помезаны во рту мокрый кляп. Руки монарха сдирали с нее панталоны, но сгоряча забрались далеко и запутались там, как в сетях, и вернуть их назад было сложно. "Скинь портки!" - завопил он нахалу о помощи.

Нахал это принял по-своему.

Нахал спустил до колен свои голубые штаны в ожидании новой команды.

## 10

По городам-деревням на вокзалах распространился слух о всеобщей переписи взрослого населения.

Поговаривали, что некто, маскирующийся карликом, самовольно записывает наперекор своему начальству мужчин и женщин в чудную книгу, которую неизвестно где взял. Книга у карлика на специальных колесах и очень большая - формата солидной картины в музее.

Карлик в ней пишет лучом.

Луч бегаёт сам по страницам: как ваша фамилия?

А после того, как вы заняли место по книге, вам автоматически обеспечено счастье и полоса неслыханного везения. Бедные разбогатеют, хворые заново станут надежными, нужными, сильными, вдовы и старые девы воспрянут в невест.

Я тоже хочу записаться. Но все вы, записанные, благополучные либо стремящиеся к благополучию, - вы там, пожалуйста, впредь не особенно чтите меня своим. Мной не клянитесь. Если я смел, я и робок - но это не вас я спасал, и не вы мне грозили. Нет, я наперед адресован другому Владимиру Губину. Здравствуй!..

Тотальная перепись ходит по всем городам от порога к порогу.

Откройте, когда постучится.

## 11

А кляп во рту сидел крепко - как приращенный.

Монарх шатал его, дергал зубами, тянул его вверх на себя.

Когда же монарх неожиданно понял, что девушка нарочно держит тот кляп изо всей своей силы, не выпускает его умышленно, сопротивляется, любви к ней уже ничего не осталось. Однако монарх не тужил о потере этой любви.

Он продолжал творить надругательство - грыз этот кляп, отнимая.

Далее автор отказывается от показаний широким фронтом, подробности следуют вкратце... Монарх с отвращением чувствовал теплую тяжесть еды на чумазах губах. Девушку не было слышно. Мо-

нарх не запомнил, когда разорвал ее бок, на какую проник глубину, а затем по кускам и клочкам расчленил ее тело. Вид изуродованного человека озадачил монарха.

- Прикончил! Кажись, я сожрал ее, что ли, сырьем? - не находя направление сгинуть, монарх нерешительно переступал с ноги на ногу. - Чушь! Это сделал не я, это было само, и само так валялось в грязи и в моче по-хорошему. Может, девка еще образумится бегать...

## 12

В здешнем Верховном Суде верховодили двое - простой бывший шорник с другим бывшим шорником. Оба они были выходцами из трудового народа, где прежде, чем взяться за гуж правосудия, оба юриста как следует поднаторели в ремеслах пошива гужей конской сбруи. Оба они еще помнят те дни, как в запредном нательном белье промокали их кости, когда жили завистью к тем - особенно скорнякам, - чья комплекция располагалась на легкой работе.

Прокурор господин Вopilло, бывший шорник, умел, ежели что, на судебном собрании талантливо и своеобразно преподнести в протокол презумпцию вашей виновности. Бывало, что подсудимые сроду не нарушали каких-либо здешних законов, исправно служили начальству, во всем потакали порядку. Но прокурор был нахрапистым, опережая события. Он бысто прикидывал так или этак в уме вероятные случаи кражи с насилием в том направлении, что без намордника эти отличники наверняка в близком будущем могут и станут насиловать без приказа. Нет, он, прокурор, бывший шорник, не допускает над ними отсрочки суда с приговором.

Адвокат доктор права Пол-Зла, бывший шорник тем паче, не соглашался с ним. Доктор Пол-Зла выбирал по каталогу местной полиции вовсе другие проступки своим подзащитным. Он мыслил их озорниками.

Юристы кидались в кулачные драки. Тогда наступала борьба вариантов. Но завершался их спор, как правило, рукопожатием и соглашением на золотой середине вничью, за которой всегда полагалось авансом назначить виновному смертную казнь.

Сегодня судебным процессом руководил сам монарх Илларион имени Иллариона. Вместо неаккредитованной закостеневшей в бездумье обычной публики ныне в роли зевак на суде парадно присутствовали основные государственные нахалы с женами по пригласительным билетам. Слушалось дело летающей Помезаны. Ответ за нее держал Карлик, поскольку самой Помезаны в живых не нашлось.

- Я обвиняю ее в аморальных шагах! - ткнул прокурор пальцем в Карлика. - Я обвиняю ее в преднамеренных, если желаете, распространениях с диверсионными целями оскорбительных человеческих испражнений помимо сортира. Вы спросите, где это может, пожалуй, произойти конкретно? Да на главном армейском плацу, скорее всего. Там удобное слабое место. Там она их и распространит...

- Протестую, ох, как протестую! - адвокат замечательно прытко выскочил посмотреть на Карлика. - Дитя, у тебя к тому времени будет запор, не правда ли?

- Тогда предлагаю свидетеля Дырко́ва! - торжествовал прокурор. - Свидетель, а как произносится правильно ваша фамилия? Вы Ды́рков или Дырко́в? На какой слог ударить? Суду это важно...

- Оно так и так ничего, - молвил свидетель.

Предложить на процессе свидетеля Дыркова означало на языке специалистов, что пора закругляться. По неписанным правилам распределения приоритета между противоборствующими кулачными силами, свидетель Ды́рков - эта странная личность - мнился по сути могучим козырем в руках у того, кто первый его предлагал. Ды́рков - нам его не понять - числился в штате суда на должности старшего свидетеля по особо удобным показаниям с хорошим окладом в месяц. Это был долговязый, наивно придурковатый, прищуренный малый с пушистыми рискованными бакенбардами на детском лице - нет, нам отродясь не покажут такого в обычном присутственном месте. Он одевался... Мда, одеваться-то он одевался, но вовсе не в том назначении этого слабого слова, то бишь глагола одеться, как мы одеваемся в платье, а был ювелирно оформлен во что-то цветастое и баснословное, доведя окончательный лоск туалета до того безупречного совершенства, что упади на Дыркова сейчас наш гнилой волосок с головы, в зале суда непременно откроется паника. Должна бы открыться немедля. А почему бы и нет? Ды́рков обаял присутствующих. Ды́рков никогда никого не топил в свидетельской луже. Ды́рков не закатывал пробных истерик на публику. Ды́рков на процессах помалкивал в тряпочку - редко чего разумея, - но совсем без свидетеля было бы худо. Что значит совсем без свидетеля? Это почти что проехать по скользкой капризной дороге несколько миль на строптивом слоне без возницы, сидя спиной и затылком вперед. Неизвестно, куда этот слон вас сейчас заслонит. Причастность Дыркова в любом ее виде к сюжетам судебной палаты показывала на определенную профессиональную зрелость процесса. Она придавала законченность всякому рассматриваемому здесь делу: будто бы ехал и спешился.

Вот почему та противная сторона, которая первая предлагала Дыркова, немедленно фактически подводила на процессе черту под последний абзац.

- Здорово за ручку, свидетель! - ласково встретил свидетеля доктор Пол-Зла. - Вообразите себя на армейском плацу где-то в будущем...

- Это смотря в каком чине, - ломался свидетель.

- Неважно в каком, - подсказал прокурор. - Начальником караула.

- Годится, - согласился свидетель. - Угу, я начальник.

- Оглянитесь, обнюхайтесь. Обнюхались - отвечайте. Давно вы знакомы с моей подзащитной? Она на сей раз в мужском виде.

- Я не знаком с ними. - Ды́рков ослаб, явно боялся Карлика.

- И вы далеки опознать, чей помет? - адвокат подмигнул прокурору пошевелившейся фигой.

- Никак нет-ссс! Не могу-ссс, и не буду, - напыщенно, с чувством приподнятого собственного достоинства произнес Дырков. - Эта мочь-с не соответствует-с знакам-с отличия-с на моих-с погонах-с.

- Но мы вас-сссс разжаловали до рядового, - выкрутился прокурор.

- А теперь не могу и подавно, - обиделся Дырков. - Я мамке про вас расскажу. Хоть не помню фамилию мамки, у нее вторым браком другая, но вы не волнуйтесь, найду, они живут на пятом этаже.

- Похоже, свидетель ни ухом, ни рылом не ведает, что караулил, - облегченно шепнул адвокат Карлику.

- Правдивые показания Ды́ркова и Дыркóва полностью изобличают преступницу, - вспять повернул прокурор ход процесса.

## 13

Вода добралась до подбородка сантехника Эн в игрушечном зале, когда потух в башне свет - по непроверенным данным, свет в башне не просто потух по-мирски без скандала, а вычурно грохнул! Как будто бы свет раскололся.

Сантехник Эн впал в меланхолию и неподвижность.

На том основании этот аховый специалист по ремонту гидравлических коммуникаций не выступил против потопа, возникшего по вине неисправной трубы в подвале.

Бледные лысые головы, словно глубинные бомбы на тумбах, исчезли в подводную мутность, да там и погибли.

Нашлась наконец им вакансия смерти.

Лишь голова Графаилла осталась.

И лишь голова гениальной актрисы еще уцелела.

Они плавают поверху без якорей: то удаляются в разные равные стороны, то потихоньку сближаются для столкновения, после которого следуют врозь - каждая медленно следует собственным курсом.

Поэт Графаилл барахтается на волнах и выкачивает изо рта горизонтальные тонкие струйки.

Актриса, пронзенная болью, хохочет.

Знакомая боль от холодной воды бытия веселит эту даму.

## 14

- Правдивые показания Ды́ркова и Дыркóва полностью изобличают преступницу, - вспять повернул прокурор ход процесса. - Ясно, что Помезана летала высоко над зенитками, мухлюя наделать с небес.

- Подумаешь, важная птица какая! - пробасила сердитая тетка от заднего ряда публики. - А мы разве хуже? Мы тоже могли бы на небо, не будь у нас малых детей...

- Слышь, ты, свиногрызка, потише ругайся про мелких детей! - осек монарх тетку. - А ты, прокурор, при свое.



- С помощью Ды́ркова и Дырко́ва вина подсудимой доказана полностью, - пер прокурор.

- Но, возможно, мою подзащитную растрясло в полете, - ныл адвокат жалобно. - Почему вы не допускаете случая?..

- Проняло, хочешь сказать? - спросил прокурор. - Нет и нет. Дело так было. Я говорил тут. Преступница загнула акцию против армейского плаца настолько искусно и скрытно, что даже свидетелям не удалось обнаружить улики. Это ли не усугубляет ее вину?

- Чертики в гробиках! - выругался адвокат, комкая руки.

Карлик совсем не участвовал в этом судилище, не защищался, не чувствовал жути, но вдруг удивился... В далекое время, в далекой, допустим, стране наступило бесплодие. Повсюду заведовал жизнью инстинкт самовластия и вероломства. Тогда некто, не пожелавший прожить на земле без следа, приготовился в честной нечистой борьбе доказать разнузданному хозяину свою правоту, но его правота не касалась хозяина так же, как вся процедура в этом суде не касалась того, кто пришел на нее со своей правотой - у того, кто пришел со своей правотой, не было навыка ерничать здесь. Да и не было правых судов, были только суды расправы... Карлик неожиданно обнаружил, что думает о себе в третьем лице, как о ком-то другом. Наверно, так бывает всегда, когда попадаешь в такую беду, из которой нет выхода. Значит, Карлика в третьем лице видит кто-то, кто мыслится в первом лице, - значит, Карлик все время был с Ним. Отчего же не верят в Него атеисты? Хотя атеист - человек у нас темный... Речь на суде шла, таким образом, о разных вещах, когда Карлик удивился, зачем прокурор записал в протоколе фамилию франта-свидетеля дважды кряду - в таком написании скрылась ошибка, - будто бы здесь было двое свидетелей вместе. Какой-то Ды́рков и какой-то добавочный Дырко́в. Карлик хотел заявить протест судьям, пусть вычеркнут, однако подумал маленько и придержал свой язык за зубами.

Вспомнив о небе, монарх обеспокоенно поглядел в окно на пейзаж. Оттуда монарх опасался дождя, как оплеухи. За окном тлело блеклое небо. Природа, как понарошку, творила монарху в столице неясный поспешный рассвет, по которому не угадаешь погоду в течение дня. "И как она только летала там, не понимаю, - подумал монарх о покойной. - Все там облыжно несимпатичное. С моей точки зрения, небо не лучше болота, где холод, конечно, препятствует силе. А взмоешь в такое болото, и встретится стая летучих мышей. Черви там водятся или не водятся? Знамо, должны быть и черви. Так скушно."

При мысли о покойной у монарха заворочались внутренности. Да, пожалуй, и мыслями не назовешь этот тяжкий цементный мешок на мозги. Монарх для себя полагал, что сожрал ее по недосмотру. Сожрал пополам со своим интересом. Но легче ему при таком оправдании не становилось. Наоборот. Иногда хотелось бежать без оглядки. Бежать и бежать отсюда куда-либо в чистое сладкое место. Ты прибежал, повернулся три раза вокруг, и тебя не узнаешь. Ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Ты стал не таким, каким был, а таким, каким ты еще не был. Явь полная нови. В ней так хорошо, но одно только худо - жаль прежнюю дол-

жность. Монарх колебался с побегом, и поскольку на географической карте не нашел того сладкого места, решил наконец, что останется здесь - будь что будет. А будет - что было. Ложь, подлость, распущенность с кровью ошибок от страха. Все это будет в избытке. Илларион понимал, каково положение дела. Однако упорствовал, якобы это не ложь, а так надо для высшего смысла, который не виден обычным умом.

Казалось, монарх отгадал настроение Карлика:

- Где же, не видно, твоя правота завила? Попробуй сейчас наказать меня этой хреновиной.

- А зачем? - спросил Карлик. - Господь вас уже наказал, сделав таким.

- То был не Господь, а старик Балалайкин. Из-за него я стал нервным, как вепрь. Бога нет.

- Для вас Бога нет. Я лишил вас Бога.

## 15

Вечером перед монархом удобно расположился в горящем камине старик Балалайкин Борька. Со дня последнего их свидания, то есть после того, как уж помер, старик Балалайкин опух без цирюльни, стал старше годами, ленивее, хуже. Смотрел он в монарха ехидно, как будто сердитый патрон по работе.

- Шкодливая тварь, Ваша светлость, - Борька выпустил наглую струйку хрустящего дыма из носа.

- Что значит шкодливая тварь Ваша светлость? Ты лучше бы выпустил душу, горелый мужик, а не дым из ноздрей.

Монарх ужаснулся, припомнив, какую обиду нанес ему Борька - ему вместо кошки - холодным ремнем по спине.

- Вы шкодливая тварь, ваша светлость, - лениво зевнул Балалайкин. - Вы, кошка вся непричем.

- Зеваешь, гляжу, а сюда, чай, проник без доклада.

- Проведать пришел, как меня уважаете.

- За что? Кто таков?

- Аль забыли, за что? Я - порол!

- Пророк? Кто пророк? Ты пророк? Не слышал про такого пророка.

- Не пророк, говорю...

- Не про рог? А про что? Про творог?

- Я порол, говорю! Я порол вас - должны уважать.

- Случайный удар по спине не считается поркой - запомни и дуй отседа.

- Нет, не скажите, считается тоже.

- Мне было не больно.

- Но стыдно. Вам и сейчас шибко стыдно, зачем ублажали меня, вильнув задом, и зачем были пешкой потехи в руках.

- Эко ты! Я спасался, дурак.

- Вот-вот. Без достоинства, помню, спасались, а кошка пропала. Но вы, Ваша светлость, сами сейчас помурлыкайте кошкой. И помяукайте. Как кошка мяукает, когда соскучится, знаете? Вот, интересно послушать.

- Я - помякуть, когда соскучится?
- И помурлыкайте. Не впервой же...
- Когда я мяукал-мурлыкал?
- Еще не мурлыкали, а только пока что виляли, но раз уж виляли, чтобы спастись, можете и помурлыкать. Покапризничаете, покапризничаете и начнете. Небось, и на четвереньки встанете. Думаю, уже готовы. Чего зря ломаться-то, правда?
- Что делаешь в печке? Прочь думать в другом очаге!..
- Заело? Того мне и надо.
- В противозвонарную глушь загоню!..

Монарх замахнулся на Борьку тростью, но Борька, не мешкая, переместился по трости вперед на лодыжку монарха, кольнул его невидимым шилом в мясо. Монарх отскочил от камина, схватил старика за власяницу. Борька исчез и пронзил правый бок, объявившись опять. Борька неистово менял позиции, нанося чувствительные удары с укусами по незащищенным местам монарха. Илларион шмякнулся на пол, покатился к стене. Оттуда по тем же коврам тем же самым путем прикатился назад к камину. Когда дежурный нахал в пожарной новенькой каске влетел в кабинет по тревоге тушить самодержца пеной огнетушителя, Илларион имени Иллариона корчился на четвереньках перед камином, в топку которого дико мяукал жалобы, как будто ему наступили глумливо на хвост, - золотые змейки и шустрые язычки огня резвились, бегая по монарху, ловили друг друга, прятались и появлялись опять, лишая парадный мундир былой чопорности и дорогого сукна.

## 16

Ты кто, мой читатель?

Постой, запишу твои мысли. Господь сотворил тебя единственным среди миллиона единственных и наделил специально такими чертами, какие присущи тебе одному, ты - Божье дело. Никакому на свете монарху не приспособить тебя для его личных нужд бить баклуши, потому что ты - Божья воля. Властвуют и пресмыкаются нищие духом, но нищие духом не совратят тебя словами о выгоде быть и лгать вместе с ними. Ты - Божья цель.

Теперь глянь сюда - Карлик шествует на эшафот.

Если распорядиться по справедливости, надобно дать сполна сейчас ему все, что ему не хватало ранее в жизни. Но Карлик, увы, по-прежнему низкоросл, и тут уже ничего не поделаешь. Он идет к своему эшафоту расточительной ежедневной походкой вразвалочку, словно бы то слишком краткое время, которое надо пока что на сотню последних шагов потратить, - это целая вечность еще впереди.

А помнишь, читатель, как механик Процент обещал обеспечить нас чудом посредством своего таланта? Дескать, наука потом объяснит это чудо когда-нибудь позже. Задним числом объяснит она по общедоступной системе понятий в границах дозволенного. Талант, мол, не знает границ и системы. Талант знает тайну в природе. Талант знает тайну, которую может раскрыть только этот

талант. Помнишь, механик сулил переставить всех нас незаметно своими местами при помощи странной кустарной машинки, которую он изобрел. Поверив Проценту, возьмем неожиданный вывод, что это шагает не Карлик, а кто-то другой. Кто же это? Не будем теряться в догадках, читатель. Простимся. На смертную казнь идешь ты в результате замены. Подумать, какая потеря!..

## 17

Все?

## 18

...Не знаю.

Может, кому-то еще это надо.

Может, кто жив, и захочет.

## 19

...Радуется купец, прикуп сотворив, и кормчий, в отишье при- став, и путник, в отечество свое пришед, тако же радуется и писатель книжек, дошед до конца книги, - так рассуждал мних Лаврентий в одиннадцатом веке.

Дошед до конца своих книжек, многие нынешние писатели тако же радуются получке за эту работу.

И токмо мне за мой труд паки и паки не бысть ничего, я под- опытный автор. Сотворив эту книжку, не сотворил прикупа. И вот развожу поднебесно руками - неужто живот свой сконча от не- яденья мяс свиных?

Сам ты виноват, глаголете вы.

Нынче домашняя библиотека у каждого водится, слышал? Это, как говорят дальновидные люди, вторая сберкнижка. Благо, что век у нас - не золотой, не железный, бумажный - способствует это- му макулатурой. Так вот нам охота в обмен на талоны прочесть о себе интересную тему в домашней библиотеке.

Рекл бы про то, яко лепо живем - сиречь о любви, о хлебах.

Вы правы, я виноват, но, пожалуйста, не применяйте ко мне своей власти помочь образумиться силой. Оставьте без вашего хле- ба меня умирать на свой лад. Не тормозите домашними библиоте- ками. Кстати, про ваши домашние библиотеки, посредством кото- рых вы, как я тут понял, мечтаете заполучить затем свою персо- нальную долю в культуре народа налично деньгами, и про вашу лю- бовь, превратившую родину в хлев, я еще расскажу на большом правеже опосля.

Сказ мой буде чудно и не льстяче представлен.

Вельми борзко десница писати почнет.

Но дошед до конца этой книжки, цена коей грошо, тако же ра- дуюсь иному чрезвычайному факту - помнится от сего лба, как в прошлом столетии один очень добрый французский художник сказал мне в наше столетие о своих картинах, что каждая новая картина стоимостью пусть даже в десять франков делает на десять фран- ков богаче всю нацию...

И пусть мои дети, у которых я здесь ничего не украл и не отнял, тако же радуются, в отечество свое пришед.

## 20

Задумываясь, почему получается так некудышно, что горестный опыт прошлого не помогает человечеству быть осторожным в своей истории, Карлик винил во всем нашу память, ее клинически странные свойства хранить в себе определенные неприятные сюжеты пережитого и возвращать их нам для повторения по-новому. Главной причины того, почему наша память опять и опять подвергает нас ужасам старых ошибок по-новому, ужасам новых распятий, костров или пыток средние вековья, Карлик не знал. Добро, если это так надо. Ну, скажем, когда-нибудь мы исчерпаем запас озлобления, и на земле образуется рай для живых по любви - чем скорее, тем лучше. Но вдруг наша память больна, перегружена, тесно в ней, мучат ее постоянные приступы вырывающихся наружу кошмаров, которые с каждым разом усугубляют в ней эту болезнь, - что тогда?

## 21

Забывается всякая мера.

Смерть наша, читатель, - ничто.

Ничто по сравнению... ничто как ничто, ни на что не похоже.

Мы с тобой идем в одной связке под конвоем Иллариона к плакату, который мы тщетно пытались прочесть еще издали на большом от него расстоянии - "ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖАС!", хотя на голодный желудок нам долго казалось, что будто бы этот плакат приглашает отведать скромную барскую пищу.

Мерещилось в нем на конце слово "ужин".

Оплакивать нас на деревьях, заборах, балконах и крышах домов накопилась несметная прорва простого народу, но все почему-то смеются.

- Ишь, хохотальники сверху разверзли! - бедняжка монарх косится по сторонам, он хромает и очень взволнован. - Сроду живого царя не видали...

Монарх в самом деле потешен для смеха в свистульку:

а) голова забинтована в грязное;

б) руки безвольно вихляются, как перебитые;

в) голые ноги скользят и скребут о шершавый асфальт;

г) не умеет ходить и споткнулся на ровном.

Вдобавок еще нечто мягкое вдруг ускользнуло совсем от него по коленкам, когда он споткнулся на ровном.

- Болячка какая-то шлепнулась, как лягушонок, на землю, - монарх осерчал добела, глядя под ноги. - Не растопчите сие... Что за вздор? Отломалась моя детородная штука...

Людьми обуял здравый смех с удовольствием. Иные зеваки смеются на трубах промышленных зданий, где их не возьмешь ни хлыстом, ни гостинцем. Иные висят и смеются из окон больничных палат в состоянии неподчиненности силе, а кто-то - пока есть та-

кая возможность - забрался смеяться на плечи другим, которые этого не замечают от смеха. Мы тоже - со всеми вовсю.

## 22

Карлик опомнился.

Сжал свою голову крепко ладонями и раздавил.



**¡¡ Extraordinaria Corrida!!  
¡¡ Magnificos toros!!  
SOBERBIO CHADRILLA и  
редактор-провокатор ТОЛСТЫЙ «el parisino», магадор  
ВЫПУСТИЛИ В СВЕТ В ФЕВРАЛЕ 1984 ГОДА  
семейный альбом литературы и искусства  
« М у л е т а »**

**Стоимость 1 выпуска — 72 франка.  
Подписка на 4 выпуска — 240 франков.**

**Адрес издательства «ВИВРИЗМ»: 23, Rue Vua, 75020 Paris.  
Tél.: 363-47-31.**

**Con son correspondientes chadrillas  
AMENIZARA EL ESPECTACHLO UNA BRILLANTE BANDA DE MUSICA.**



# В ЗАЩИТУ МИХАИЛА МЕЙЛАХА

29 июня 1983 года арестован 38-летний ленинградский лингвист, переводчик и литературовед Михаил Борисович Мейлах, кандидат филологических наук, любимый ученик академика Жирмунского. Аресту предшествовал 10-часовой обыск в его квартире, в результате которого были изъяты изданные за границей сочинения Ахматовой, Мандельштама, романы Набокова и несколько богословских книг.

Впервые Михаил Мейлах подвергся столь же продолжительному обыску в 1972 году, после чего он был уволен с работы из Института языкознания АН СССР и в последующие годы не мог найти постоянной работы.

Однако он продолжал интенсивные научные исследования по двум своим основным специальностям: средневековая французская поэзия и русская поэзия XX века. Его первая научная книга "Язык трубадуров" вышла в Москве в издательстве "Наука" в 1975 году и получила блестящую оценку во французской печати. В своей филологической работе Михаил Мейлах получал поддержку таких всемирно известных ученых, как Роман Якобсон, Киррилл Тарановский и др.

Будучи по складу своего характера человеком, далеким от политической борьбы, Михаил Мейлах считал себя абсолютно свободным в выборе своих научных тем и интересов, в интеллектуальном общении с коллегами в Советском Союзе и за рубежом. Его книги и научные статьи публиковались в последние годы не только в Советском Союзе, но и во Франции, ФРГ, Израиле и США. Среди них особое место занимают научно подготовленные собрания сочинений поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса, вышедшие в Америке и Европе.

В Ленинграде давно ведется настоящая война против гуманитарной научной интеллигенции - достаточно вспомнить недавние процессы Арсения Рогинского и Константина Азадовского.

Русскую культуру стремятся изжить на всех уровнях.

Василий Аксенов, Юз Алешковский  
Анри Волохонский, Сергей Довлатов  
Игорь Ефимов, Юрий Кублановский  
Илья Левин, Лев Лосев  
Владимир Максимов, Владимир Марамзин  
Алексей Хвостенко

1 июля 1983 г.

Андрей Платонов  
**ЗАБЛУЖДЕНИЕ  
НА РОДИНЕ КОМПОТА**

Рассказ

Стервец, который трудился на каждом предприятии не более одного квартала, потому что бюрократы отовсюду его удаляли за критичность нрава, вышел в эту минуту с фабрики знамен, значков и плакатов, недовольный ходом производства.

Но в сущности это был человек общественный и пристойный, - в нем лишь было великое бурчание на ущерб производства, то есть среди его сердца жила истинная забота о социализме. Поэтому он глубоко сердился на всех людей, встречавшихся ему на улице, в том числе и на знакомых.

- Здравствуй, товарищ Журкин! - приветствовали его различные дружественные люди, идущие навстречу.

- Здравствуй, животное! - отвечал Журкин одному.

- Почтенье рвачу! - сообщал другому.

- Здорово, эгоист! - давал ответ третьему; четвертому и пятому Журкин вовсе не отвечал, а дальнейшим опять давал подобные приветствия:

- Здравствуй, гад! Как тебя не прогонят с пуговичной фабрики - я прямо удивляюсь вашему трехугольнику!

- А-а, и летун здесь ходит: то-то я гляжу - чего это социализм плачет в Эсесере! А это ты его мучаешь, животная скотина! Вали к черту - мимо меня!

- Здравствуй, негодяй! Сейчас слепые ведь и то работают - как тебе безногому не стыдно быть! Сволочь ты пенсионная - сидел бы неподвижно и трудился: хоть чулки бы штопал ударникам, и то пятилетка бы обрадовалась!

- Почет деревне - опоре в лапоть! Все задницей вертишь, невозная гадина, - по кулаку овдовела, за большевика выходишь!.. Ладно - я тебе снохачом буду!



Деревенская опора безответственно проходила мимо. Журкин же, пока доходил до квартиры, начинал икать от раздражения.

Дома он спешно съедал очередную вечернюю пищу, потому что любил весь день не есть, дабы строить социализм с неполным желудком, - и затем мучился до самого сна каким-нибудь наиболее болезненным республиканским вопросом.

- Стерва я необоснованная! - говорил иногда Журкин самому себе и, вздыхая, думал что-то светлое, окупающее всех врачей, животных, эгоистов, летунов и тайных подкулачников.

Во сне Журкин тоже не видел себе покоя: ему снились колхозные просорушки, сукновальни и какие-то пустые амбары - голосовальни, где неизвестно что делалось. Далее ему представлялась суэта ударников на обледенелой земле Эсесера, так что шел пар вверх от социалистического человечества, и тысячи автомобилей везли тес и кирпичи на постройку мёдонапорной башни. Самые дешевые, самые прочные и мощные советские автомобили уже имели старый вид, и девочки, дети большевистских шоферов, рожденные после постройки Нижегородского автогиганта, выросли до того, что на них назрело время жениться, - значит, уже была поздняя будущая пора, значит шло уже исполнение генерального плана, судя по электрическому лозунгу на небе.

Журкин погладил свое тело во сне и почувствовал себя потолстевшим - это оттого, что настала всеобщая героичность на свете и, сверх того, - Журкин был женат не на мещанке, а на благородном существе, рожденном в пятилетку.

Желтое утомившееся солнце вставало над сооружениями земли. Журкин тоже встал и пошел к умывальнику, дабы попить из-под крана молочка, но из крана потекла лишь мутная вода, поскольку водопроводом руководил, вероятно, притаившийся оппортунист, - тогда Журкин догадался, что он живет в третьем, решающем году пятилетки, и озабоченно обрадовался.

\* \* \*

Днем Журкина вызвал к себе профессиональный союз, называвшийся союзом рабочих бродильной промышленности, вследствие размельчения профдвижения.

- Ты что же?! - сказал Журкину человек союза, не привыкнув еще говорить конкретно. - Ты что же - на упущенья воду льешь из мельницы!

- Она же мутная, профессиональный товарищ, - ее сосут из левацкого болота, она же правая вода.

- Хорошо, - сказал профессиональный. - Тогда ты перестройся - езжай в город Клещевинск, там коопература ослабла, так ты улучшь ее совместно с бригадой.

- Я озабочусь, - ответил Журкин и вышел вон.

На улице он сразу вообразил себе кооперацию пищевым Донбасом, а потребительские пролетарские туловища - котлами, в которых горит хлеб, овощи и мясо, а постное масло идет на смазку организмов. Это было великое зрелище в душе Журкина, так что он сразу понял свое значение как шахтера овощей и заранее отверг всякую попытку недооценки своей работы.

\* \* \*

Город Клещевинск существовал в области заморозков и вымочек, где много ручьев, где растут леса и мочежинные кочки. Местный краевед, натуралист и статистик Ушлов ежегодно, в течение тридцати лет подряд, доказывал, что в клещевинских лесах вырастает в среднее лето на сто миллионов рублей грибов, но оппортунисты двадцать пять лет оставляли безо всякого развития грибную промышленность.

Но главная слава Клещевинска состояла не в грибах, а в одном искусственном изобретении, известном каждому жителю нашей страны. В Клещевинске сорок два года тому назад жил некий мещанин Щоев, родом с Иван-озера. Тот Щоев изобрел аппарат для исчезновения с земли на луну, но царь-оппортунист отверг машину Щоева; тогда Щоев мучился двенадцать лет без славы, а впоследствии изобрел от остервенения компот, который широко прославился и до сих пор довольно известен. Под старость Щоев ушел на родину, на Иван-озеро, и оттуда, как передает краеведческое общество, он, Щоев, помчался в аппарате на луну - тому был очевидцем один овечий пастух; но это сведение было бы научным лишь в том случае, если б пастухов было двое, один же человек всегда полон лжи и фантазии.

Благодаря компоту Клещевинск вечно стал считаться продовольственным ресурсом, хотя для составления компота в окрестностях Клещевинска не росло, по словам сборника трудов краеведов, "достаточного оркестра, или ансамбля, фруктов".

В ущемление славы Щоева тот же статистик Ушлов дознался, что компот изобретен первично во Франции, но там, при наличии южфруктов, его открыть было немудрено, - гораздо мучительней его было изобрести в Клещевинске, где природа была хвойная и нефруктовая, - и при том в те времена, когда знали только щи и кашу, а фрукты, кроме крыжовника и "бесева", совсем были неизвестны.

\* \* \*

Прибыв на родину компота, Журкин сел на крыльцо правления кооперации и стал оглядывать местное бредущее население. Каждому проходящему он шептал свою оценку, с точки зрения интересов мощного строительства, и в итоге получил неутешительную сволочь.

Председателю кооперации и всей своей ликвидационно-прорывочной артели Журкин посоветовал призвать потребляющий актив и выяснить с ним, что надо устроить, дабы кооперация действительно превратилась в форму Донбасса, если посчитать потребителей паровозами. Председатель, у которого от нервного расстройства почти постоянно бурчало в животе, охотно согласился с такой мыслью и признал ее актуальной; необходимо было только придумать способ, чтобы пайщики собрались всею гущей.

- Что ты им сейчас отпускаешь? - спросил Журкин у председателя.

- Клей, - сказал председатель.

- Напиши объявление, что клеевые фонды подходят к концу: пускай бегут запасаться.

- Ты справедлив, - заключил председатель и приступил к налитию чернил из поступившей бочки в пузырек.

По принципу, выдвинутому Журкиным, собрание состоялось полностью.

Мучимый заботой и критичностью, Журкин выступил с яростной речью о заготовках продовольствия.

- Слушайте меня, которые здесь пришли наличные местные животные! Научные силы сосчитали, что вы живете на том пастбище, где растет пищевой зелени на два миллиарда с лишним... Но сознание у вас не крупно-диалектическое, а мелко-скотское, и я предлагаю вам привыкать думать о постной пище, а не ждать эшелонов с говядиной, не рвать по-кулацки куска изо рта ударника...

Кооперативное население, выслушав Журкина, постановило было прекратить еду, но Журкин отменил эту резолюцию как перегиб и мгновенно выдумал мысль о наилучшем снабжении всех потребителей. Журкину показалось даже, что он открыл такой ресурс кормления, что Клещевинск может взять в нахлебники еще полпролетариата.

Пайщики сейчас же согласились с Журкиным и всему были как-то охотно рады.

\* \* \*

Что ж произошло в Клещевинской кооперации, умножившей свои силы на усердное сердце и на заботливый ум Журкина?

План Журкина был прост и всецело рассчитан на энтузиазм жителей.

Мясная проблема разрешалась посредством организации рачьих пучин в водяных окрестностях Клещевинска.

Овощ заменялся грибами, а постное масло - ореховым соком. Для сбора, а также для транспорта грибов и орехов назначалось проложить во все стороны от города тракты, а от них протянуть тропинки - и пустить по тем путям бригады старичков и старушек с кошелками.

Из городских сооружений Журкин определил одному устройству служить улучшению снабжения - это был бак на пожарной каланче. Бак предполагалось заполнять не водой, а молоком, с тем чтобы молоко шло затем по трубам в водоразборные колонки и в некоторые важные дома - для питания. В случае же пожара огонь можно смело тушить тем же молоком, а пенки, что неминуемо образуются на пепелищах, следовало затем собрать и опять-таки употребить их с выгодой для пищевых нужд. Журкин подтверждал правильность наполнения бака молоком тем расчетом, что все-таки дешевле тушить пожары молоком, чем строить специальную молочную башню. Пожарные пайщики, опустив вначале для размышления усы, вскоре согласились с мнением Журкина.

Совершив все означенные дела, Журкин натошак уехал в свой город; он хотел поскорее доложить, что прорыв на фронте снабжения в Клещевинске он ликвидировал без остатка и готов снова о чем-нибудь позаботиться - хотя бы по налаживанию организации массовых квасоварен, о чем пришла ему отличная мысль.

\* \* \*

Однако профсоюз, узнав про клещевинские дела, поставил Журкину что-то на вид. Журкин запотел от неожиданного горя и качнулся телом, чтобы стронуть остановившееся сердце; спустя же час он написал в профсоюз громадное заявление, в котором целиком и полностью признавал свои ошибки, считал их явным признаком оппортунизма, загиба и примиренчества, а в конце приписал печатными буквами:

"Несмотря на осознание себя правым, левым и присмиренцем, я все еще без ослабления, единодушно горюю и это заявление свое считаю явно недостаточным, то есть обычной негодной попыткой маскировки классового врага. К сему лично Журкин. Член бродильщиков № 00037418161Ф".

Доставив заявление в профсоюз, Журкин сильно успокоился и купил несколько книг, чтобы приобрести из них вечную установку.

В одной книге он впервые прочитал про кенаф и клещевину и ночью видел во сне делопроизводителя Кенафа, женившегося на девушке-слесаре Клещевине, а в шаферах ходили еще два растения - продмаг Кендырь и он, Журкин. Хандрилла же, шофер полугрузовика, сидела в стороне, как гостя, и плакала, что ее вычистили за расточительство резины. А Кенаф, Клещевина и Кендырь смеялись, что они проскочили чистку, и хвастались городами, названными их мощными именами.

\* \* \*

Наутро Журкин был вновь в профсоюзе и выслушал вещи слова председателя:

- Товарищ Журкин, ты действовал в Клещевинске настолько глупо, что я подумал о тебе как о растении, как о лопухе! Скажи, пожалуйста, какая голова, кроме твоей, могла придумать для уничтожения недостачи мяса рачью пучину?! Или - постное масло из ореха!.. Вот что, товарищ Журкин, самокритик ты, говорят, приличный, будь же теперь самотворцом - иди в бригадные массы, не жалея своего тела для промфинплана, а ум в тебя войдет из нашего класса и строительства...

И с тех пор Журкин тщательно трудится и постепенно наполняется добром разума, и при встречах со знакомыми рабочими первым приветствует их и грустно наклоняет голову, как неизжитый оппортунист, как лопух и животное.

\* \* \*

Через полгода Журкин прочитал в газете:

"В районе Клещевинска были сделаны широкие попытки раководства, но попытки не имели удачи. Выяснилось, что на раках уже 400 лет свирепствует научно непостижимая рачья чума".

Прочитав то, Журкин бросился на завод - в ночную смену - и потушил все ненужные электрические лампы, чтобы сэкономить уголь на электростанции, и лишь тогда несколько успокоил свое настроение: сотворивший ошибку усердней совершает доблесть.

Рассказ печатается впервые.

**БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ**  
**Андрей Платонович Платонов**  
**(1899-1951)**

Составители А. Киселев, Т. Лангерак и В. Марамзин

(начало в № 4, 1979)

**1966**

1. газ. "Молодой коммунар" (Воронеж) № 12,28 января 1966 г., стр. 4. Очередной... [Рассказ. Публикация и предисловие Г. Антохина. См. ж. "Железный путь" № 2,5 октября 1918 г.]
2. еженед. "Литературная Россия" № 13,25 марта 1966 г., стр. 18-19. Офицер и крестьянин. Рассказ. [С редакц. предисловием. Публикуется впервые, публикация М. Платоновой. Впервые в кн.: "Смерти нет!" М. 1970, под названием "Офицер и крестьянин. (Среди народа)".]
3. ж. "Наш современник" № 3, 1966, стр. 2-12. Избушка бабушки. Рассказ. [Со сноской: "Рассказ из архива писателя, печатается впервые".]
4. ж. "Семья и школа" № 4, 1966, стр. 25-27. Уля. Рассказ. [С редакц. предисловием. Не был опубликован при жизни автора. Впервые в кн.: "Избранное", М. 1966.]
5. еженед. "Неделя" (воскресное приложение к газ. "Известия") № 20, 8-14 мая 1966 г., стр. 6-7. Путешествие воробья. Рассказ. [С редакц. предисловием. Впервые в книге "Четыре рассказа", М. 1967. В кн.: "Избранные произведения". В 2-х томах. М. 1978, т. 2, под названием "Любовь к родине, или Путешествие воробья (Сказочное происшествие)".]
6. ж. "Волга" (Саратов) № 5, 1966, стр. 20-51. Происхождение мастера. Повесть. [С редакц. предисловием. См. примеч. к публикации в ж. "Красная новь" №№ 4 и 6, 1928.]
7. ж. "Простор" (Алма-Ата) № 5, 1966, стр. 63-67. Седьмой человек. Рассказ. [С портретом и статьей Эмилия Миндлина "Андрей Платонов", стр. 56-62. Впервые в кн.: "Смерти нет!", М. 1970.]

8. ж. "Подъем" (Воронеж) № 6, 1966, стр. 91-93. Серега и я. Рассказ. [С предисловием Георгия Антюхина. См. публикацию в ж. "Красный луч" № 1, 1921.]
9. ж. "Нева" № 7, 1966, стр. 72-79. Пук-пук. [Рассказ. С редакц. предисловием. Подготовлен к печати вдовой писателя М. А. Платоновой.]
10. еженед. "Литературная Россия" № 32, 5 августа 1966 г., стр. 6. Первое свидание с А. М. Горьким. [Статья, с редакционным предисловием. Публикуется впервые. Публикация М. А. Платоновой.]
11. ж. "РТ" № 17, 5-11 сентября 1966 г., стр. 14-15. Юшка. [Рассказ. С редакц. предисловием. Подготовила к печати вдова писателя М. А. Платонова. Впервые в кн.: "Потомки солнца", М. 1974, под назв. "Юшка"(В старой деревне)].
12. газ. "Коммуна" (Воронеж) № 211, 10 сентября 1966 г., стр. 4. Умная внучка. [Сказка. С редакц. предисловием: из книги, которая готовится к печати Центрально-Черноземным кн. изд. См. книгу: "Волшебное кольцо". М. 1950.]
13. газ. "Комсомолец" (Ростов-на-Дону) № 209, 23 октября 1966 г., стр. 4. А. П. Платонов об С. Т. Аксакове. [Публикация рец. из ж. "Детская литература" № 3, 1941 (см.), к 175-летию со дня рождения Аксакова. С предисловием Л. Усенко.]
14. ж. "Наш современник" № 11, 1966, стр. 47-62. Жизнь в семье. Рассказ. [Со сноской: "Из архива писателя. Публикация М. А. Платоновой". См. прим. к публикации в ж. "Колхозные ребята" № 12, 1936.]
15. ж. "Кругозор" № 11, 1966 [страницы не нумерованы]. Два нов и Мрачинский. Отрывок из неопубликованного романа. [Отрывок из романа "Чевенгур". С предисловием Федота Сучкова. Отрывок печатался в ж. "Новый мир" № 6, 1928, под назв. "Приключение. Рассказ". Впервые в кн.: "Избранные произведения. В 2-х томах". М, 1978, Т. 1.]
16. газ. "Известия" № 282, 1 декабря 1966 г. (и Московский вечерний выпуск 30 ноября), стр. 4. Присяга. [Рассказ. В конце: "Действующая армия. "Красная звезда", 25 июня 1943 г."]
17. еженед. "Литературная Россия" № 51, 16 декабря 1966 г., стр. 10-11. Иван Великий. Рассказ. [С редакц. предисловием. Ранее не печатался. Публикация М. А. Платоновой. Впервые в кн.: "Смерти нет!", М. 1970.]
18. В книге: Библиотека приключений в пяти томах. Приложение к журналу "Сельская молодежь". Том 2. Изд. "Молодая гвардия", М. 1966, тир. 165 000 экз. Стр. 123-148. Такыр. [Рассказ. См. прим. к публикации в ж. "Красная новь" № 9, 1934. В разделе "Коротко об авторах" на стр. 347 сведения о Платонове. Ошибочно даны годы жизни 1896-1947.]
19. В книге: День поэзии, 1966, изд. "Советский писатель", М. 1966, тир. 100 000 экз. Стр. 271-274. Анна Ахматова. ("Из шести книг". Стихотворения. "Советский писатель", 1940 г.) [Рец. Впервые в кн.: "Размышления читателя", М. 1970, под назв. "Анна Ахматова".]

# 1967

1. еженед. "Литературная Россия" № 7, 10 февраля 1967 г., стр. 8-9. Пушкин - наш товарищ. [Статья. С портретом и предисловием Н. Л. Степанова, доктора филологических наук, "А. Платонов (1899-1955)". Публикуется с некоторыми сокращениями. Публикация М. А. Платоновой. См. ж. "Литературный критик" № 1, 1937.]
2. "Литературная газета" № 9, 1 марта 1967 г., стр. 16. Цыганский мерин. Мавра Кузьминишна. [Рассказы в разделе "Юмор, сатира", с портретом и сноской: "Из сборника "Етифанские шлюзы". Изд-во "Молодая Гвардия", М. 1927, тираж 4 000 экз. После этого никогда не перепечатывалось".]
3. ж. "Искусство кино" № 3, 1967, стр. 121-158. Отец-мать. Солдат-труженик, или После войны. [Два киносценария. Предисловие Бориса Слуцкого "Писатель, не ставший кинематографистом", стр. 118-120.]
4. ж. "Звезда Востока" (Ташкент) № 3, 1967, стр. 80-85. Голос отца. Пьеса в одном действии. [С портретом и редакц. предисловием. Номер журнала тематический: "Писатели России - Ташкенту".]
5. ж. "Дон" (Ростов-на-Дону) № 5, 1967, стр. 170-191. Страх солдата. [Рассказ.] Чудесный мальчик. Иван-Чудо. [Сказки. С предисловием Л. Усенко "Самоцветное слово", стр. 169-170. Тексты впервые публикуемых произведений А. П. Платонова подготовлены к печати М. А. Платоновой. Сказки впервые в кн.: "Волшебное кольцо", М. 1970.]
6. ж. "Простор" (Алма-Ата) № 5, 1967, стр. 48-55. Пустодушие (рассказ капитана В. К. Теслина). Маркун. [Рассказы. Публикация подготовлена Марией Александровной и Марией Андреевной Платоновыми. "Пустодушие": впервые в кн.: "Смерти нет!", М. 1970, без подзаголовка. "Маркун": см. прим. к публ. в ж. "Кузница" № 7, 1921.]
7. "Литературная газета" № 48, 29 ноября 1967 г., стр. 7. Из записных книжек. [Заметки. С предисловием Н. Тольшинова. Публикация М. А. Платоновой.]
8. еженед. "Литературная Россия" № 49, 1 декабря 1967 г., стр. 10-11. Серая сова. [Статья. С предисловием Ал. Дымина "Одна из граней большого таланта". Публикация М. А. Платоновой. Впервые в кн.: "Размышления читателя", М. 1970, под назв. "Новый Руссо".]
9. В книге: Русские народные сказки. Сост. А. Нечаев и Н. Рыбакова. Издание 3-е, дополн. Изд. "Детская литература", М. 1967, тир. 200 000 экз. Стр. 259-269. Морока. [Из кн.: "Волшебное кольцо", М. 1950. В содержании: "Пересказ А. Платонова".]

## 1968

1. еженед. "Литературная Россия" № 7, 9 февраля 1968 г., стр. 10-11. Пушкин и Горький. [Статья, печатается к 100-летию со дня рождения А. М. Горького, с сокращениями. Публикация М. А. Платоновой. См. ж. "Литературный критик" № 6, 1937.]
2. ж. "Костер" № 6, 1968, стр. 7-8. Две крошки. Сказка. [С послесловием Н. Тютюнинова. Ошибочно указано, что это сказка, "еще неизвестная читателю". См. газ. "Пионерская правда" № 2, 6 января 1948 г.]
3. ж. "Кубань" (Краснодар) № 7, 1968. [Под рубрикой "Наши публикации", с портретом и вступит. статьей Леонида Усенко "Начало большого пути", стр. 106-107.] Стр. 108-109. Автобиографическое письмо. [Из предисловия к книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Ошибочно указано, что публикуется полный текст письма. Это те же отрывки, что в предисловии.] Стр. 110. "Тою ночью, тою ночью чутко спали пашни, села..." [Стих. См. примеч. к публик. в книге: "Стихи", Воронеж, 1921.] "Над голубыми озерами..." [Стих. См. примеч. к публик. в газ. "Красная деревня" № 47, 5 мая 1920 г.] "Среди нив, певучих в спелости..." [Стих. См. примеч. к публ. в газ. "Воронежская коммуна", 26 марта 1922 г.]
4. В книге: Фантастика, 1967. Выпуск 1-й. (Фантастика, Приключения, Путешествия). Изд. "Молодая гвардия", М. 1968, тир. 100 000 экз. Стр. 247-302. Эфирный тракт. Научно-фантастическая повесть. [С редакц. предисловием, стр. 245 - 246. Впервые в кн.: "Потомки солнца", М. 1974, там название в кавычках.]
5. В книге: Десять сказок. Сказки советских писателей. Изд. "Детская литература", М. 1968, тир. 100 000 экз., стр. 114-123. Разноцветная бабочка. [Напечатано по тексту публикации в "Костре" № 3, 1965, испорченному редактурой.]

## 1969

1. "Литературная газета" № 9, 26 февраля 1969 г., стр. 7. Семен. Рассказ из старинного времени. [С редакц. предисловием. Печатается с небольшими сокращениями (однако конец в прежних публикациях отсутствует). Публикация М. А. Платоновой. См. ж. "Красная новь" № 11, 1936.]
2. ж. "Наш современник" № 2, 1969, стр. 44-54. Без вести пропавший, или Избушка возле фронта. Пьеса в одном действии. [С портретом и предисловием М. А. Платоновой. Публикация М. А. Платоновой.]
3. ж. "Семья и школа" № 2, 1969, стр. 58-59. Неизвестный цветок. Сказка-быль. [Публикация М. Платоновой. Впервые в кн.: "Течение времени". М. 1971.]



4. ж. "Грани" (Франкфурт-на-Майне) № 70, февраль 1969 г., стр. 3-107. Котлован. Повесть. [С редакц. сноской. Публикуется впервые. Впервые в кн.: "The Foundation Pit. Котлован", Анн Арбор, 1973.]
5. еженед. "Литературная Россия" № 11, 14 марта 1969 г., стр. 20-22. Навстречу людям. По поводу романов Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!" и "Иметь и не иметь". [Статья. С предисловием Александра Дымшица "Сердце - сердцу!" С редакц. сноской. Печатается с небольшими сокращениями. См. ж. "Литературный критик" № 11, 1938.]
6. там же, № 35, 29 августа 1969 г., стр. 15-17. О "ликвидации" человечества. По поводу романа К. Чапека "Война с саламандрами". [Статья. Печатается к 70-летию Платонова, с небольшими сокращениями, с портретом и редакц. предисловием. Публикация М. А. Платоновой. См. ж. "Литературный критик" № 7, 1938.]
7. "Литературная газета" № 36, 3 сентября 1969 г., стр. 7. "Прекрасная сущность человека". [Статья о В. Г. Короленко, печатается к 70-летию Платонова, с портретом и редакц. предисловием. Публикация М. А. Платоновой, с незначительными сокращениями. См. прим. к публ. в ж. "Детская литература" № 11-12, 1940.]
8. ж. "Дон" (Ростов-на Дону) № 9, 1969, стр. 180-186. Павел Корчагин. [Статья, с предисловием В. Николаева "Верный сын рабочего класса". Андрей Платонов о романе Николая Островского "Как закалялась сталь", стр. 179. См. ж. "Литературный критик" № 10-11, 1937.]
9. ж. "Студент" (Лондон) № 13-14, 1969, стр. 5-113. Котлован. Повесть. [С портретом. В конце датировка: Декабрь 1929 - Апрель 1930 г. См. ж. "Грани" № 70, 1969 г.]
10. В книге: Вставай, страна огромная... Рассказы о Великой Отечественной войне. В двух томах. Составление и предисловие В. Пискунова. Т. 1. Изд. "Художественная литература", М. 1969, тир. 50 000 экз. Стр. 339-348. В сторону заката солнца. [С цитатой из дневника А. Платонова 1943 г. в предисловии В. Пискунова "Подвиг литературы", стр. 12, и на клапане суперобложки. См. прим. к публ. в газ. "Красная звезда" № 57, 10 марта 1943 г.]
11. В книге: Русские сказки в обработке писателей. Вступительная статья, составление и подготовка текстов В. Аникина. Изд. "Художественная литература", М. 1969, тир. 200 000 экз. Стр. 83-95. Волшебное кольцо. Стр. 105-116. Безручка. Стр. 118-129. Иван Бесталаный и Елена Премудрая. Стр. 164-177. Умная внучка. Солдат и царица. [Пять сказок из книги "Волшебное кольцо", М. 1950. Во вступительной статье - о работе Платонова над сказками, стр. 14-15.]
12. В книге: Лукоморье. Сказки русских писателей. Составил И. Халтурин. (Школьная библиотека). Изд. "Детская литература", М. 1969, тир. 200 000 экз. Стр. 331-339. Солдат

и царица. [Из кн.: "Волшебное кольцо", М. 1950. В со-  
держании: "Пересказ А. Платонова".]

## 1970

1. "Литературная газета" № 31, 29 июля 1970 г., стр. 6. Поэзия бессмертного народа. [Статья, написанная к 100-летию со дня смерти Лермонтова. Под рубрикой "Архив ЛГ". Публикация М. А. Платоновой. С предисловием Н. Тютюнинова. Впервые в кн.: "Размышления читателя". М. 1970, под назв. "К столетию со времени смерти Лермонтова". См. также отрывок в "Литературной России" № 27, 3 июля 1964 г.]
2. В книге: Русские сказки в обработке писателей. Вступит. статья, составление и подготовка текстов В. Аникина. Изд. "Художественная литература", М. 1970, тир. 200 000 экз. Стр. 83-95. Волшебное кольцо. Стр. 105-116. Безручка. Стр. 118-129. Иван Бесталаный и Елена Премудрая. Стр. 164-177. Умная внучка. Солдат и царица. [См. примечания к изданию 1969 г.]
3. В книге: Жар мечты. Сборник сказок советских писателей. Составитель Л. А. Кайев. Изд. "Молодая гвардия", М. 1970, тир. 200 000 экз. Стр. 56-67. Волшебное кольцо. [Из кн. "Волшебное кольцо", М. 1950.]
4. В книге: Русский характер. Сборник рассказов. Составитель Ю. Коротков. Изд. "Молодая гвардия", М. 1970, тир. 100 000 экз. Стр. 191-224. Одухотворенные люди. [См. прим. к публ. в ж. "Краснофлотец" № 21, ноябрь 1942.]

## 1971

1. ж. "Подъем" (Воронеж) № 2, 1971. [Под рубрикой "Наши публикации", с портретом и статьей Э. Иноземцевой "Платонов в Воронеже", стр. 91-103.] Стр. 97-100. Анкета. Личный листок № 33 ответственного работника. Автобиография. [Документы 1923-1924 гг. из Гос. Архива Вор. Области.]
2. ж. "Кубань" (Краснодар) № 4, 1971, стр. 83-90. Смерть Копенкина. [Отрывок из романа "Чевенгур". Публикация М. А. Платоновой. С пред. Н. Веленгурина "Романтик революции Степан Копенкин. Неизвестные страницы А. Платонова". Впервые в кн.: "Избранные произведения в 2-х томах", М. 1978, Т. 1, под назв. "Кончина Копенкина".]
3. "Литературная газета" № 41, 6 октября 1971 г., стр. 7. Путешествие с открытым сердцем. [Отрывок из романа "Чевенгур". С редакц. предисловием: Платонов работал над продолжением "Происхождения мастера", это - глава оттуда. Печатается с небольшими сокращениями. Публикация М. Платоновой.]

## 1972

1. ж. "Кубань" (Краснодар) № 2, 1972, стр. 65-70. Из записных книжек. [Заметки. С портретом. Публикация М. А. Платоновой.]
2. ж. "Грани" (Франкфурт-на-Майне) № 83, 1972, стр. 35-46. Государственный житель. Рассказ. [С редакц. сноской. См. ж. "Октябрь" № 6, 1929.]
3. там же, № 86, 1972, стр. 11-72. 14 Красных избушек (Герой нашего времени). [Пьеса в четырех действиях. С предисл. А. Киселева, стр. 8-10. Публикуется впервые.]
4. В книге: *Classics of Soviet Satire. Compiled and edited [with an introduction and notes] by Peter Henry. Anthology of Soviet Satire, Vol. 1.* Изд. "Collet's", Лондон, 1972, стр. 199-208. Государственный житель. Рассказ. [См. ж. "Октябрь" № 6, 1929. На стр. 198-199 сведения о Платонове (на англ. яз.). Ошибочно дан год смерти 1942. На стр. 209-213 примечания (на англ. яз.).]

## 1974

1. ж. "Наш современник" № 6, июнь 1974 г., стр. 71-124. Ученик лицея. Пьеса в пяти действиях. [К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина. С портретом. Публикация и послесловие М. А. Платоновой.]
2. В книге: Школьные годы. Рассказы. Составитель И. Резникова. Изд. "Детская литература", М. 1974, тир. 75 000 экз., стр. 13-20. Песчаная учительница. [Рассказ. См. прим. к публ. в газ. "Литературные среды", № 21, 28 сентября 1927 г.]

## 1975

1. ж. "Волга" (Саратов) № 9, 1975, стр. 160-178. ...Живя главной жизнью. (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках). [Отрывки из писем 1922-1943 гг. Очерк "Горячая Арктика", стр. 170-172. С портретом. Публикация, предисловие и вставные главы М. А. Платоновой. Комментарии В. Васильева.]
2. В книге: Лунариум. Составители Е. Парнов, Л. Самсоненко. Изд. "Молодая гвардия", М. 1975, тир. 100 000 экз., стр. 137-147. Лунная бомба. [Рассказ. Со сноской: печатается по ж. "Всемирный следопыт", 1926, № 12.]

## 1976

1. ж. "Третья волна" (Франция) № 1, февраль 1976 г., стр. 80. Изобретатели! Громилы мира... [Стих. С предисловием В. Марамзина "Андрей Платонов – поэт", стр. 78–79. Публикация В. Марамзина. См. ж. "Железный путь" № 2–3, 15 февраля 1924 г.]
2. ж. "Континент" № 10, 1976, стр. 339–342. Ерик. [Рассказ. Под рубрикой "Литературный архив". Публикация и предисловие В. Марамзина. См. газ. "Красная деревня" № 21, 30 января 1921 г.]
3. В книге: Страда. Повести, рассказы. Составитель М. Катаева. Изд. "Молодая гвардия", М. 1976, тир. 150 000 экз., стр. 15–22. Сухой хлеб. [Рассказ. Из кн. "Течение времени", М. 1971.]

## 1977

1. еженед. "Литературная Россия" № 1, 1 января 1977 г., стр. 15. От хорошего сердца. Рассказ. [Под рубрикой "Из неопубликованного и забытого". С предисл. редакции. Публикация В. Дмитриева. См. ж. "30 дней" № 6, 1941.]

## 1978

1. В книге: В свои восемнадцать лет. Повести и рассказы о комсомольцах. Составитель К. Скопина. Изд. "Молодая гвардия", М. 1978, тир. 100 000 экз., стр. 87–94. На крутом уклоне. [Рассказ. Со сноской: из сборника "Комсомольское племя", 1938. Глава из рассказа "На заре туманной юности. См. прим. к публ. в ж. "Новый мир" № 7, 1938.]

## 1979

1. ж. "Литературная учеба" № 3, 1979, стр. 153–158. "Поэт должен быть человеком великой чести". [Отрывки из рецензий и писем. Под рубрикой "Наши публикации". Без указания источников. Предисловие и публикация В. Васильева.]

2. ж. "Подъем" (Воронеж) № 4, июль-август 1979 г., стр. 121-127. Государственный житель. Рассказ. [К 80-летию писателя. С послесловием Л. Коробкова "Государство заботы", стр. 127-132. См. ж. "Октябрь" № 6, 1929.]
3. газ. "Молодой коммунар" (Воронеж) № 104, 30 августа 1979 г., стр. 3. Житель родного города. [Очерк. С портретом. Вступительное слово и публикация О. Ласунского. См. ж. "Огонек" № 38-39, сентябрь 1946 г.]
4. ж. "Эхо" (Париж) № 4, 1979, стр. 118-173. Ювенильное море. Повесть. [Публикуется впервые. С послесловием М. Геллера "Соблазн утопии", стр. 174-180.]

## 1981

1. ж. "Russian Literature" (Амстердам) IX-III, 1 апреля 1981 г., стр. 281-292. Антисексус. [Фантастическое эссе. Публикуется впервые. С примечаниями, стр. 292-295. Публикация, подготовка текста и примечания Т. Лангерака.] Стр. 297-301. Потомки солнца. [Рассказ. Публикация Дж. Шепарда. См. газ. "Воронежская коммуна" № 252, 7 ноября 1922 г.]
2. ж. "Литературное обозрение" № 9, 1981. [Под рубрикой "Литературный архив", с портретом и вступит. статьей Л. Шубина "Начало сознания. О публицистике Андрея Платонова воронежского периода", стр. 100-103.] Стр. 103-104. Но одна душа у человека. [Рецензия на постановку воронежским театром Губвоенкома инсценировки по роману Достоевского "Идиот". См. прим. к публ. в газ. "Воронежская коммуна" № 158, 17 июля 1920 г.] Стр. 104-105. У начала царства сознания. [Статья. С сокращениями. См. прим. к публ. в газ. "Воронежская коммуна" 12 января 1921 г.] Стр. 105-106. О культуре запряженного света и познанного электричества. [Статья. См. ж. "Искусство и театр" № 2, август 1922 г.] Стр. 106-107. Пролетарская поэзия. [Статья. См. примеч. к публ. в ж. "Кузница" № 9, 1922.]
3. В книге: Живая вода. Советский рассказ двадцатых годов. Составление и примечания Д. Г. Терентьевой. Изд. "Московский рабочий", М. 1981, тир. 150 000 экз., стр. 372-378. Песчаная учительница. [Рассказ. См. прим. к публ. в газ. "Литературные среды" № 21, 28 сентября 1927 г.]

# 1982

1. еженед. "Литературная Россия" № 1, 1 января 1982 г., стр. 8-9. Труд есть совесть. Из записных книжек 1927-1950. [Заметки. Печатаются впервые. С портретом. С предисловием Г. Елина. Публикация М. А. Платоновой.]

(Продолжение в следующем номере.)

## ГАЛИНА ПИПЧУК (1928-1983)



21 февраля 1983 года после тяжелой болезни скончалась Галина Григорьевна Пипчук, имени которой никогда не значилось на нашем журнале, но которой "Эхо" было обязано своим регулярным выходом и уход которой - основная причина столь длительной задержки в его продолжении.

Алла (как ее все называли) набирала журнал и делала первую считку. Это работа, на которую почти невозможно найти квалифицированного человека в эмиграции - при тех малых средствах, что располагают журналы, в особенности наш.

Алла Пипчук оказалась тем энтузиастом, без кого немыслимо эмигрантское издательское дело. Лишь здесь, в Париже, впервые взявшись за печать, она в короткое время освоила профессию, требующую грамотности, внимания и работоспособности. Получая в срок набранные тексты с минимальным количеством ошибок, редакторы даже не представляли, что может быть иначе. Лишь теперь мы увидели, как много значит один увлеченный своим делом человек - особенно при полном отсутствии той разветвленной структуры, в которую спокойно вписываются все делатели и на которую опирается культура.

Алла Пипчук запомнится нам всегда веселой, радующейся каждому новому номеру журнала, каждой новой набранной ею книжке, готовой сутки просидеть за правкой, чтобы успеть к сроку. Она была из тех, кто нашел свое место в эмиграции и без кого здесь станет еще немного трудней и еще более пусто.

Редакция

## В НОМЕРЕ:

Победная песнь по случаю эвакуации Бейрута. <i>Анри Волохонский</i>	3
Юрий Мамлеев. Рассказы	6
Интервью с Юрием Мамлеевым	18
Бахыт Кенжеев. Стихотворения	28
И. Евич. Мемуар-конспект к этнографическим заметкам о путешествии в солнечную Арктику	32
Александр Кондратов. Короткие короткие рассказы	46
Григорий Патлас. Прозчеты (Стихи)	65
Валерий Левятов. Жители (Повесть)	68
Виктория Андреева. Хлопка. Рассказ	91
Генрих Шеф. Граница. Рассказ	101
Алексей Любегин. Два рассказа	110
Памяти Бориса Вахтина. <i>Игорь Ефимов</i>	115
Белла Улановская. Альбиносы (Повесть)	117
Анри Волохонский. Лирика в октябре	144



<b>Владимир Губин. Илларион и Карлик. Сказано на Руси в 4-х частях доверительно Михаилу Эфросу</b>	<b>148</b>
<b>В защиту Михаила Мейлаха</b>	<b>206</b>
<b>Андрей Платонов. Заблуждение на родине компога. Рассказ</b>	<b>207</b>
<b>Андрей Платонович Платонов (1899-1951) Библиографический указатель. Составители А. Киселев, Т. Лангерак и В. Марамзин</b>	<b>212</b>
<b>Галина Пипчук (1928-1983)</b>	<b>222</b>

**Значительная часть материалов этого и следующего  
номеров передана нам Д. Бобышевым.**

**Цена номера 78 франков.**

**ЭХО • ЕСНО**

**1984 • ПАРИЖ**